М. П. Чехова · ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

М. П. Чехова

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО



Мария Чехова

М. П. ЧЕХОВА

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО



Запись Н. А. Сысоева

Государственное Издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960

Предисловие
Л. НИКУЛИНА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1957 году, на девяносто четвертом году жизни, скончалась Мария Павловна Чехова, сестра Антона Павловича Чехова.

Кто бывал в Крыму, в Ялте, в доме, в котором провел последние годы жизни Чехов, всегда с волнением думал, что здесь, во втором этаже, живет, продолжая работать, сестра писателя, бессменный директор дома-музея. Мария Павловна прожила редкую по долголетию жизнь и с молодых лет посвятила ее брату, а после его кончины — увековечению памяти великого русского писателя.

Когда мы поднимались в светлую скромную комнату Марии Павловны, видели ее письменный стол, на столе деловые бумаги, газеты, письма, рукописи, книги, то понимали, что Мария Павловна не только директор по званию и по трудам, но душа этого милого дома. И удивлялись жизненной силе и бодрости девяностолетней сестры Чехова, легко спускавшейся к посетителям музея, охотно беседовавшей с ними.

Мария Павловна была общительной, гостеприимной в обращении с почитателями Чехова, но тот, кто посчитал бы ее только приветливой словоохотливой старушкой, тотчас понял бы свою ошибку.

С молодых лет в ней было развито чувство собственного достоинства. Прямой, твердый характер ее проявился, например, в таком эпизоде: Мария Павловна отказалась представиться великому князю Сергею в Художественном театре в тот вечер, когда шла пьеса ее брата. Молодая девушка «из простых» — дочь таганрогского лавочника — показала, что не нуждается в великокняжеской милости. Так же, как и А. П. Чехов, Мария Павловна была наделена особой плебейской гордостью, презрительным отношением к людям, которые тянутся к аристократическому обществу. Но была у Марии Павловны и своеобразная «светскость» в обращении, умение вести

непринужденную беседу и вместе с тем дать понять «именитому» гостю, кто она — помощница и друг великого русского писателя, самый близкий ему человек.

В тридцатых годах мне довелось быть в Ялте, в доме Чехова, когда Мария Павловна принимала делегацию шведских журналистов и писателей. Среди них были парламентарии и даже один барон. С достоинством и чувством такта Мария Павловна вела беседу с гостями, подчеркивая, что дом Чехова сохранен не только ее заботами, но вниманием правительства, уважением народа к памяти писателя, ко всему, что связано с его жизнью и творчеством.

Это — официальная встреча, а как приятны были непринужденные беседы с Марией Павловной на террасе дома или на скамье, где любил сидеть с Чеховым Горький, рассказы Марии Павловны об ушедших навеки людях, — она была как бы живым звеном, соединяющим век нынешний и век минувший.

Как у многих старых людей, в памяти Марии Павловны отчетливо сохранялось то, что относилось к очень отдаленному прошлому; она, улыбаясь, говорила:

— Хорошо помню то, что было полвека назад, а вот, что было на прошлой неделе, стала забывать.

Живые рассказы Марии Павловны о ее детстве и юности, о Таганроге, о Москве восьмидесятых годов — драгоценные наброски к потускневшей от времени картине минувшего века. Мария Павловна могла бы по праву сказать: «На старости я сызнова живу».

Рассказывала она о минувшем не книжно, а душевно, просто, трогательно — о тех, кого близко знала, о Левитане, о молодых Горьком, Бунине и Куприне.

В 1935 году родной город Чехова, Таганрог, торжественно отмечал семьдесят пятую годовщину со дня рождения писателя. Мы увидели в Таганроге сестру Чехова, ей шел семьдесят второй год, она поразила всех живостью характера, бодростью: посетила все памятные ей с детских лет уголки, дом Болотова, или Гнутова, на бывшей Полицейской улице, где родился Чехов, — маленький флигель во дворе.

Мария Павловна была очень чувствительна к тому, что говорили на торжественных собраниях об отце Чехова, Павле Егоровиче, о крутом его характере, о мещанской обстановке в его доме. У отца, говорила она, свой идеал: «вывести в люди» детей, на старости лет увидеть их на «казенном месте», на «хорошей должности». А для этого надо было, по его убеждению, держать их в строгости, «не давать баловаться», внушать уважение к церкви, к начальству, приучать к бережливости, научить беречь копейку на черный день. Таганрог был особенный город — город греков-негоциантов, экспор-

теров. Деньги давали почет и власть, и никто не любопытствовал, как нажиты эти деньги — подделкой духовного завещания или темными операциями с контрабандой. Люди богатели на глазах, а бедняки мечтали о том, чтобы если не они сами, то хоть дети их выбились из нужды. И Павел Егорович — владелец мелочной лавки — хотел дать образование детям ради того, чтобы у них был верный заработок. Рассказывала нам Мария Павловна о старом Таганроге по большей части для того, чтобы защитить память отца.

Люди нового поколения, родившиеся в советскую эпоху, с изумлением слушали ее печальный рассказ о том, каких унижений и страданий стоили сестре Чехова неудачные вначале попытки поступить в гимназию, учиться бесплатно, не внося непосильной для отца и брата платы за ученье.

Мы проводили Марию Павловну на пристань, она возвращалась из Таганрога в Ялту на утлом пароходе, в дурную погоду.

В то время эту жизнерадостную женщину трудно было назвать старой. Она встретила и 1954 год, когда в стране отмечали пятидесятилетие со дня кончины А. П. Чехова.

«Рада, что чеховские дни в Ялте оставили у Вас хорошее впечатление», — писала Мария Павловна мне; а в другом письме, где меня просили торопиться со статьей для сборника «Чеховские дни в Ялте», Мария Павловна приписала молодым, энергичным почерком: «И я присоединяюсь к этой просьбе».

В Ялте, на девяносто первом году жизни, она терпеливо выслушивала длинные наши доклады на «Чеховских чтениях», открыла торжественное собрание, посвященное памяти Чехова, в городском театре.

* * *

Шесть томов писем Чехова, изданных Марией Павловной в 1912—1916 годах, вошли в собрание сочинений как неотъемлемая часть литературного наследия писателя.

«Письма восхитительны... они драгоценный материал для биографии, для характеристики Антона Павловича, для создания портрета его», — писал Иван Бунин.

Эти письма отражают литературную жизнь конца девятнадцатого и начала двадцатого столетия: писатели, литературоведы, критики и читатели, интересующиеся временем, людьми, среди которых жил и работал Чехов, будут неизменно обращаться к этому источнику. Драгоценные советы почерпнет из писем Чехова молодой литератор-беллетрист; сколько доброжелательности, уважения к труду писателя в замечаниях Чехова о литературном мастерстве, замечаниях, которые так ценили писатели, его современники.

Но не только в опубликовании эпистолярного наследия писателя, замечательного по стилю, остроте наблюдений, искренности, заслуги Марии Павловны Чеховой.

В одном из писем Чехов писал: «Мария Павловна у нас главная, и без нее каша не варится».

«Главная», она еще в молодые годы отдается заботам о семье, смело берет на себя хозяйственные обязанности, заботится о создании таких условий жизни, которые способствовали бы плодотворной работе писателя. Она входит во все мелочи его быта, деловых отношений с издательствами и журналами, она берет на себя обязанности секретаря, даже ассистента «доктора Чехова». В Мелихове Чехов открывает у себя ежедневный прием больных крестьян. Мария Павловна присутствует на приеме в качестве медицинской сестры. Совсем молодая девушка, она помогает брату строить школы в ближайших селениях — ведет торг с подрядчиками, покупает материалы, заботится об их доставке.

Сестра была рядом с братом, помогая ему и в его широкой общественной деятельности, когда Чехов поселился в Крыму, в Ялте. Так было до конца дней писателя.

Марии Павловне адресованы четыреста тридцать четыре письма Чехова. Это не только распоряжения по хозяйству, по устройству быта. Некоторая сухость, деловой тон в письмах брата к сестре говорят нам только о той благородной сдержанности, которая чувствовалась в отношении Чехова к самым близким ему людям.

Чехов с интересом читал письма сестры, она писала ему обо всем важном и значительном, писала и о мелочах — жизнь во всех ее проявлениях интересовала писателя. Чехов ценил суждения сестры о своих произведениях, о постановках своих пьес в театрах; то, что Мария Павловна писала о Художественном театре, имеет ценность для всех, кого интересует «чеховское» в Художественном театре.

Антон Павлович, вообще сдержанный в описании своих переживаний, с горечью писал сестре из Петербурга в 1891 году: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что?..»

Усомнившись в добропорядочности Суворина, Чехов писал Марии Павловне: «С Сувориным я говорил о тебе: ты у него служить не будешь — такова моя воля». Это написано с оттенком шутки, однако в тоне Чехова чувствуется твердость.

В. Г. Короленко вспоминал, что в молодости Чехов обсуждал с сестрой сюжеты и читал ей свои новые рассказы.

Чудесные письма Чехова из Сибири, по дороге на Сахалин, были адресованы Марии Павловне, «главной» в семье Чеховых.

Обо всем этом следует напомнить читателям для того, чтобы хозяйственные заботы и устройство быта, которые добровольно приняла на себя Мария Павловна, не скрыли от нас духовного общения Антона Павловича с сестрой.

* * *

Беседы Марии Павловны «Из далекого прошлого» дополняют и проясняют нам многое, что было только отчасти известно из воспоминаний современников, друзей молодости писателя, притом надо иметь в виду и то обстоятельство, что замкнутость и сдержанность Чехова, особенно в последние годы жизни, делают его облик почти загадочным. О Чехове — писателе и человеке — пишут и будут писать, и потому воспоминания Марии Павловны, ее письма к брату приобретают немалое значение.

В книге «Из далекого прошлого» читатели найдут подробности о людях, запечатленных в произведениях Чехова. Мария Павловна рассказывает о зоологе В. А. Вагнере — он до некоторой степени послужил прообразом фон Корена в повести «Дуэль»; о математике Ольге Петровне Кундасовой — прототипе Рассудиной из повести «Три года».

Чехов не писал непосредственно с натуры, но он запоминал характерные детали, фразы, слова собеседника, и эти детали находили свое место в рассказе, органично входили в него, дорисовывая образ человека. Об этом рассказывала в своих беседах Мария Павловна.

В воспоминаниях сестры Чехова возникают образы дорогих ему людей — Льва Толстого, Короленко, «благовестителя» Григоровича, маститого писателя, приветствовавшего Чехова в самом начале его пути. Молодые — Горький, Бунин, Куприн — видели в Чехове (который был по возрасту старше их) благожелательного, внимательного к ним друга. Мария Павловна вспоминает ценные подробности об их отношениях.

Читатель ближе узнает членов семьи Чеховых, из которой вышли великий писатель и рано умерший даровитый художник Николай Чехов.

Грустные и забавные бытовые черточки рассеяны по страницам книги о «далеком прошлом» этой семьи.

В таганрогские годы, да и в начале жизни в Москве, остро чувствовалась суровая бедность. Вместе с тем ощущаешь теплую, жизнерадостную атмосферу, которую умел создавать молодой Чехов

своим остроумием и изобретательностью в шутках и веселых мистификациях.

Особую ценность воспоминаниям сестры Чехова придают документы ее личного архива, адресованные ей письма, рисующие иногда важные эпизоды общественной деятельности писателя, — например, письмо К. А. Тимирязева, своеобразный комментарий к известному факту, когда Чехов выступил на защиту Тимирязева со статьей, которую он подписал буквой «Ц».

Узнаем мы и новое, почти неизвестное о личной жизни писателя, о том, как это личное отразилось в его произведениях.

В воспоминаниях Марии Павловны проясняются отношения Чехова к Лидии Стахиевне Мизиновой (Лике), они раскрываются в трагических письмах Лики Мизиновой из Парижа. Известно, что печальная история ее любви к писателю Потапенко отражена в пьесе «Чайка». Судьба Нины Заречной близка к судьбе Лики Мизиновой, хотя писатель Тригорин в своих суждениях о литературе, разумеется, умнее беллетриста средней руки Потапенко. У Лики Мизиновой хватило решимости присутствовать на спектакле и увидеть на сцене драматическую ситуацию, отчасти повторившую горестный эпизод ее жизни.

«Теперь, когда для меня многое выяснилось, — писал в своих записях Иван Бунин, — я понимаю, что никакого увлечения Ликой (Лидией Стахиевной Мизиновой) у Антона Павловича не было. Она была влюблена в него. Он это видел. Ему же не нравился ее характер... А о том, что она была задета Чеховым, можно понять из ее письма, где она объясняет Чехову свое увлеченье Потапенкой: «А причина этому Вы...»

В 1953 году смертельно больной Бунин попробовал осуществить свою давнюю мечту — создать литературный портрет Чехова. «Если создавать портрет, — писал он Марии Павловне еще в 1911 году об издании писем Антона Павловича, — так надо использовать не том их (писем. — *Л. Н.*), а все, да многое почерпнуть из других источников».

Приступив к труду, Бунин не только «дописал» свои воспоминания о Чехове, но изучил и сделал выписки из многих источников. Его внимание привлекли воспоминания Л. А. Авиловой, впервые опубликованные в 1949 году (в сборнике «Чехов в воспоминаниях современников»). «Ведь всем будет интересно знать, что за женщина, которую Чехов любил», — говорил Бунин об Авиловой.

Воспоминания Авиловой и особенно рассказ Чехова «О любви» как будто подтверждают это. Но еще в 1904 году Лидия Алексеевна Авилова писала Марии Павловне, что не может утверждать,

будто хорошо знала Чехова, была «для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала...»

Не праздное любопытство вынуждает нас интересоваться личной жизнью писателя. Воспоминания Авиловой и рассказ «О любви» — литературное явление. И в книге Марии Павловны мы находим, как мне кажется, объяснение этого эпизода из жизни Чехова, эпизода, заинтересовавшего Бунина.

* * *

В глубокой старости Мария Павловна сохранила обаяние, привлекательность, юмор, чуть-чуть лукавую улыбку, внезапно зажигающийся блеск в глазах, увлекательную, плавную речь...

«...Каждый раз, когда я встречал чистую, изящную женщину с нежной душой, мне хотелось носить ее на руках и плакать от умиления...» — приводит в письме к Марии Павловне Куприн слова Бодлера и добавляет: «...нечто подобное я всегда испытывал к Вам. Я думаю о Вас часто, часто... Рад, что Вы позволяете мне это».

Бунин однажды написал Марии Павловне письмо, напоминающее стихотворение в прозе:

«Сижу на Приморском бульваре, в Севастополе, на скамейке у самой воды, которая шумит и полощется. Прямо против солнца, спускающегося к морю, против нестерпимо блестящей полосы по морю, в желтоватом вечернем освещении, обвеваемый ласковым ветром с моря.

Второй день, то есть с самого отъезда из Гурзуфа, до физической боли тоскую. Опять я в пути, в своем бесконечном пути, и, так, как и вчера и сегодня, нет поблизости ни одного более или менее родного человека. Хочется плакать от одиночества. Впрочем, этих близких людей у меня на всем свете не более десяти. Вы одна из них...»

Что-то талантливое, «чеховское» было в Марии Павловне, и это влекло к ней таких людей, как Левитан, Куприн, Бунин...

Мария Павловна посвятила свою жизнь заботам о брате, отказавшись от личного счастья. Печальный эпизод ее жизни — сватовство Александра Ивановича Смагина. Она решила выйти замуж за Смагина и сказала об этом брату. «Я понимала, ему будет тяжело, если я уйду в другой дом, в новую свою семью... Но он никогда бы не произнес слова «нет». Мария Павловна отказала Смагину. «Он послал мне резкое письмо с упреками...»

Лидия Алексеевна Авилова в 1939 году писала Марии Павловне:

«...несколько лет тому назад я жила летом и осенью на даче под Полтавой и познакомилась с Александром Ивановичем Смагиным.

Он был мне чрезвычайно симпатичен, тем более что он постоянно говорил о Вашей семье. И вот он признался, что любил Вас всю жизнь, любил только Вас. А один раз сказал: «Не только любил, а люблю. И теперь люблю»... Теперь он умер».

Таким был человек, который не стал мужем Марии Павловны потому, что она не хотела оставить брата.

Этот эпизод имел продолжение.

В марте 1958 года Вера Николаевна Бунина, вдова И. А. Бунина, которая имела возможность ознакомиться с некоторыми материалами архива М. П. Чеховой, писала автору этих страниц:

«Я, наконец, узнала, кому Мария Павловна отказала ради брата. И знаете, что я подумала: напрасно. Если бы она вышла за Смагина, то жила бы в Полтавской губернии, и, вероятно, Антон Павлович с матерью жил бы где-нибудь поблизости, купив себе там что-нибудь. И это было бы ему полезнее, чем жить на берегу моря...»

* * *

В записях Бунина к незавершенной его книге высказано такое предположение по поводу того, что Чехова повезли за границу в очень тяжелом состоянии: «У меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал... Конечно, порой он надеялся, как большинство чахоточных, что поправится. Замечательно, что сестре он стал из Москвы писать нежнее».

Это глубокие и верные замечания. Грустно читать в последних письмах к сестре: «Итак, стало быть, скажи мамаше и всем, кому это интересно, что я выздоравливаю или даже уже выздоровел...» И 16 июня 1904 года: «Здоровье мое поправилось, я, когда хожу, уже не замечаю того, что я болен, хожу себе, и все...» Наконец, в письме 28 июня — планы на будущее, мечта о поездке из Триеста на пароходе до Одессы, деловое распоряжение по этому поводу, забота о легком летнем костюме, который надо заказать во Фрейбурге... И последнее обращение к сестре: «Ну, будь здорова и весела... Пиши. Целую тебя, жму руку. Твой А.».

Это письмо было последним.

Три дня спустя, в ночь на 2 июля 1904 года, Антон Павлович скончался.

За три года до смерти Чехов, как всегда обстоятельно, писал сестре:

«...завещаю в твое пожизненное владение мою дачу в Ялте, деньги и доход с драматических произведений...»

Далее в своем письме-завещании Антон Павлович подробно указывает, кому из родственников и какую именно сумму он завещает после своей кончины, отметив, однако, что после смерти родственников все поступает Таганрогскому городскому управлению на нужды народного образования.

«Помогай бедным. Береги мать», — так просто и трогательно завершается письмо-завещание Антона Павловича Чехова.

Он знал свою сестру, знал, что она выполнит его последнюю волю.

«Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было! — пишет о нем Бунин. — Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе — все это в течение семи лет, при развивающейся смертельной болезни!»

И вот рядом с этим удивительным, умным, щедро одаренным писателем мы видим разумную, добрую, заботливую его сестру — Марию Павловну Чехову.

Когда же не стало брата — весь остаток долгой и светлой своей жизни сестра посвятила тому, чтобы сохранить для современников и будущих поколений бессмертный образ писателя, «какого в России еще не было!», писателя, которым гордится не только его родина, но все честные люди земли.

* * *

Воспоминания Марии Павловны Чеховой даны в записи Н. А. Сысоева, работавшего в доме-музее Чехова в Ялте около десяти лет.

Подготовив к изданию свои письма к Антону Павловичу, Мария Павловна дополнила их своими, иногда подробными примечаниями мемуарного характера.

Таким образом, в 1954 году вышла в свет книга: М. П. Чехова «Письма к брату А. П. Чехову». «Письма» заинтересовали читателей, возникла мысль об издании книги воспоминаний «Из далекого прошлого».

На девяносто первом году жизни Мария Павловна уже не могла сама писать воспоминания: она рассказывала — по заранее выработанному плану — эпизоды жизни Антона Павловича, его семьи, рассказывала о людях, с которыми он был связан. Рассказы эти записывались. Естественно, что Мария Павловна в ряде случаев касалась фактов, уже известных по ранее опубликованным документам и воспоминаниям. Это отразилось в самой записи

бесед с ней, где уже известное перемежается с новым, неизвестным, имеющим ценное литературное значение. Разумеется, автору записи очень помогали письма Чехова, они восстанавливали в памяти сестры писателя некоторые характерные подробности жизни и деятельности Антона Павловича. В книгу введены отрывки из писем Чехова, чтобы пояснить тот или иной эпизод его жизни и деятельности.

23 января 1954 года Мария Павловна Чехова писала Н. А. Сысоеву:

«...я прошу Вас в случае моей смерти продолжать и закончить литературное издание всех тех материалов, по которым мы с Вами работали последние годы, в том числе и моих воспоминаний, моих писем к Антону Павловичу и др.». Далее Мария Павловна пишет, что автор записи знает от нее «больше, чем кто-либо другой», и потому она будет спокойна за правильное опубликование воспоминаний.

Работа над книгой была завершена за десять месяцев до кончины Марии Павловны Чеховой.

Л. Никулин

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

I. ДЕТСТВО

Я родилась в Таганроге, в 1863 году.

Помню себя примерно с шестилетнего возраста. Мы жили тогда в двухэтажном доме Моисеева на углу Монастырской и Ярмарочной улиц. В первом этаже у отца был небольшой «колониальный» магазин, во втором этаже (частично и в первом) размещалась наша довольно большая семья: отец, мать, шестеро детей.

У меня было пять братьев. Александр был старше меня на восемь лет, Николай — на шесть лет, Антон — на три с половиной года, Иван — на один год, и на два года моложе меня был брат Михаил. Нелегко было нашему отцу, занимавшемуся мелкой торговлей, содержать такую семью. Всем нам, детям, приходилось много работать. Я была единственная дочь в семье, и мне больше других пришлось помогать матери по хозяйству и по дому. Старшие братья, в том числе и Антоша, обычно помогали отцу в лавке.

По существовавшему в те времена строгому укладу патриархальной семейной жизни отец наш был требовательным и взыскательным. Не обходилось иной раз и без наказания ремнем провинившихся братьев. Доставалось иногда от отца и Антоше. Впоследствии, уже взрослым, будучи исключительно деликатным и мягким по натуре, Антон Павлович порицал отца за его методы воспитания детей. Попытки отца дать детям религиозное воспитание, обязательное посещение ими церковных служб, пение в хоре, утомительные спевки дома, а также скучные обязанности старших братьев по дежурству

в лавке отца в качестве его помощников — все это дало основание Антону Павловичу высказаться позднее в том смысле, что «в детстве у него не было детства». Однако нельзя забывать о той эпохе, когда протекало наше детство. Дед наш, Егор Михайлович, прошел суровую школу жизни крепостного крестьянина у помещика, отец, Павел Егорович, в юности своей до выкупа на волю также был крепостным. Поэтому строгость, суровость семейного уклада нашей жизни были отголоском той жестокой, подневольной жизни, какую испытал наш отец в детстве. Впоследствии я удивлялась, откуда у отца его артистическая натура, любовь к музыке, пению, его светлые моральные принципы. Он стремился отдать своих детей учиться в гимназию, хотя сам не получил никакого образования. Достаточно вспомнить быт купеческих семей того времени с их реакционными взглядами на образование своих детей, чтобы понять, насколько выше своего сословия стоял наш отец.

Поэтому неверно думать, что Павел Егорович проявлял себя по отношению к детям лишь как «жестокий деспот». Это был человек суровый, но незаурядный, талантливый.

Литературоведы, пишущие о деспотической натуре Павла Егоровича, обычно ссылаются на письма и воспоминания моего старшего брата, Александра Павловича. Но нужно учитывать, что старший брат, при всех его способностях и талантливости, был больным человеком и во время вспышек болезни (запоя) много фантазировал.

Антон Павлович любил своего старшего брата; но видел, какие тяжелые последствия несла с собой его болезнь. В 1888 году он писал в одном из писем: «Что мне делать с братом? Горе, да и только. В трезвом состоянии он умен, робок, правдив и мягок, в пьяном же — невыносим. Выпив 2—3 рюмки, он возбуждается в высшей степени и начинает врать. Письмо написано им из страстного желания сказать, написать или совершить какую-нибудь безвредную, но эффектную ложь. До галлюцинаций он еще не доходил, потому что пьет сравнительно немного. Я по его письмам умею узнавать, когда он трезв и когда пьян: одни письма глубоко порядочны и искренни, другие лживы от начала до конца. Он страдает запоем — несомненно».

Этим можно объяснить, что воспоминания Александра Павловича, появившиеся в 1905—1912 годах, в некоторой своей части вызывают у читателя недоумение.

Кроме того, из писем отца к старшим сыновьям можно видеть, как его иногда обижал брат Саша в юношеские годы своей жизни и как тонко понимал отец характер и натуру своего старшего сына, как осторожно и тактично старался влиять на его воспитание. В моем архиве сохранились подлинные письма отца. Вот, например, выдержка из отцовского письма от 8 апреля 1875 года к брату Александру, жившему в то время на квартире у директора мужской гимназии в качестве репетитора его детей:

«Саша, я вижу, что мы тебе не нужны, что мы дали волю, которою и сам можешь жить и управлять в таких молодых летах. Значит, советов наших ты слушать не будешь... Иди по своей воле, как знаешь, ты и без нас можешь обойтись и жить. Только жаль, что так рано стал забывать отца и мать, которые тебе преданы всей душой и не щадили средств и здоровья, чтобы дать воспитание... После этого я одного у тебя прошу: перемени свой характер, будь добр к нам и к себе; ты хорош и умен, но только не видишь себя, и в самом тебе живет какой-то дух превознесения. Вооружаться, Саша, на нас великий грех...»

Наша мать, Евгения Яковлевна, в отличие от отца, была очень мягкой, тихой женщиной. Это была поэтическая натура. Я помню, с каким интересом мы слушали ее полные поэзии рассказы о чем-нибудь необыкновенном, сказочном. На фоне внешней суровости отца материнская заботливость и нежное отношение к детям воспринимались нами с особенной остротой и горячей признательностью. Впоследствии Антон Павлович очень верно сказал: «Талант у нас со стороны отца, а душа — со стороны матери».

Еще в семнадцатилетнем возрасте Антон Павлович писал двоюродному брату Михаилу Михайловичу Чехову:

«Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие

ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни...»

Так верно и тонко оценил Антон Павлович характер и обстоятельства жизни наших родителей, их значение для нас и через всю свою жизнь пронес глубокую любовь к ним.

Хотя нам, детям, и приходилось много работать и подчиняться установленному отцом распорядку жизни, но жили мы дружно и весело. Игры, шутки, шалости, смех всегда царили в нашем доме. Главную роль в придумывании всяких шутливых импровизаций, невинных детских проказ всегда играл Антоша. Он был их неизменным зачинщиком. В моей памяти сохранились, например, наши детские спектакли, организованные Антошей. В одном из них принимала участие и я — тогда еще совсем маленькая девочка. Я изображала роль Татьяны Чепрунихи, причем помню, как я стеснялась, когда Антоша по ходу действия обнимал меня при всех на «сцене».

Подростки, мы увлекались произведениями Гоголя, героями его творений и часто изображали их, разыгрывая целые сценки. Братья Антон и Иван гримировались, наряжались в украинские национальные костюмы. Брат Николай с большим юмором исполнял сценку из гоголевской «Ночи перед рождеством», изображая пьяного Чуба, разыскивающего в метель свою хату.

Особенно большой популярностью в нашей семье пользовался «Ревизор». Его в детстве мы разыгрывали в домашних спектаклях очень часто. Антон Павлович обычно играл городничего. Он надевал свой парадный гимназический мундир с блестящими пуговицами и для того, чтобы быть солидным, засовывал под мундир в соответствующие места подушечки. Поверх мундира надевал, вместо шпаги, обыкновенную саблю и нацеплял на себя самодельные ордена. Гримировался он очень тщательно и, нужно сказать, необычайно искусно. Из всех «артистов» он, бесспорно, был самым талантливым. Он же фактически был, выражаясь театральным языком, режиссером и постановщиком спектакля.

Брат Иван обычно играл Хлестакова, а я исполняла роль Марьи Антоновны — дочери городничего (жену городничего, Анну Андреевну, за отсутствием подходящей

«артистки», никто не играл), Николай Павлович играл иногда слугу Осипа, иногда судью Ляпкина-Тяпкина. Не могу теперь без улыбки вспомнить некоторые детали этого спектакля. Когда, например, в одном из действий Хлестаков — брат Иван — придвигался ко мне и хотел меня обнять, я должна была отодвигаться от него. Я делала это с особенным усердием: мне было конфузно, чтобы меня обняли на виду у зрителей, состоявших обычно из наших родителей, родных, знакомых, соседей. В конце концов я так упорно отодвигалась до самой стены комнаты, что все диалоги уже заканчивались, а Хлестаков так и не успевал меня поцеловать в нужный момент.

Брат Антон с детских лет обладал необычайно острой наблюдательностью. Он мастерски, например, изображал и передавал какое-либо происшествие, виденное им в городе, в гимназии или в знакомых домах. Пародируя смешные черточки наших знакомых, он заставлял всех зрителей, и детей и взрослых, смеяться до упаду. Доставалось от Антоши и братьям. Он давал им названия и прозвища, полные юмора, а порой и обидные. Так, брата Николая он прозвал «косым» за то, что тот, рассказывая что-либо, имел привычку щурить глаз. Ему же он дал и кличку «макароны в кораблях» за действительно комичный вид его фигуры с тонкими ногами в очень узких брюках и огромных кожаных калошах. Эти брюки были сшиты собственноручно Антошей во время изучения им портняжного мастерства в ремесленной школе, куда, кроме гимназии, записались учиться мои братья. Когда Антоша шил для брата эти брюки, Коля убедительно просил его сделать их как можно у́же (тогда была мода на узкие брюки). Антоша и постарался.

Не осталась без насмешливого прозвища и я. Антоша дал мне целых три прозвища: «Моська», «Чечевица» и «Сияние». Последнее название казалось мне особенно обидным, и я плакала из-за него. В детстве у меня были короткие и упрямые волосы. Чтобы они мне не мешали, я сдерживала их полукруглым гребешком, но волосы все же не слушались и, топорщась, стояли на голове вокруг гребешка в виде сияния. Отсюда и прозвище, данное мне братом и казавшееся мне незаслуженно обидным.

Наш отец был ревностным исполнителем всех церковных служб, полагавшихся в праздничные дни, и заставлял всю семью присутствовать на них. Для нас, детей, это бывало порой нелегко: нужно было рано вставать и долго стоять в церкви. Но и тут братья шутили. Вот, например, такой эпизод.

Раннее утро. Еще сладко спится и совсем не хочется вставать. Но мать каждого торопит, а то можно опоздать к обедне, отец будет сердиться. Сам он ушел раньше всех. Наконец все готовы, лишь один Антоша лежит, укрывшись одеялом с головой, и не отвечает на уговоры матери.

— Антоша, ну же вставай... Пора уже идти к обедне. Ведь рассердится отец, знаешь, какой он!..

Брат дрыгает ногой и не слушается.

Мы уходим в церковь без него. Коля тоже с нами не идет. Он уже ушел раньше. Он очень любил звонить на колокольне и, по своей врожденной музыкальности, достигал особенной звучности и гармоничности, когда звонил во все колокола.

Пройдя по дороге в церковь уже больше полпути, мы неожиданно увидели впереди Антошу. Оказывается, он еще под одеялом оделся, а после нашего ухода быстро встал, умылся и, переулками, обогнал нас.

Приближаемся к церкви, и вдруг... на колокольне ударили во все колокола. Всех удивил торжественный перезвон совсем не ко времени. Это, оказывается, Коля, увидев с колокольни мать, решил приветствовать ее встречным звоном, что полагалось делать только во время приближения к церкви священника. Брату за это от отца, конечно, досталось.

Часто потом вспоминали в нашей семье о том, как Николай встречал свою мать колокольным звоном, и всякий раз от души смеялись.

Со временем у моих братьев появились свои интересы, свойственные мальчикам, в круг которых они меня не вводили. И хотя я продолжала принимать участие в совместных играх в лапту, в бабки, но все же как-то меньше стала общаться с братьями, да и привязанность к матери отвлекала меня от особенного сближения с ними в этот период. Летом братья часто уходили гурьбой на море ловить рыбу, ездили к нашему деду в степную станицу Княжая, а я оставалась около матери.

Несколько особняком держался в то время самый старший брат, Александр, учившийся в последних классах гимназии. Он считал, что ему уже не подходит принимать участие в нашей детской жизни и играх. А потом, в последнем классе гимназии, он и совсем переселился из нашего дома к директору гимназии Э. Р. Рейтлингеру в качестве платного репетитора его детей.

* * *

В августе 1875 года семья наша уменьшилась: уехали учиться в Москву два старших брата. Александр, кончив гимназию, поступил в Московский университет, а Николай, проявивший большие способности в рисовании, уехал со старшим братом, надеясь поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В это же время стали ухудшаться торговые дела нашего отца. В его письмах к старшим сыновьям в Москву начинают появляться тревожные нотки. Так, в письме от 18 августа 1875 года он пишет: «Торговля моя делается день ото дня подлейшая. Я стал уже падать духом и приходить в уныние, от меня и мама делается не своя. Ах, деньги, деньги! Как их трудно доставать без протекции и честным образом...»

Наш отец никогда не проявлял таланта в торговых делах, не был, что называется, настоящим купцом, хотя и имел звание «купца 3-й гильдии». В конце концов он так запутался в коммерческих делах, влез в такие долги, особенно по затеянному им еще строительству собственного дома, что вынужден был закрыть свою лавку. В апреле 1876 года отец окончательно разорился. 23 апреля из-за долгов он чуть ли не бежал из Таганрога в Москву. Это событие перевернуло всю нашу жизнь и изменило все ее течение.

В Москве отец поселился у Саши и Коли. Жили они бедно, по-студенчески, и приехавшему отцу ничем помочь не могли. Построенный в Таганроге дом был отобран за долги.

В июле 1876 года наша мать со мной и младшим братом Мишей также приехала к отцу в Москву. Антоша и Ваня остались в Таганроге, продолжая учиться в гимназии. Но Иван вскоре тоже переехал к нам, и Антоша остался в Таганроге один.

Так грустно закончились беспечные годы детства в родном городе и началось тяжелое время нужды и бедности в Москве.

II. ГОДЫ НУЖДЫ

Я хорошо помню то первое впечатление, которое произвела на меня Москва в 1876 году. Мне тогда было уже тринадцать лет. После провинциального тихого Таганрога, с его патриархальным бытом и непролазной грязью немощеных улиц, Москва меня поразила. Огромные дома, великолепные театры, бесконечные улицы, переулки, тупики, в которых мне потом не раз случалось заблудиться, бесчисленные магазины, лавки, лабазы, шумные базары на площадях, напоминающие ярмарки, знаменитый московский колокольный звон, громыхающие по рельсам вагоны конки — все это сильно подействовало на мое воображение.

Сейчас облик Москвы настолько изменился, что перенеси современного молодого москвича в ту Москву, которую я впервые узнала более чем три четверти века назад, — ему этот город, наверное, показался бы незнакомым, несколько забавным и таким же тихим, провинциальным, каким нам в свое время казался Таганрог по сравнению с Москвой. Но в то время для нас это был огромный, шумный, поражающий всем город, это была Москва — старинная русская столица, многовековую историю которой мы знали со школьных лет.

В Москве мы поселились на улице Грачевке, что между Садовой Сухаревской улицей и Трубной площадью, сняв одну комнату в полуподвальном этаже небольшого дома. Брат Николай вначале тоже переехал к нам. После жизни в обширном таганрогском доме тяжело было ютиться всей семьей в одной комнате.

В дальнейшем нас ожидали еще худшие испытания. Начались годы нужды, лишений и всяческих неприятностей. Отец никак не мог найти работу. Денег не было, и перед матерью каждый день вставал вопрос, чем накормить семью. В квартире было неуютно, сыро, холодно. Зимой покупать дрова было не на что, и я помню, как будущий академик архитектуры Франц

Осипович Шехтель — приятель и соученик моего брата Николая по Училищу живописи, ваяния и зодчества — вместе с Колей таскали с подвод поленья и приносили их нам, чтобы затопить печку и согреться.

Потом мы переменили много квартир, ютясь по московским переулкам. Отыскивать квартиры мы обычно ходили втроем: мать, Миша и я. Мать, боясь собак, оставалась с братом у ворот, а я всегда смело входила во двор, расспрашивала о сдающихся внаем квартирах и, если находилось что-нибудь подходящее, вела туда мать.

Прошло для меня время беззаботного детства. Другая, уже серьезная жизнь встала передо мною. Теперь я должна была по-настоящему помогать семье.

Тяжелая жизнь постепенно делала свое дело: из маленькой избалованной девочки я превращалась в самостоятельную хозяйку. Убитая переживаниями мать часто хворала, и я должна была полностью заменять ее в хозяйстве. Я стряпала обеды, стирала для всей семьи белье, занималась штопкой. В свободные же минуты я вязала платки из шерсти и, продавая их по пятнадцать — двадцать копеек, вносила свою лепту в общий семейный кошелек. Старший брат Александр помогал семье из своих скудных студенческих заработков, но это было редко и мало. Антоша по просьбе матери продавал в Таганроге оставшийся там домашний скарб и вырученные деньги посылал нам в Москву.

В моих трудах по дому мне помогал младший брат Миша. По утрам он должен был вставать задолго до рассвета и отправляться в лавки, чтобы купить хлеба и чего-нибудь съестного. Нам, самым младшим, выпала доля принимать самое активное участие в обслуживании семьи, и это очень сблизило нас. Мне жаль было маленького Мишу, который в ненастье, в холод, в мороз, плохо одетый, бегал по Москве, выполняя мелкие поручения.

Так начался московский период жизни нашей семьи.

Осенью мы стали думать о том, что мне и Мише нужно продолжать учиться. В Таганроге я перешла уже в третий класс гимназии, а Миша во второй. Но теперь денег, необходимых для платы за учение, у семьи не было. И вот мы с Мишей решили сами попытаться уговорить директора какой-нибудь гимназии принять нас,

освободив от платы за учение. Мише неожиданно повезло. Во Второй мужской гимназии, расположенной на Разгуляе, очень далеко от нашего дома, одиннадцатилетний мальчик сумел уговорить директора принять его в число освобожденных от платы учеников. Так он сам себя «определил» в гимназию.

Мне не везло. Сколько я ни ходила, одна и с матерью, с гимназией у меня ничего не получалось, никто не хотел принимать меня без платы за учение. Так первый учебный год для меня был потерян.

Как-то, уже на второй год нашей жизни в Москве, через одного нашего знакомого, учителя рисования К. И. Макарова, я случайно попала на ученический бал в один из московских кадетских корпусов. Там я познакомилась с девочкой, учившейся в Филаретовском женском епархиальном училище. Она рассказала мне, как хорошо они учатся, интересно проводят время, танцуют, и мне очень захотелось там учиться. Но платить за учение по-прежнему было нечем.

Много мы говорили с младшим братом по этому поводу. Я решила последовать примеру Миши и попытаться кого-нибудь «уговорить». Епархиальное училище принадлежало духовному ведомству, и я решила отважиться пойти прямо к московскому митрополиту и просить его принять меня в училище бесплатно или же — чтобы он заплатил за меня! Миша пошел вместе со мной «помогать».

Долго ходили мы вокруг митрополичьего дома, пока наконец не собрались с духом и не позвонили. Как сейчас помню: большая, высокая комната, в углу у столика сидит митрополит. Мы робко подошли под благословение, сбивчиво объяснили, зачем мы пришли, и обратились к нему с просьбой заплатить за меня, если уж нельзя принять меня на бесплатное учение. Выслушав нас, митрополит развел руками и внушительно изрек:

— Я не миллионщик! Ничего не могу сделать.

Так ни с чем мы и вернулись от митрополита.

Но потом судьба наконец улыбнулась мне. Один из таганрогских купцов-богачей, по фамилии Сабинников, знавший нашего отца еще по Таганрогу, увидев нашу плачевную московскую жизнь, согласился платить за мое обучение. Моя мечта исполнилась, я поступила учиться в Филаретовское училище, выдержав

в августе 1877 года вступительный экзамен во второй класс.

Теперь к моим домашним делам и заботам прибавилось еще учение. Вставали мы с Мишей задолго до рассвета. Он убегал в лавочку, я тем временем топила русскую печь, варила суп для обеда, и уже после этого мы бежали по своим гимназиям. Миша был слабеньким мальчиком, в классе частенько его обижали, он плакал. Отправляясь в гимназию, Миша всегда просил у матери два носовых платочка: второй предназначался для слез. И когда мать давала ему только один, он напоминал: «А плакальный?..»

Часто Миша плакал и на улице. У него было плохонькое холодное пальтишко, в котором он замерзал в суровые московские зимы. А ходить в гимназию было далеко. Мне бывало бесконечно жаль братишку, когда он, заливаясь слезами, останавливался, не в силах идти по морозу.

* * *

Весной 1877 года на пасхальные каникулы к нам приехал из Таганрога Антоша. Старший брат Александр еще перед рождеством послал ему пятнадцать рублей, приглашая приехать в Москву во время зимних каникул, но Антоша приехать тогда не смог и отложил поездку до весны.

Приезд всеми любимого веселого Антоши был радостным событием для семьи. Жили мы тогда на Сретенке, в Даевом переулке, в доме Морозовых и Леонтьевых, в стареньком деревянном флигеле, расположенном в глубине двора. Позади флигеля был чудесный старинный сад с беседкой, как в усадьбах, описанных Тургеневым. Антоше, да и всем нам, привыкшим к яркой южной природе, этот сад очень нравился своей поэтичностью.

Москва произвела на брата большое впечатление, захватила его. Можно смело утверждать, что уже с этого первого приезда зародилась большая любовь Антона Павловича к Москве, продолжавшаяся до последних дней его жизни. Недаром потом, в первые годы студенчества, брат писал одному из своих таганрогских товарищей: «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич». Миша

тогда целыми днями, как «старый» житель Москвы, водил Антошу по городу, показывал Кремль, магазины, бульвары... Антоша уже тогда был любителем театра, побывал в Московском Большом театре и пришел в восторг.

Брат увидел и понял всю тяжесть нашей жизни в Москве. Он не мог не отметить происшедшую во мне перемену со времени отъезда из Таганрога, заинтересовался моей жизнью и оценил то положение, которое я заняла в нашей семье. Очевидно, это и послужило первым толчком к нашей глубокой в будущем дружбе.

Увидев наше бедственное положение, Антоша стал материально помогать нам, посылая из Таганрога часть зарабатываемых им денег. Эти его «заработки» состояли из грошовой оплаты уроков в разных концах Таганрога. Он посылал нам посылочки: кофе, маслины, халву. Он морально поддерживал своими письмами мать, тяжело переживавшую нашу бедность. Эти заботы Антоши о семье, его поддержка матери и отца очень тронули меня и навсегда расположили к брату.

Так продолжали мы жить в Москве, разделяя нужду и лишения, пока осенью 1879 года не кончил гимназию и не переехал к нам Антон Павлович.

III. НОВАЯ ЖИЗНЬ

Мы ждали Антошу в Москве сразу же после окончания выпускных экзаменов, но он задержался в Таганроге до осени. Он все лето хлопотал там для себя стипендию Таганрогского самоуправления, которая была установлена для одного из уроженцев города, поступающих в университет. Стипендия размером в двадцать пять рублей в месяц имела большое значение для нас в годы московской жизни.

Из материальных соображений брат привез с собой двух квартирантов-пансионеров. Это были его товарищи по гимназии, тоже поступавшие в университет: Василий Иванович Зембулатов, по прозвищу «Макар», данному ему Антоном Павловичем[1], и Димитрий Тимофеевич

[1] Это прозвище он получил за то, что однажды в гимназии на уроке греческого языка слово «ма́кар», то есть счастливый, произнес «мака́р».

Савельев. В это время мы жили в подвальном этаже одного из церковных домов на Грачевке. С приездом брата и его товарищей у нас стало совсем тесно.

Переезд к нам брата ободрил всю семью. Отец в то время устроился наконец на службу по счетной части к купцу Гаврилову и жил в Замоскворечье, на месте службы. Старший брат Александр продолжал жить отдельно. И как-то незаметно Антон Павлович сделался главой семьи, стал ее кормильцем. Его положительность, рассудительность, несмотря на его обычную склонность к юмору и шуткам, заставили всех членов семьи прислушиваться к его мнениям и подчиняться его голосу. Заходивший к нам отец тоже стал понимать новое положение Антоши в семье и постепенно утратил свое прежнее влияние. А со временем, когда мы снова стали жить все вместе, отец молчаливо признал в Антоне Павловиче хозяина дома и уже не пытался руководить семейной жизнью.

Вскоре мы переехали на новую, более просторную квартиру в доме Савицкого, на той же улице Грачевке, ближе к Трубной площади. Жить нам стало значительно легче. Помимо двух пансионеров, привезенных братом, у нас появился еще один — Николай Иванович Коробов. Особенных доходов они нашей семье не давали, но благодаря им у нас появилась лучшая квартира и лучше стало наше питание.

Четыре молодых, жизнерадостных студента сразу внесли бодрую струю в жизнь семьи. Вновь в доме зазвучали смех и шутки, тон которым, как всегда, задавал Антон Павлович.

* * *

Я не придала большого значения появлению в журнале «Стрекоза» первого произведения Антона Павловича — «Письмо к ученому соседу», да и кому тогда могло прийти в голову, что это «первое произведение» в будущем великого русского писателя! К тому же я уже слышала, что брат где-то печатал свои остроты, анекдоты, сценки. Помню только, что мы смеялись, когда читали это «Письмо», вспоминая, как Антоша еще в Таганроге выступал перед нами со своими экспромтами в таком же роде. Но, конечно, мне было приятно, что мой брат может писать так, что его печатают

в журналах. Да и гонорар, хотя и небольшой, шел на общую пользу семьи. Так брат стал зарабатывать литературным трудом, что еще больше подняло его авторитет в семье.

Примерно к этому времени относится происхождение одного моего ученического сочинения. Однажды в училище (я была тогда в четвертом классе) нам задали домашнее сочинение по словесности на пушкинскую тему: «Какие следы остались после Петра Великого, Карла XII, Кочубея и Искры, Мазепы и Марии».

Передо мной лежит сейчас моя ученическая черновая тетрадка, почти вся исписанная детским почерком. Из этой тетрадки можно видеть, как я пыталась написать «умное» сочинение. Замечательную пушкинскую поэму «Полтава» я к тому времени читала не раз, по-детски любила ее и многие стихи знала наизусть. Но заданное сочинение, к моему большому огорчению, у меня никак не получалось. После многих попыток я в конце концов написала его так:

«Вот уже сто с лишним лет прошло с тех пор, когда случилось то, что Пушкин так хорошо описывает в своей поэме «Полтава». Был когда-то Мазепа, так нагло предавший отечество, был Кочубей, невинно пострадавший из-за Мазепы. Были Искра и Мария. Вот Полтава, памятник победы Петра I над Карлом XII. В Бендерах остались три сени, углубленные в земле и поросшие мхом ступени: это то место, где Карл так мужественно отражал натиск турок. Все забыли Мазепу. Одна только церковь, так долго проклинавшая его, напоминала людям об изменнике отечеству. Тихо спят сном смерти два страдальца, и одна только могила их, приютившаяся под церковью, говорит о Кочубее и Искре. Также никто не говорит о Марии, которая ради Мазепы пренебрегла отцом и матерью, но только слепой украинский певец напоминает изредка молодым козачкам об этой преступнице».

С трепетом я показала это Антоше, прося сказать свое мнение. По этой тетради видно, что он сначала пытался исправлять, но потом бросил и написал внизу под сочинением свой отзыв: «Неудобно. К возврату. Редактор Гатцук». Подпись «редактор Гатцук» брат поставил в стиле своих обычных шуток, используя имя редактора издававшейся в Москве «Газеты А. Гатцука»

и распространенного в то время «Крестного календаря», который был и у нас в доме.

Убитая этим отзывом, я еще два раза пробовала писать сочинение, но сама же и зачеркивала все, как видно из сохранившейся тетради.

Я чуть не плакала от сознания своего бессилия. А ведь надо было написать и подать сочинение в срок. К тому же у нас был строгий учитель словесности. И вот, как ни было мне стыдно, я обратилась к брату:

— Антоша, помоги мне...

Брат сжалился над моим детским горем и стал «помогать» мне, то есть, перевернув страницу, чтобы не видеть моих мук творчества, он... написал за меня сочинение, сохранив в нем все же мой «стиль», если можно так громко выразиться.

Вот это сочинение, написанное карандашом ранним почерком Антона Павловича, четко и крупно, видимо для того, чтобы мне легче было переписать:

«С лишком сто лет прошло с тех пор, когда происходили события, описанные Пушкиным в его прекрасной поэме «Полтава». Места описанных им действий группируются вокруг Полтавы, а потому и следы, оставшиеся после героев поэмы, нужно искать около Полтавы. Памятником победы Петра Великого над Карлом XII служит сама Полтава.

В Бендерах можно видеть три сени, углубленные в земле и поросшие мхом ступени: место, где Карл XII мужественно отражал натиск турок. Мазепа не забыт только как изменник отечества. Церковь, проклинавшая его, долго напоминала людям об этом изменнике.

Об Искре и Кочубее говорит нам могила их, приютившаяся в ограде одной из украинских церквей. О Марии, променявшей из честолюбия своих [благородных] родителей на Мазепу, никто не помнит и никто не говорит: только иногда [бродячий] украинский певец, воспевая старину, напоминает молодым козочкам об этой преступнице.

Марья Глупцова

Памятником Петра Великого служат те его великие преобразования, плодами которых пользуется теперь русская земля».

Сейчас я вижу, что слова «благородных» и «бродячий» зачеркнуты. Я теперь не припомню, кем они были зачеркнуты, но едва ли мною, едва ли у меня поднялась бы рука «править» то, что написано таким для меня авторитетом, как Антоша. Но вот энергичная карандашная черта, перечеркивающая подпись «Марья Глупцова», это уже, без сомнения, дело моих рук, хотя я обычно и не обижалась на брата за его веселые шутки.

Я тщательно переписала сочинение в беловую тетрадь и сдала учителю. Не могу припомнить теперь, оставила ли я без изменения шутливо написанные братом слова «молодым козочкам» (вместо козачкам) и как к этому отнесся мой учитель словесности. Беловой тетради у меня не сохранилось, и я не знаю, какие вообще замечания по сочинению он сделал, но отлично помню, что отметку за сочинение он поставил три с плюсом.

Когда я сообщила о полученной отметке Антону Павловичу, он отнесся к этому совершенно равнодушно и тайны нашей никогда никому не выдавал. Перелистывая сейчас пожелтевшие страницы моей школьной тетради, я до сих пор испытываю чувство стыда за этот мой детский «проступок». Меня утешает немного лишь то, что соучастником его был будущий великий русский писатель, а это написанное им за меня школьное сочинение печатается в полном собрании его произведений.

* * *

Дружба моя с братом все более укреплялась. Я делилась с ним всеми моими мыслями, от него у меня не было никаких тайн. Таким же откровенным расположением платил мне и он. Под влиянием брата я стала осмысленнее относиться к жизни, научилась критически оценивать окружающее. Это сказалось и на успешности моих занятий в училище.

Постепенно литературный труд брата стал главным источником существования семьи. Мы начали выбиваться из бедности. У нас появилась настоящая квартира. Но для этого Антону Павловичу приходилось очень много работать. Можно было только удивляться его работоспособности. Он успевал и слушать лекции в университете, и заниматься в клиниках, и в то же время писать свои рассказы и фельетоны.

Все члены семьи старались помогать Антону Павловичу кто чем только мог. Мы с матерью обшивали его, готовили вкусные и любимые им блюда. Брат Миша бегал по его денежным делам: получал в редакциях причитающиеся гонорары. Даже наша мать взяла на себя «курьерские» обязанности: отвозить на Николаевский вокзал к поезду, отходящему в Петербург в двенадцать часов ночи, все написанное Антоном Павловичем за день, чтобы на следующее утро его рассказы попали в редакции петербургских газет и журналов, в которых сотрудничал брат.

Остальные мои братья к тому времени жили уже самостоятельно на других квартирах и бывали у нас только в гостях. Чаще других заходил брат Николай Павлович. Антон Павлович был с ним очень дружен и ценил в нем талант большого художника. Их связывали к тому же общие интересы: они работали в одних и тех же журналах и изданиях. Кстати, тогда немногие знали, что писатель Антоша Чехонте (литературный псевдоним брата в то время) и художник Николай Чехов — родные братья. Николай Павлович был автором многих талантливых иллюстраций к произведениям Антона Павловича. Кроме того, Николай, как я уже говорила, обладал большими музыкальными способностями. Он не имел никакого музыкального образования, но неплохо играл на рояле. Когда у нас на квартире появился инструмент, Николай Павлович, приходя к нам, обычно садился играть, а Антон Павлович любил в это время работать. Большой популярностью у нас пользовалась одна из известных рапсодий Листа в исполнении Николая (об этой рапсодии Антон Павлович упоминает в своем рассказе «Забыл!!»).

Рано и нелепо кончилась жизнь Николая Павловича, этого большого, талантливого художника. Я помню, как Антон Павлович говаривал:

— Эх, если бы мне талант Николая...

Беспорядочная жизнь в богемной среде привела к тому, что на тридцать первом году жизни Николай погиб от скоротечной чахотки, не успев создать ничего большого и значительного.

Все мои старшие братья были одаренными людьми, но лишь один Антон Павлович развил данные ему природой способности.

Я уже упоминала о старшем брате Александре. Он окончил университет по двум факультетам. В течение своей жизни занимался естественными науками, литературой, был блестящим лингвистом, талантливым журналистом. Но ни одну из этих способностей он по-настоящему не развил, разменявшись на мелочи.

* * *

После окончания училища мне захотелось продолжить свое образование и поступить в высшее учебное заведение. В Москве тогда существовали Высшие женские курсы, созданные профессором В. И. Герье, и я мечтала о них. Антон Павлович и тут помог мне, приняв на себя плату за учение.

Это было осенью 1883 года. Брат перешел уже на последний курс университета, а в литературных кругах твердо занял место как популярный автор юмористических и сатирических рассказов на бытовые и общественные темы.

Я с увлечением стала заниматься на курсах. Лекции читали такие известные в то время профессора, как Ключевский, Лопатин, Чупров и др. Я перезнакомилась с курсистками, завела себе подруг. Все мы тогда стремились быть «передовыми». Мы читали много книг на исторические, философские и общественные темы, среди них были и труды Маркса. Прочитанное обсуждали, писали рефераты, а затем читали их, собравшись на квартире у какой-нибудь курсистки. Иногда собирались в нашем доме. Обычно эти сборища у нас заканчивались вечеринками с танцами, музыкой, играми — всем тем, что сопутствует чудесной поре — молодости. Мои подруги очень любили собираться у меня: их привлекала непринужденная веселая атмосфера, которая всегда царила в нашем доме. Конечно, большой притягательной силой для них был Антон Павлович. Он в то время был уже известен как писатель. Его личные качества — обаяние, общительность, остроумие, живой юмор — пленяли моих подруг. Многие из них, например Юношева, Кундасова, Эфрос и другие, продолжали быть с ним в дружеских отношениях долгие годы.

В 1884 году Антон Павлович кончил университет, и на двери нашего парадного появилась дощечка: «Доктор



А. П. Чехов — студент.

А. П. Чехов». Но течение нашей жизни от этого не изменилось. Пациентов, желающих лечиться у молодого врача, не находилось. Свою практическую врачебную работу Антон Павлович начал в подмосковных больницах, в Воскресенске и Звенигороде. В Москве же пациентами брата были большей частью знакомые или же случайные больные. И по-прежнему главной работой его была — литературная, являвшаяся основным источником нашего существования.

В 1886 году и я закончила свои курсы, получив диплом учительницы среднеучебных заведений. В тот же год я поступила в частную женскую гимназию Л. Ф. Ржевской преподавательницей истории и географии. С этого времени началась моя самостоятельная трудовая жизнь.

1886 год я считаю переломным годом в биографии Антона Павловича. С этого года стала быстро расти его известность как писателя. Это сказалось на жизни нашей семьи, наполнившейся новым содержанием.

IV. ВОСКРЕСЕНСК И БАБКИНО

В начале 80-х годов наша семья каждое лето стала выезжать из Москвы на дачу. Брат Иван Павлович к тому времени стал учителем и жил в г. Воскресенске, недалеко от Москвы. Там при училище он имел большую, хорошую квартиру. К нему мы и приезжали на лето. Первые годы Антон Павлович, занятый в Москве своими литературными делами, с нами не ездил. Но начиная с 1883 года, когда он перешел уже на последний курс университета, стал уезжать из Москвы вместе с нами.

Воскресенск (ныне г. Истра) в то время был маленьким городком. Вблизи него лежал монастырь, называвшийся «Новый Иерусалим».

Вокруг городка были чудесные окрестности с лесами, лугами, рекой Истрой. Великолепные пейзажи тех мест, типичные для среднерусской полосы, запомнились мне на всю жизнь. Антон Павлович еще с юношеских лет страстно любил природу. Детство он провел на юге, в степной полосе, и теперь наслаждался прелестью и особой, неповторимой красотой среднерусской природы.

Почти каждый день веселой шумной компанией мы ходили гулять по окрестным лесам, бывали в Ново-Иерусалимском монастыре, где было много памятников старины. Большой любитель рыбной ловли, Антон Павлович часами просиживал с удочкой на реке Истре.

Невдалеке от города была расположена Чикинская земская больница, которой заведовал милейший человек и прекрасный врач Павел Арсентьевич Архангельский, у которого любили проходить практику студенты и начинающие врачи. Антон Павлович тоже поработал в этой больнице в 1883 году в качестве студента-практиканта, а в 1884 году, по окончании университета, работал у Архангельского уже в качестве врача. В это же лето брат, временно заменив уехавших в отпуск врачей, работал и в Звенигороде в качестве заведующего больницей и уездного врача. Эта работа дала Антону Павловичу, по его словам, «массу беллетристического материала». Например, в таких его рассказах, как «Хирургия», «Беглец», «На вскрытии», «Мертвое тело», «Экзамен на чин» и других, использованы чикинские и звенигородские наблюдения.

Среди наших знакомых в Воскресенске была семья полковника Б. И. Маевского, командира артиллерийской батареи, расквартированной в городе. Это была очень милая семья, вокруг которой, кроме офицеров, группировалось интеллигентное общество. Почти двадцать лет спустя, читая пьесу Антона Павловича «Три сестры», я вспомнила Воскресенск, батарею, офицеров артиллеристов, всю атмосферу дома Маевских. Впечатления, вынесенные из воскресенской жизни, надолго сохранились в памяти брата и помогли ему потом при создании пьесы.

В числе офицеров батареи, между прочим, был поручик Евграф Петрович Егоров. Он, как и другие офицеры, был завсегдатаем в доме Маевских, и я нередко там с ним встречалась, но ни разу ни одного значительного разговора между нами не было. Однажды, как говорится нежданно-негаданно, я получаю от него письмо, в котором он в самых серьезных выражениях делает мне предложение. Мне, тогда юной девушке, еще ни разу не приходила в голову мысль о замужестве, и я в недоумении показала это письмо Антону Павловичу и спросила, как в таких случаях нужно отвечать.

Брат прочитал письмо, успокоил меня и сказал, что это дело он сам уладит. Как он его уладил, мне осталось неизвестным, но только ни тогда, ни после я больше никаких писем от Егорова не получала и продолжала как ни в чем не бывало встречаться с ним у Маевских.

Впоследствии Е. П. Егоров вышел в отставку и стал земским начальником в Нижегородской губернии. Именно к Егорову Антон Павлович ездил из Москвы в 1892 году и вместе с ним принимал деятельное участие в оказании помощи голодающим крестьянам.

Вспоминая о семье Маевских, нужно добавить, что у них были детишки — девочки Аня и Соня и мальчик Алеша. Антон Павлович очень любил детей и всегда с ними дружил. Дружба с детьми Маевских дала, как известно, Антону Павловичу живой материал для рассказа «Детвора».

Как-то однажды играем мы во дворе у Маевских в крокет, подъезжает к воротам нарядная тройка лошадей, запряженная в коляску, на козлах сидит кучер в шляпе с павлиньими перьями. В коляске вижу одетую во все белое красивую даму. Первое ощущение у меня было — досада на то, что нам помешали и нарушили нашу простую, непринужденную обстановку. Затем вдруг слышу, как дама говорит брату Ивану:

— Иван Павлович, познакомьте меня с вашей сестрой!

Приехавшая оказалась владелицей соседнего имения Бабкино, что было в пяти верстах от Воскресенска, Киселевой. Брат Иван как-то познакомился с ее мужем А. С. Киселевым и был приглашен репетитором к его детям. Вот как произошло у нас знакомство с Киселевыми, выросшее затем в большую дружбу.

Алексей Сергеевич Киселев приходился племянником известному во времена Николая I дипломату графу Киселеву. Ко времени нашего знакомства Киселевы уже были небогаты, владели лишь имением Бабкино, и Алексей Сергеевич занимал должность земского начальника. Вскоре он совсем разорился, и прекрасное имение продали за долги.

Мария Владимировна Киселева была дочерью директора императорских театров в Москве В. П. Бегичева, интересного во многих отношениях человека, и внучкой известного русского просветителя и издателя

Н. И. Новикова. Сама она занималась литературной деятельностью, писала для детей.

В общем, это была прекрасная семья, хранившая традиции старинной русской культуры, и Антон Павлович потом крепко подружился с Киселевыми.

У меня же вскоре возникли дружеские отношения с Марией Владимировной, умной, обаятельной и, несмотря на весь свой внешний аристократизм, очень простой женщиной. Незадолго перед отъездом в Москву я гостила несколько дней в Бабкине.

Мне так понравилось тогда у Киселевых, что я даже «изменила» своей семье, оставив ее без помощи в хозяйственных делах. Я просила Антона Павловича похлопотать, чтобы домашние не сердились на меня за это, и получила от него в Бабкине такое письмо: «Наша собственная Сестра! Уезжаю. Дома уломаю всех. Если находишь лучшим жить в сих краях, а не в тех, то живи...»

* * *

Весной следующего года вновь встал вопрос о выезде на дачу. Ехать снова в самый Воскресенск брату не хотелось, да к тому же Иван Павлович там уже не служил: его уволили, причем виновником увольнения оказался брат Николай Павлович. Произошло это так.

В деревне Максимовке (недалеко от Бабкина) жил горшечник, с большим мастерством выделывавший горшечную посуду различных размеров. Он искусно обжигал свои горшки, и они при ударе издавали мелодичные звуки. Николай Павлович при своей музыкальности обратил на это внимание. Вместе с Иваном Павловичем он накупил множество горшков разных размеров, от маленьких до больших. Сделав на дне дырки, он повесил их на веревочках, как колокола, во дворе воскресенской школы. Вспомнив свое увлечение колокольным звоном в Таганроге, Николай Павлович «вызванивал» на этих горшках великолепные мелодии, чем приводил в восторг детвору, но... вызвал негодование попечителя школы ханжи Цуриковой. Этот горшечный звон сочли кощунством, и Ивана Павловича уволили.

Вот почему уже с февраля месяца Антон Павлович стал подыскивать дачу где-нибудь в окрестностях Звенигорода. В это время Киселевы предложили снять у них

в Бабкине на лето флигель. Помня те чудесные места, Антон Павлович согласился.

И вот 6 мая 1885 года мы выехали в Бабкино на дачу, нанятую с «мебелью, овощами, молоком и проч.», как писал брат Лейкину.

О том, как мы ехали в Бабкино и что там нашли, Антон Павлович рассказал в письме брату Михаилу, оставшемуся временно в Москве.

«Сейчас 6 часов утра. Наши спят... Тишина необычайная... Попискивают только птицы да скребет что-то за обоями. Я пишу сии строки, сидя перед большим квадратным окном у себя в комнате. Пишу и то и дело поглядываю в окно. Перед моими глазами расстилается необыкновенно теплый, ласкающий пейзаж: речка, вдали лес, Сафонтьево, кусочек киселевского дома... Пишу для удобства по пунктам:

a) Доехали мы по меньшей мере мерзко. На станции наняли двух каких-то клякс Андрея и Панохтея (?) по 3 целкача на рыло... Кляксы все время везли нас возмутительнейшим шагом. Пока доехали до бебулой церкви, так слюной истекли. В Еремееве кормили. От Еремеева до города ехали часа 4 — до того была мерзка дорога. Я больше половины пути протелепкался пешедралом. Через реку переправились под Никулиным, около Чикина. Я, поехавший вперед (дело было уже ночью), чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке. Можешь же представить, сколько было визга, железнодорожного шипенья и других выражений бабьего ужаса! В Киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж... Ожидание... И так далее, одним словом, когда мы доплелись до Бабкина, то было уже час ночи... Sic!!

b) Двери дачи были не заперты... Не беспокоя хозяев, мы вошли, зажгли лампу и узрели нечто такое, что превышало всякие наши ожидания. Комнаты громадны, мебели больше, чем следует... Все крайне мило, комфортабельно и уютно. Спичечницы, пепельницы, ящики для папирос, два рукомойника и... черт знает чего только не наставили любезные хозяева. Такая дача под Москвой по крайней мере 500 стоит. Приедешь — увидишь. Водворившись, я убрал свои чемоданы и сел жевать. Выпил водочки, винца, и... так, знаешь, весело было глядеть в окно на темневшие деревья, на реку... Слушал я, как

поет соловей, и ушам не верил... Все еще думалось, что я в Москве... Уснул я великолепно... Под утро к окну подходил Бегичев и трубил в трубу, но я его не слышал и спал...

c) Утром ставлю вершу и слышу глас: «крокодил!» Гляжу и вижу на том берегу Левитана... Перевезли его на лошади... После кофе отправился я с ним и с охотником (очень типичным) Иваном Гавриловым на охоту. Прошлялись часа $3^{1}/_{2}$, верст 15, и укокошили зайца. Гончие плохие...

d) Теперь о рыбе. На удочку идет плохо. Ловятся ерши да пескари. Поймал, впрочем, одного головля, но такого маленького, что в пору ему не на жаркое идти, а в гимназии учиться.

e) На жерлицы попадается. На Ванину жерлицу попался громадный налим. Сейчас жерлицы не стоят, ибо нет живцов...

f) О мои верши! Оказалось, что их очень удобно везти. В багаже не помяли, а к возам привязаны сзади были... Одна верша стоит в реке. Она поймала уже плотицу и громаднейшего окуня. Окунь так велик, что Киселев будет сегодня у нас обедать. Другая верша стояла сначала в пруде, но там ничего не поймала. Теперь стоит за прудом в завадине (иначе в плесе); вчера поймала она окуня, а сейчас утром я с Бабакиным вытащил из нее *двадцать девять* карасей. Каково? Сегодня у нас уха, рыбное жаркое и заливное... А посему привези 2—3 верши...

g) Марья Владимировна здравствует. Подарила матери банку варенья и вообще любезна до чертиков. Поставляет мне из французских журналов (старых) анекдоты... Барыш пополам. Киселев по целым дням сидит у нас. Вчера на пироге выпил 3 громадных рюмки. Бегичев ел, но не пил... Довольствовался только тем, что глядел умоляющими глазами на графин с водкой.

h) Я не пью, но тем не менее вино уже выпито. Вино так хорошо, что Николай и Иван обязаны привезти по бутыли (в чемоданах, как я). Вино здесь находка. Что может быть приятнее, как выпить после ужина на террасе по стаканчику вина! Ты объясни им...

i) Левитан живет в Максимовке. Он почти поправился. Величает всех рыб крокодилами и подружился

с Бегичевым, который называет его Левиафаном. «Мне без Левиафана скучно!» — вздыхает Бегичев, когда нет крокодила...»

* * *

Я не помню, в каком году я познакомилась с Исааком Ильичом Левитаном, но приблизительно это было в начале 80-х годов, когда Антон Павлович уже переехал в Москву. Левитан учился вместе с братом Николаем в Училище живописи, ваяния и зодчества. Одно время они и жили вместе в номерах на Садовой, где обычно ютилась бедная учащаяся молодежь.

Как-то я зашла к брату. Сижу, разговариваю, — входит его товарищ. Коля познакомил нас.

— А сестга Чехова уже багышня! — как бы удивленно сказал товарищ брата, здороваясь со мной.

Это и был И. И. Левитан. Он сильно картавил, не произносил звука «р», а вместо «ш» у него получалось «ф», меня, например, он всегда называл — Мафа.

Позднее, познакомившись с Антоном Павловичем, Левитан быстро с ним подружился, стал постоянно бывать у нас и сделался для нашей семьи близким человеком. Левитан глубоко любил русскую природу, очень тонко чувствовал ее и своим талантом живописца поистине воспел красоту русского пейзажа. Антон Павлович в литературе был великим мастером, глубоко чувствующим красоту русской природы. Эта общая любовь к природе, признание таланта друг друга — сблизили и взаимно привлекли великих художников.

У Левитана было выразительное лицо, крупный нос, томные с поволокой глаза, шапка темных волос. Я бы не сказала, что он был красив, но он пользовался успехом у женщин и сам был необыкновенно влюбчивым и экспансивным в проявлении своих чувств. Однако временами он впадал в мрачную меланхолию, готов был покончить с собой, повеситься, застрелиться, но эти настроения проходили.

В Бабкино вместе с нами он попал не случайно. Вот как описал это сам Антон Павлович в одном из писем с дачи: «Со мной живет художник Левитан (не тот[1], а другой — пейзажист)... С беднягой творится что-то

[1] Имеется в виду брат И. И. Левитана художник Адольф Левитан.

недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел на Святой с ним во Владимирскую губернию съездить, проветрить его (он же и подбил меня), а прихожу к нему в назначенный для отъезда день, мне говорят, что он на Кавказ уехал... В конце апреля вернулся откуда-то, но не из Кавказа... Хотел вешаться... Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю... Словно бы легче стало...»

Первое время Левитан жил в деревне Максимовке, а затем по настоянию Антона Павловича переехал в небольшой флигелек к нам в Бабкино. На этом домике Антон Павлович повесил шутливую вывеску «Ссудная касса купца Левитана». Никто без смеха не мог пройти мимо.

Меланхолия Левитана прошла. Чего только они с Антоном Павловичем не проделывали потом в Бабкине, заставляя всех покатываться со смеху! Тут были и пантомима с «убийством мусульманина Левитана бедуином Чеховым»: Левитан, расстелив на лужайке коврик, становился на колени (вернее, садился) и начинал молиться на восток, кланяясь до земли, а Антон Павлович, подкравшись сзади, стрелял в этот момент в него из ружья (разумеется, холостым), тот перевертывался и падал... Или знаменитый суд над Левитаном, в котором принимали участие А. С. Киселев — председателем суда, и Антон Павлович — прокурором, причем оба выступали в мундирах, расшитых золотом (из гардероба Киселева и Бегичева). Незадолго перед этим «судом» брат писал архитектору Ф. О. Шехтелю — общему приятелю его, Левитана и брата Николая: «Бросьте Вы Вашу архитектуру! Вы нам ужасно нужны. Дело в том, что мы (Киселев, Бегичев и мы) собираемся судить по всем правилам юриспруденции, с прокурорами и защитниками, купца Левитана, обвиняемого в а) в уклонении от воинской повинности, b) в тайном винокурении (Николай пьет, очевидно, у него, ибо больше пить негде), c) в содержании тайной кассы ссуд, d) в безнравственности и проч. Приготовьте речь в качестве гражданского истца». Нужно было только слышать блещущую остроумием обвинительную речь самого Антона Павловича на этом «суде»!.. Николай Павлович изображал зрителя, плакавшего от умиления... Редко в нашей дальнейшей жизни было столько искреннего веселья, юмора, сколько их было в Бабкине.

А какие чудесные поэтические вечера мы проводили в парке у большого дома Киселевых! Представьте себе теплый летний вечер, красивую усадьбу, стоящую на высоком крутом берегу, внизу реку, за рекой громадный лес... ночную тишину... Из дома через раскрытые окна и двери льются звуки бетховенских сонат, шопеновских ноктюрнов... Киселевы, мы всей семьей, Левитан сидим и слушаем великолепную игру на рояле Елизаветы Алексеевны Ефремовой — гувернантки детей Киселевых.

— Чегт возьми, как хогошо!.. — говорит Левитан.

Иногда пел гостивший у Киселевых бывший премьер Московского Большого театра тенор Владиславлев. Пела и сама Мария Владимировна Киселева. На меня, да и на всех моих братьев эти музыкальные вечера в Бабкине производили неизгладимое впечатление.

А порой вместо музыки происходило нечто вроде литературных вечеров. Очень интересными были воспоминания В. П. Бегичева о его деятельности в бытность директором императорских театров в Москве.

Много импровизировал и Антон Павлович. Передавал сценки, сюжеты рассказов, иногда тут же создавал почти законченные литературные миниатюры. Спустя многие годы читаю, бывало, новый рассказ брата и чувствую, что я где-то об этом уже читала или слышала... Начинаю вспоминать, пока передо мной не встанут картины летних вечеров в Бабкине, наша большая компания, расположившаяся кто где: на ступеньках, на перилах, внимательно слушающая Антона Павловича. Я не знаю, были ли уже тогда у Антона Павловича записные книжки, но так или иначе примечательно то, что сюжеты своих произведений он мог хранить и не использовать долгое время, пока они у него не «созревали».

Во многих письмах Антона Павловича к Киселевым можно прочесть его вопросы о «фальшивомонетчике», приветы ему и т. д. Это была забавная собака Киселевых, которая всегда смотрела как-то исподлобья и вкось, почему и получила от брата такое прозвище. Во время музыкальных и литературных вечеров в Бабкине «фальшивомонетчик» обычно сидел вместе с нами на ступеньках. В одном из писем к М. В. Киселевой Антон Павлович вспоминал эти «беседы вечером на крылечке... в присутствии Ма-Па, фальшивого монетчика и Левитана».

* * *

В Бабкине Антон Павлович ежедневно занимался приемом больных. Пациентами его были окрестные крестьяне.

В те времена, при крайней скудости в сельских местностях врачебных пунктов, крестьяне обычно шли за медицинской помощью к близ живущим помещикам, как к людям образованным, разбирающимся в болезнях. Установилась такая связь с крестьянами и у Марии Владимировны Киселевой, которая, как могла, «лечила» крестьян. Хорошо, если крестьяне попадали в таких случаях к достаточно культурным и умным людям вроде Киселевой, которая знала, что, кроме лечения простейших, общеизвестных заболеваний, она не имеет права лечить ничего.

Когда мы стали в летние месяцы жить в Бабкине, Киселева очень обрадовалась, узнав, что Антон Павлович врач. Вначале она приглашала его на помощь в более или менее серьезных случаях заболеваний приходивших крестьян, а позднее уже весь прием они производили вдвоем, хотя, впрочем, правильнее было бы сказать втроем, так как я тоже принимала самое деятельное участие в этих приемах, правда больше всего в качестве «низшего медицинского персонала»: что-то подать, принести, подержать и т. д.

Но со временем я так напрактиковалась на этих приемах, что, когда не было дома Антона Павловича, сама отпускала больным лекарства. Помню случай, когда мне пришлось очень переживать собственную оплошность.

Однажды пришел мужичок-крестьянин с жалобой на то, что ему что-то давит в животе. Я решила дать ему касторки. Но по ошибке дала ему выпить вместо касторового масла — камфарного. Когда я потом обнаружила свою ошибку, я испугалась: «Что теперь будет?» Весь день ходила сама не своя, плохо спала ночь. Когда же на другой день мужичок, как ни в чем не бывало, снова пришел, я ему очень обрадовалась и набросилась на него с вопросами:

— Ну как? Что?

— Ох, голубушка, спасибо тебе! Как же хорошо ты мне вчера помогла. Вот еще пришел к тебе...

Я была радешенька, но вместе с тем встала в тупик: «А чего же ему в таком случае сегодня дать?» А брат все еще не вернулся...

* * *

Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и неожиданно встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том о сем, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и... объяснение в любви.

Помню, как я смутилась, мне стало как-то стыдно, и я закрыла лицо руками.

— Милая Мафа, каждая точка на твоем лице мне дорогá... — слышу голос Левитана.

Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать.

Целый день я, расстроенная, сидела в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет. Миша, подсмотрев, что я плачу, сказал ему об этом. Тогда Антон Павлович встал из-за стола и пришел ко мне.

— Чего ты ревешь?

Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю, как и что нужно сказать теперь Левитану. Брат ответил мне так:

— Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты.

Мне стыдно было сознаться брату, что я не знаю, что такое «женщина бальзаковского возраста», и, в сущности, я не поняла смысла фразы Антона Павловича, но почувствовала, что он в чем-то предостерегает меня. Левитану я тогда ничего не ответила, и он опять с неделю ходил по Бабкину мрачной тенью. Да и я никуда не выходила из дома. Но вскоре все бабкинцы об этом «происшествии» узнали. Придет, бывало, Владимир Петрович Бегичев и зовет:

— Ну, Марьюшка, пойдем немного пройдемся.

Возьмет меня под руку и непременно поведет в сторону левитановского флигеля, и чем ближе мы подходим, тем все крепче прижимает мой локоть, чтобы я не убежала.

Потом, как это всегда в жизни бывает, я привыкла и стала вновь встречаться с Левитаном. На этом весь наш «роман» и закончился. Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным:

— Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Мафа...

Но Левитану не суждено было жениться. Вся жизнь его прошла в увлечениях, в метаниях. Однажды он так запутался в одном романе, героинями которого были мать и дочь, что даже стрелялся. Антон Павлович ездил тогда в имение, где произошли эти события, лечить Левитана и прожил у него около недели. Но Левитана нужно было лечить не столько от раны, сколько от психической подавленности.

Позднее Левитан откровенничал со мной:

— Чегт знает что! Понимаете, Мафа, мать и дочь...

На что я ему ответила:

— Это вы взяли из Мопассана...

Еще об одном увлечении Левитана, которое в какой-то степени нашло отражение в рассказе Антона Павловича «Попрыгунья», много писалось и говорилось. Добавлю лишь, что как ни старался Антон Павлович отмахнуться от «обвинения», но все-таки отношения между художником Рябовским и «попрыгуньей» Дымовой и весь сюжет рассказа во многом напоминают то, что произошло между Левитаном и художницей С. П. Кувшинниковой, хотя, конечно, нельзя ставить знака равенства между Левитаном и Рябовским. Этот рассказ был единственной причиной временного перерыва дружеских отношений между Левитаном и Антоном Павловичем, продолжавшегося около трех лет, до января 1895 года, когда наша общая приятельница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник привезла Левитана в Мелихово. Встретились они с Антоном Павловичем тепло и радостно. Левитан, проведя у нас вечер и ночь, рано утром уехал, оставив брату такую записку: «...Я рад несказанно, что вновь здесь у Чеховых. Вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле и не переставало быть дорогим». Все было забыто, и в нашем доме вновь зазвучал милый голос «крокодила».

Левитан нежно любил Антона Павловича. Когда брат в 1897 году неожиданно для всех заболел, Левитан прислал ему тревожное письмо, предлагал вместе поехать для лечения за границу, спрашивал, не нужно ли денег. «Ах, зачем ты болен, зачем это нужно, тысяча праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем! Бессмыслица!» — писал он в этом письме. Причем у самого Левитана дела со здоровьем в это время были неважные. У него было тяжелое сердечное заболевание. Приведу одно из писем Левитана, написанное мне в Мелихово в этот период: [1]

«Хорошая моя Мария Павловна! Я писал как-то Антону Павловичу, но ответа не получил, из чего заключаю, что его нет в деревне. Где он, а главное, как его здоровье? На днях один мой знакомый прочел, что Антон Павлович был в Одессе. Правда это? Проездом куда-нибудь? [2] Разве ему посоветовали теперь ехать на юг? Голубушка Мафа, напишите обо всем этом.

Какую дивную вещь написал Антон Павлович — «Мужики». Это потрясающая вещь. Он достиг в этой вещи поразительно художественной компактности. Я от нее в восторге.

Что вы поделываете, дорогая моя славная девушка? Ужасно хочется вас видеть, да так плох, что просто боюсь переезда к вам, да по такой жаре вдобавок. Я немного поправился за границей, а все-таки слаб ужасно и провести два часа в вагоне, да потом еще 10 верст по плохой дороге — не под силу. Может быть, похолоднее будет, решусь приехать к вам. Мало работаю — невероятно скоро устаю. Да, израсходовался я вконец, и нечем жить дальше! Должно быть, допел свою песню. Что ваши, здоровы ли? Мой привет им. Искренно преданный вам Левитан».

Два года спустя, в декабре 1899 года, Левитан приезжал к нам в Ялту. Здоровье его тогда было уже настолько плохо, что, гуляя с ним по окружающим нашу дачу холмам, я протягивала ему палку и, идя впереди, тянула его кверху.

---

[1] Полностью публикуется впервые.

[2] Это была газетная «утка». Антон Павлович летом 1897 года в Одессе не был.

Через полгода Левитан скончался в возрасте всего лишь тридцати девяти лет. Антон Павлович искренно горевал о ранней смерти своего друга и все собирался написать о нем статью, да так и не собрался.

Вскоре после смерти Исаака Ильича его брат Адольф Ильич передал мне фотокопию завещательной записки Левитана, в которой тот просил после его смерти сжечь все его письма. А. И. Левитан выполнил волю брата. Вот почему остались неизвестными письма Антона Павловича к И. И. Левитану.

* * *

Вспомнив в связи с Бабкиным о Левитане, я не закончила свой рассказ о самом Бабкине. Воспоминания о нем были бы неполными, если бы не упомянуть о детишках Киселевых, девочке Саше и мальчике Сереже. Я уже говорила о любви брата к детям. Не мог он не полюбить и не подружиться и с киселевскими ребятишками.

Шутливое произведение Антона Павловича «Сапоги в смятку», включенное в полное собрание его сочинений, было посвящено детям Киселевых.

Саша была бойкой девочкой лет десяти. Антон Павлович называл Сашу в шутку Василисой, а она его Васенькой. Левитан как-то нарисовал ей в альбом крымский вид, а Антон Павлович сделал подпись: «Вид кипариса перед Вами, Василиса».

Именно о ней говорится в одном из немногих стихотворений Антона Павловича:

Милого Бабкина яркая звездочка!
Юность по нотам allegro промчится:
От свеженькой вишни останется косточка,
От скучного пира — угар и горчица.

Спустя лет двенадцать Антон Павлович получил письмо от Саши, собиравшейся уже выходить замуж. Как написал мне брат, «ее жених, по фамилии Лютер, сделал приписку внизу письма и расписался потомственным дворянином. Я решительно не знаю, что отвечать».

Таким был финал дружески веселых отношений Антона Павловича с девочкой Василисой, ставшей потом женой «потомственного дворянина»...

Ее брат, Сережа Киселев, когда начал учиться в гимназии, одно время жил у нас в Москве, на Садовой Кудринской. Впоследствии он работал в театре и женился на артистке цыганского хора.

* * *

С Бабкиным было связано начало моих занятий живописью. Произошло это так. В те годы мы иногда приезжали в Бабкино к Киселевым и зимой. Погостим несколько дней, отдохнем и возвращаемся в Москву. Во время одного из таких зимних приездов в Бабкино у меня вдруг родилось желание написать масляными красками вид, открывавшийся из окна гостиной дома Киселевых. Это был зимний пейзаж с чернеющим вдали Дарагановским лесом. Этюд, к моему удивлению, получился недурной. Приехав в Москву, я показала его Левитану.

— О Мафа, молодец, и у вас тоже способности! — сказал он.

Эта похвала моего дебюта обрадовала меня, и я стала заниматься живописью серьезно.

* * *

Много красивого и хорошего впоследствии пережили мы и на Луке у Линтваревых и у себя в Мелихове, но воспоминания о Бабкине стоят как-то особняком. Да и на творчестве Антона Павловича жизнь в Бабкине, без сомнения, сказалась очень сильно. Великолепные описания картин среднерусской природы, которые Антоном Павловичем были потом разбросаны по многим его произведениям, были, конечно, навеяны бабкинскими местами. Ряд рассказов был прямо связан с Бабкиным, как, например, «Ведьма», «Недоброе дело». Кажется, и сейчас сохранилась сторожка и Полевщинская церковь у Дарагановского леса, где мы раньше гуляли, собирали грибы и откуда по ночам доносился колокольный звон, когда сторож отбивал часы. Известный рассказ Антона Павловича «Налим» написан с натуры, такой случай был, когда у Киселевых строили купальню. В графе Шабельском пьесы «Иванов» можно узнать В. П. Бегичева и т. д.

При воспоминании о молодости, возможно, все кажется прекрасным и поэтическим, но только поэзия и красота летних месяцев в Бабкине остались в моей памяти неизгладимыми на всю жизнь. Недаром мы три года подряд — с 1885 по 1887 — жили там. Когда я сейчас прохожу по кабинету Антона Павловича в Ялтинском доме-музее и вижу в нише за письменным столом чудесную картину Левитана «Река Истра», написанную им в Бабкине в 1885 году, всякий раз в моей памяти возникают далекие милые образы.

V. НА САДОВОЙ КУДРИНСКОЙ

До 1886 года мы сменили в Москве множество квартир. По мере улучшения материального положения нашей семьи мы перебирались и в лучшие квартиры. Но нам часто не везло. Осенью 1885 года мы сняли, например, квартиру на улице Якиманке в доме Лебедева. Через некоторое время оказалось, что она страшно сырая и, когда стали топить, стены покрывались плесенью. У Антона Павловича в эти годы уже появлялся кашель (бывало и кровохарканье, но об этом мы тогда еще не знали), и такая сырая квартира для него была губительна. Прожив там месяца полтора, мы переехали в квартиру напротив, в доме Клименкова.

Там оказалось другое неудобство. Над нами, этажом выше, было помещение, сдававшееся под балы, свадьбы, поминки и т. п. Покоя от этого не было ни днем, ни ночью. Над головой постоянно слышалась музыка, топот отплясывающих ног... В такой обстановке брату, конечно, тяжело было работать.

В этом доме у нас был большой зал, и мы стали иногда устраивать свои вечера. В них принимали участие приятели и знакомые братьев, а также и мои подруги по курсам. Особенно весело у нас бывало на рождестве и на пасхе. Между прочим, в пасхальную ночь Антон Павлович любил компанией походить по Москве. Обычно мы шли сначала на Каменный мост послушать колокольный звон. На речном просторе Москвы-реки звон колоколов как-то особенно красиво и торжественно звучал. До заутрени над городом стояла тишина. Но вот ударял первый тяжелый колокол на кремлевском Иване

Великом, второй, третий... и начинался звон во все колокола этой огромной колокольни. В этот момент вступали колокола других церквей, и раздавался знаменитый московский пасхальный звон сорока сороков.

Постояв на мосту, мы шли домой и по дороге обычно заходили в церкви послушать службу, хор, посмотреть внутреннее убранство церквей. Стояли везде понемногу. Помню, как-то зашли мы в одну из бесчисленных московских церквей и увидели там знакомого художника (фамилию его теперь уж не помню). Антон Павлович, поздоровавшись, тихо спросил его:

— Скажите, а какая это церковь?

— А ч-черт ее знает! — полуобернувшись, с серьезным видом ответил художник.

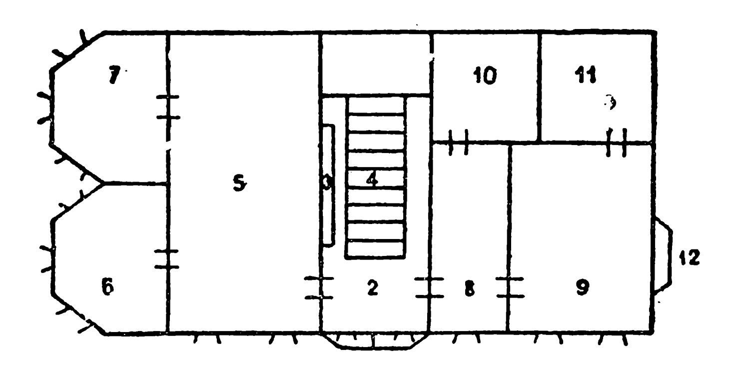
Такой ответ был настолько неожиданным и курьезным, что Антон Павлович и все мы не могли удержаться и прыснули от смеха. Потом дома Антон Павлович очень смешил всех, артистически изображая этого художника в церкви с его ответом: «А черт ее знает!»

В первый день пасхи Антон Павлович иногда приглашал меня идти с ним на вечерню в храм Христа Спасителя, в котором когда-то брат Николай Павлович вместе с художниками Сорокиным и Прянишниковым расписывали стены на хорах. Во время службы Антон Павлович стоял как вкопанный, не молясь, и внимательно смотрел, как облачали митрополита, — его интересовала лишь внешняя сторона службы.

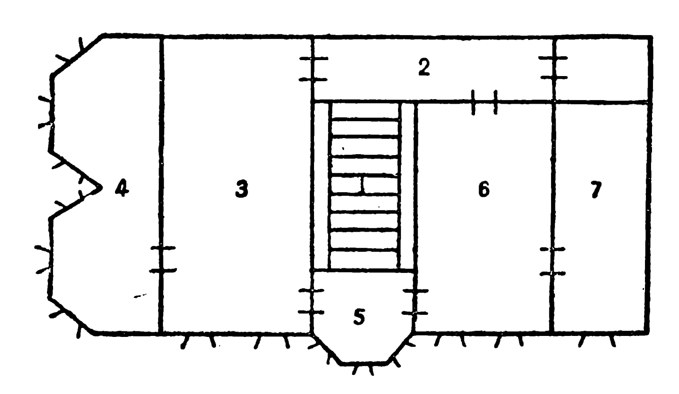
С квартирой в доме Клименкова мы распрощались весной 1886 года, когда уехали на дачу в Бабкино. Прожили там лето, а с приближением осени опять стали думать о найме новой квартиры. В начале августа я съездила с этой целью в Москву и, осмотрев ряд квартир, остановилась на небольшом двухэтажном доме врача Якова Алексеевича Корнеева по Садовой Кудринской улице (ныне дом № 6) [1]. Правда, эта квартира стоила по тем временам (да и по нашим средствам) довольно дорого — шестьсот пятьдесят рублей в год, и у брата не было даже денег заплатить, как требовал хозяин, сразу за два месяца вперед, но она прельстила меня удобным расположением комнат на двух этажах, близостью от центра и тем, что находилась она в хоро-

[1] С 1954 года в нем создан Дом-музей А. П. Чехова.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КВАРТИРЫ ЧЕХОВЫХ
В ДОМЕ КОРНЕЕВА НА САДОВОЙ КУДРИНСКОЙ УЛИЦЕ



Первый этаж. 1. Парадное. 2. Прихожая. 3. Вешалка. 4. Лестница на второй этаж. 5. Кабинет Антона Павловича. 6. Комната Михаила Павловича. 7. Спальня Антона Павловича. 8—9. Кухня. 10. Комната горничной. 11. Комната кухарки. 12. Черный ход.



Второй этаж. 1. Лестница на первый этаж. 2. Коридор. 3. Гостиная. 4. Комната Марии Павловны. 5. Комната с бельведером. 6. Столовая. 7. Комната матери.

шем районе Москвы. Антон Павлович занял у издателя журнала «Осколки» Н. А. Лейкина деньги, и мы сняли эту квартиру.

После переезда и устройства новая квартира Антону Павловичу очень понравилась. Устроились мы в ней так. В первом этаже были расположены: прихожая, из нее налево кабинет Антона Павловича, а из кабинета две двери вели в так называемые бельведеры (выступы с окнами на улицу, отчего этот дом Антоном Павловичем и был шутливо назван «комодом»). В первом бельведере (в сторону двора) была спальня брата Михаила, а рядом, в другом бельведере, — спальня Антона Павловича. Направо от прихожей были расположены кухня и две комнаты для прислуги. Посередине прихожей лестница вела на второй этаж, под лестницей жила наша собака Корбо. Во втором этаже расположение комнат было такое: в обоих бельведерах (над спальнями Михаила и Антона) была моя комната, рядом (над кабинетом Антона Павловича) — гостиная, затем шла проходная комната тоже с бельведером, который выступал над парадным входом во дворе. Из этой комнаты дверь вела в столовую, а рядом была комната матери, Евгении Яковлевны. Отец с нами здесь не жил, а лишь ежедневно приходил к нам. Жил он тогда у брата Ивана Павловича, недалеко по этой же улице. Такая большая удобная квартира была у нас впервые.

Здесь мы прожили почти четыре года. Я уже упоминала о том, что 1886 год я считаю переломным годом в биографии Антона Павловича. С этого года, именно в корнеевском доме, у нас началась жизнь, наполненная более глубоким внутренним содержанием. В корнеевском доме братом были написаны первые крупные произведения («Степь», «Счастье», первая пьеса — «Иванов» и др.). Здесь, в этом доме, у нас побывали Григорович, Короленко, Чайковский, Плещеев и многие другие деятели литературы и искусства, обратившие внимание на молодого писателя Чехова.

* * *

Еще в марте 1886 года, когда мы жили на Якиманке, Антон Павлович, подписывавший тогда свои рассказы псевдонимом «Чехонте», неожиданно получил письмо от

известного русского писателя Дмитрия Васильевича Григоровича. В этом письме маститый шестидесятипятилетний писатель впервые говорил Антону Павловичу о том, что, по его убеждению, он обладает «настоящим талантом», который выдвигает его «далеко из круга литераторов нового поколения», что ему это нужно осознать и серьезно отнестись к своему дарованию и к литературной работе. Это письмо очень взволновало брата. Он отвечал Григоровичу: «Ваше письмо... поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе».

В более поздние годы, когда талант брата раскрылся во всю мощь и он стал уже известным писателем, он слышал много приятных слов о своем творчестве, но этот первый отзыв старого авторитетного писателя, конечно, имел большое значение для двадцатишестилетнего Антона Павловича. На взволнованное письмо брата Григорович ответил: «Вы этим подтвердили только мою веру в Ваше дарование: впечатлительность и сердечность в тесной связи с творческой способностью».

Григорович всегда высоко ценил произведения Антона Павловича. Спустя два года старший брат Александр, служивший в ту пору в Петербурге, в редакции газеты «Новое время», писал мне об отношении Григоровича к Антону Павловичу. Это письмо Александра Павловича ко мне (от 8 июля 1888 г.) нигде не публиковалось *, и я считаю интересным привести из него выдержку:

«Вчера из Ниццы приехал Д. В. Григорович, расцеловался со мной и завопил о том, что у нас в России нет критики и что такого «гейнима», как Антон, недостаточно оценили. Заграница его поправила мало, он все еще чувствует «волнение» в груди и поэтому скор и быстр нервно.

Купил «Рассказы» Антона, несмотря на мое предложение прислать ему экземпляр, куда он прикажет. Сегодня он укатил уже в Москву. И за границей и в России он возит с собой сочинения Антона, читает их, делает на полях пометки карандашом и, вероятно, надоедает соседям по вагону. Во всяком случае, за границей

* В настоящее время письмо опубликовано — см. журнал «Вопросы литературы», 1960, № 1, стр. 100. *(Прим. ред.)*

Антона знают и, вероятно, здорово ругают за то, что он так хорошо пишет, что Григорович не дает никому спать в дороге. Такого пылкого энтузиаста и распространителя Антоновой славы я еще не встречал. Он, кажется, готов залепить в ухо, чтобы только доказать, что Антон — гейним. В редакции он ни с того ни с сего набросился на Жителя[1] и давай его укорять в том, что Антона будто бы обижают. Житель слушал, слушал, а потом и решил: «Ну, с ума спятил старичина. Какой черт Чехова обижает? Совсем развинтился...» Я тоже выслушал приблизительно такую речь: «Дорогой мой Чехов, скажите Вы брату, что такую фразу, как сравнение зари с подергивающимися пеплом угольями был бы счастлив написать Тургенев, если бы был жив. Много, много у него прекрасных мест. Я их все отмечаю. У — талант, у — силища! Жаль только, что он всё мелкие вещи пишет...» «Степи» он еще не читал (то есть в момент разговора). «Огни» чрезвычайно нравятся всем. Все смыслящие жалеют, что такая прекрасная вещь прошла в летней книжке журнала. Будь это зимою — наделала бы вещица шуму. Таковы по крайней мере общие речи».

Как-то в один из своих приездов в Москву Д. В. Григорович зашел вечером к нам на Садовую Кудринскую. Антон Павлович принял его в своем кабинете внизу. А наверху у меня в это время были мои приятельницы, братья, их товарищи. В гостиной стояли смех, шум, музыка, топот ног. Моя подруга Дарья Михайловна Мусина-Пушкина (по прозвищу Антона Павловича «Дришка») представляла нам, как танцуют кавалеры различных слоев общества.

Григорович, разговаривая с братом, временами косился наверх и наконец не выдержал и спросил:

— Послушайте, Чехов, что это такое у вас там наверху?

— А это у сестры в гостях подруги, — ответил Антон Павлович.

— А нам можно к ним?

— Ну конечно! Пойдемте.

И вот вдруг мы видим: входит к нам в сопровождении брата красивый, элегантный старик с седыми бакенбардами, с галстуком, завязанным широким бантом.

---

[1] А. А. Дьякова.

— Дмитрий Васильевич Григорович, — представил нам его Антон Павлович.

Вначале мы немножко застеснялись и присмирели, но затем веселье наше возобновилось. Григоровичу наша молодая компания, видимо, понравилась. Он принял участие в наших играх и шутках.

Он долго не забывал проведенного у нас вечера и потом в Петербурге рассказывал своим знакомым, что у Чехова он нашел «вакханалию»!

Вскоре новый сборник своих рассказов под общим заголовком «В сумерки» Антон Павлович посвятил Григоровичу. Это было знаком признательности Антона Павловича за ту дружескую моральную поддержку, которую Григорович оказал ему в молодые годы его творчества. Кстати, получив посвященную ему книжку, Григорович написал брату из Ниццы очень интересное письмо. Оно было опубликовано мною свыше сорока лет тому назад в сборнике «Слово» (Москва, 1914) и многим неизвестно. Приведу здесь выдержку из него:

«Рассказы Ваши давно знакомы мне по «Новому времени»; но я снова прочел их, держась обыкновения подчеркивать карандашом те черты, те блестки, которые для меня служат знаком несомненно оригинального таланта. Помнится, раз в Кадиксе, в духов день, когда все население отправляется за город, я принялся сводить счет красивым женщинам; через десять минут я бросил милое занятие, потому что хорошенькие женщины шли не в одиночку, а целыми толпами. То же самое произошло при чтении Ваших рассказов.

Вы очень худо сделаете, если подумаете, что я говорю так ради красивого словца. Льстить Вам или говорить комплименты было бы не только бессмысленно с моей стороны, но при существующих отношениях просто низко и подло, и, наконец, какая причина может заставить меня кривить душою перед Вами?

Рассказы «Мечты» и «Агафья» мог написать только истинный художник; три лица в первом и два во втором едва тронуты, а между тем нечего уже больше прибавить, чтобы сделать их более живыми, обозначить рельефнее физиономию и характер каждого; ни в одном слове, ни в одном движении не чувствуется сочиненность, — все правда, все как должно быть на самом деле; то же самое при описании картин и впечатлений

природы: чуть-чуть тронуто — а между тем так вот и видишь перед глазами; такое мастерство в передаче наблюдений встречается только у Тургенева и Толстого (описания такие в «Анне Карениной»). По целости аккорда, по выдержке общего сумрачного тона рассказ «Недоброе дело» — просто образцовый; с первых страниц не знаешь еще, что будет — а уж невольно становится жутко, и душою овладевает предчувствие чего-то недоброго. Рассказы «Несчастье», «Верочка», «Дома», «На пути» доказывают мне только то, что я уже давно знаю, то есть, что Ваш горизонт отлично захватывает мотив любви во всех тончайших и сокровенных проявлениях.

Все это снова заставляет меня обратиться к Вам с просьбой, самой сердечной просьбой, внушенной мне Вашим истинно редким талантом, — бросить писанье наскоро и исключительно мелких рассказов, и особенно в газеты. В массе публики, не столько читающей, сколько пробегающей строки, — из 500 читателей едва ли один найдется способный отличить жемчужное зерно в общем хламе. Указания этого рода были бы делом критики, но критика наша сосредоточилась теперь в Буренине, который предпочитает писать драмы, изливать желчь на ничтожных поэтиков и сочинять сумбур за подписью Жасминова, чем заниматься настоящим делом. Мелкими рассказами начал Тургенев; но он их печатал только в «Современнике», который тогда был для журналистов то же, что Рубини в пении; мы все были тогда товарищи, связаны дружбой, и стоило одному написать что-нибудь порядочное, чтобы друзья спешили сделать ему известность. Теперь не так, и, наконец, такому человеку, как Вы, не все ли равно написать 10—15 рассказов или написать столько же глав, связанных общим интересом, общими лицами... Все дело в исполнении и также в задаче, главное задаче, потому что на 10 печатных листах нельзя ограничиться рисовкою лиц и картин природы, невольно намечается цель, обязанность сделать какой-нибудь вывод, представить картину нравов какой-то среды или угла, высказать какую-нибудь общественную мысль, развить психическую или социальную тему, коснуться какой-нибудь общественной язвы и т. д.

...Да, да, привинчивайте-ка себя к столу, как Вы говорите, и утопайте в большой неспешной работе. Напи-

шите сначала *вдоль*, потом *поперек* и увидите, насколько я был прав, уверовав в Вас с первых Ваших дебютов. Не знаю, чего только я не прочел в мой долгий век; читал я всегда внимательно, стараясь всегда угадать прием писателя и как у него что сделано; у меня несравненно больше литературного чутья и такта, чем собственно дарования. Мне Вы можете вполне довериться как литератору и столько же как человеку, который полюбил Вас сердечно и искренно помимо Вашего таланта. За посвящение мне книги спасибо. Обнимаю Вас дружески. Д. Григорович».

Это дружеское, искреннее письмо Дмитрия Васильевича снова произвело огромное впечатление на брата. На другой день после его получения Антон Павлович написал Владимиру Галактионовичу Короленко, который незадолго до этого был у нас и познакомился с братом: «Мне пришла охота отдать переписать и послать Вам письмо старика Григоровича, которое я получил вчера. Ценю я его по многим причинам на вес золота и боюсь прочесть во второй раз, чтобы не потерять первого впечатления... Из письма Вам станет также известно, что не Вы один от чистого сердца наставляли меня на путь истинный...»

* * *

В. Г. Короленко пришел к нам как-то в один из осенних вечеров 1887 года. Открыв ему парадную дверь, я не сразу поняла, что это за человек с большой густой бородой пришел к брату. Только когда сверху спустился Антон Павлович и, сердечно приветствуя гостя, назвал его по имени и отчеству, я узнала, кто это. Имя Короленко в нашем доме было хорошо известно, во-первых, по его рассказам, которые не раз хвалил брат, и, во-вторых, по большой статье Оболенского о Чехове и Короленко, напечатанной в журнале «Русское богатство» (декабрь, 1886).

За чаем в нашей столовой Короленко и Антон Павлович много говорили о литературе. Короленко интересно рассказывал о своих сибирских впечатлениях, полученных в ссылке. Он высылался из центральной России несколько раз. В 1881 году он опять был сослан в Якутию за отказ подписать присягу вступившему на

престол новому царю Александру III. После разрешения вернуться в Европейскую Россию он с 1885 года жил в Нижнем-Новгороде, находясь под надзором полиции. О Владимире Галактионовиче, по моим встречам с ним, у меня остались самые лучшие воспоминания как о человеке умном, прямом и очень простом.

Так же, как и Григорович, Короленко убеждал Антона Павловича серьезнее относиться к своему дарованию и засесть за большую работу, бросив писание пустячков. Между ними зародились дружеские отношения, которые никогда и ничем не омрачались. Сразу же после знакомства брат написал Александру Павловичу, что Короленко «талантливый и прекраснейший человек» и что, «на мой взгляд, от него можно ожидать очень многого», а самому Короленко Антон Павлович писал: «...я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами... Во-первых, я глубоко ценю и люблю Ваш талант... Во-вторых, мне кажется, что если я и Вы проживем на этом свете еще лет 10—15, то нам с Вами в будущем не обойтись без точек общего схода».

Этих «точек общего схода» у них действительно потом было много. Вместе они были в 1900 году избраны почетными академиками по разряду изящной словесности. Вместе они — и только они — вышли в 1902 году из состава академиков в знак протеста против отмены по распоряжению царя выборов в академики А. М. Горького. В день пятидесятилетия В. Г. Короленко Антон Павлович в телеграмме к нему назвал его «дорогим, любимым товарищем, превосходным человеком», которому он «обязан многим». Когда же умер Антон Павлович, Короленко записал в своем дневнике: «Чувство, которое я к нему испытывал, без преувеличения можно назвать любовью...»

Духовное общение Антона Павловича с Григоровичем и Короленко в 80-е годы имело положительное значение для развития его творчества в переломный период.

* * *

Имя Петра Ильича Чайковского в конце 80-х годов прошлого столетия было известно не только в музыкальных кругах, но и среди самых широких слоев русской интеллигенции.

В нашей семье музыкальные произведения Чайковского были очень популярны. Антон Павлович знал и любил многие оперы, романсы и музыкальные пьесы Чайковского. Я помню, как однажды он даже пытался подобрать на рояле одним пальцем запомнившуюся ему мелодию из какой-то симфонии Чайковского!

Бывая в Петербурге, Антон Павлович познакомился там с братом Петра Ильича Модестом Ильичом Чайковским — драматургом, переводчиком и либреттистом ряда опер, в том числе и опер П. И. Чайковского. Завтракая однажды у Модеста Ильича, Антон Павлович встретился там с Петром Ильичом. Из разговора за завтраком брат узнал от Петра Ильича, что тот читал его рассказы.

Осенью 1889 года Антон Павлович собирался издавать новый сборник своих рассказов под общим заголовком «Хмурые люди». 12 октября 1889 года он написал Петру Ильичу письмо с просьбой разрешить посвятить эту книжку ему. Он писал, что «это посвящение, во-первых, доставит мне большое удовольствие, и, во-вторых, оно хотя немного удовлетворит тому глубокому чувству уважения, которое заставляет меня вспоминать о Вас ежедневно». В конце письма он добавил: «Если Вы вместе с разрешением пришлете мне еще свою фотографию, то я получу больше, чем стою...»

И вот через день, 14 октября, в ответ на письмо брата к нам домой совершенно неожиданно пришел сам Чайковский! Брат принял его внизу в своем кабинете. Петр Ильич принес свою карточку с надписью: «А. П. Чехову от пламенного почитателя. П. Чайковский. 14 окт. 89». Эта фотография всегда находилась в кабинете брата, где бы мы ни жили. Она и до сего времени висит на одной из стен кабинета Антона Павловича в ялтинском Доме-музее.

Я не присутствовала во время их разговора. Но со слов Антона Павловича знаю, что Петр Ильич предложил ему написать либретто для новой задуманной им оперы «Бэла», в основу которой должен был лечь сюжет лермонтовской «Бэлы». Младший брат Михаил, видимо присутствовавший при этом разговоре, рассказывал в своих воспоминаниях, что Чайковский говорил брату о распределении голосов:

«Бэла — сопрано, Печорин — баритон, Максим Максимыч — тенор, Казбич — бас.

— Только, знаете ли, Антон Павлович, — сказал Чайковский, — чтобы не было процессий с маршами; откровенно говоря, не люблю я маршей».

О том, как отнесся к этому посещению Антон Павлович, можно судить по написанному им на другой день письму к Суворину: «Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно «Онегина». Хотим писать либретто».

Чайковский у нас курил и, уходя, забыл свой портсигар. Антон Павлович в тот же день послал его Петру Ильичу, а также свою фотографию и книгу рассказов с таким сопроводительным письмом:

«Очень, очень тронут, дорогой Петр Ильич, и бесконечно благодарю Вас. Посылаю Вам и фотографию и книгу, и послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне.

Вы забыли у меня портсигар. Посылаю Вам его. Трех папирос в нем не хватает: их выкурили виолончелист, флейтист и педагог».

«Виолончелистом» и «флейтистом» были постоянные гости в нашем доме, наши друзья М. Р. Семашко и А. И. Иваненко, «педагогом» — брат Иван Павлович. Они выкурили эти папиросы не столько потому, что у них не было своих, сколько потому, что они принадлежали самому Чайковскому! На книжке, посланной Чайковскому, Антон Павлович сделал такую надпись: «Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста».

Вскоре Петр Ильич прислал Антону Павловичу билет на право посещения симфонических концертов в Колонном зале Благородного собрания (ныне Дома союзов) в течение всего зимнего сезона. Это были очень интересные концерты, на которых в тот год дирижировали при исполнении своих произведений сами композиторы. Я всю зиму с удовольствием ходила по этому билету Чайковского в Колонный зал и наслаждалась великолепными концертами. Однажды я была на концерте какого-то неизвестного мне композитора и увидела в зале П. И. Чайковского. Он сидел на краю эстрады за колоннами и слушал музыку. Мое место было близко, и я не отрывая глаз весь вечер смотрела

на Чайковского, — так велико было обаяние его личности.

О том, как высоко оценивал творчество Чайковского Антон Павлович, можно судить еще по одному его письму к Модесту Ильичу Чайковскому: «Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, — до такой степени я уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском искусстве он занимает теперь второе место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом».

Петр Ильич тоже восторженно отзывался о творчестве Антона Павловича, назвал его в одном из своих писем к друзьям «будущим столпом нашей словесности», а самому Антону Павловичу писал, отвечая на посвящение ему сборника рассказов: «Ведь я настоящим образом не благодарил Вас за посвящение «Хмурых людей», чем страшно горжусь! Помню, что во время Вашего путешествия я все собирался написать Вам большое письмо, покушался даже объяснить, какие именно свойства Вашего дарования так обаятельно и пленительно на меня действуют. Но не хватило досуга, а главное — пороху. Очень трудно музыканту высказать словами, что и как он чувствует по поводу того или другого художественного явления».

Предполагавшаяся совместная работа Антона Павловича с Чайковским над новой оперой не состоялась. Антон Павлович вскоре уехал на Сахалин, а Петр Ильич в 1893 году неожиданно скончался. Наша семья восприняла его смерть как большое горе.

* * *

У Антона Павловича была крошечная книжечка-альбом с золотым обрезом, подаренная в свое время Сувориным. Сейчас она находится в экспозиции Дома-музея А. П. Чехова в Ялте. На одной из страниц этой книжечки имеется такая запись:

«С Антоном Павловичем Чеховым я познакомился вот как: в Москву я приехал в 1882 году приглашать кое-кого из московской пишущей братии сотрудничать в «Осколках».

Когда я проезжал с покойным Пальминым по Твер-

ской, он указал мне на молодого длинноволосого человека и сказал: «Вот даровитый начинающий писатель идет — фамилия его Чехов».

Я узнал адрес Чехова, поехал к нему знакомиться и пригласил писать в «Осколки».

28 октября 1891 г. *Н. Лейкин*».

«Осколки» — юмористический журнал, издававшийся в Петербурге с 1882 года. Редактором его был Николай Александрович Лейкин — писатель-юморист, сотрудничавший ранее в «Искре», «Современнике», «Петербургской газете» и др. Выходец из купеческо-приказчичьей среды, он поставил свой журнальчик на крепкие ноги: понимал толк в хороших сотрудниках и старался подбирать их, авторам платил аккуратно. Номера всегда выходили в срок.

Он действительно приезжал тогда на одну из наших невзрачных московских квартир с предложением брату сотрудничать. Антон Павлович предложение принял и почти пять лет печатался у Лейкина. Это был так называемый «осколочный» период в творческой биографии брата. В течение этого времени он был дружен и с самим Лейкиным.

Почти всегда, когда Лейкин приезжал из Петербурга в Москву, он бывал у нас. Был он и в доме на Садовой Кудринской, иногда даже ночевал. Коренастый, с широкой густой бородой, хромой, он был довольно шумным человеком, любил выпить и повеселиться в московских ресторанах и возил с собой туда Антона Павловича, что мне не особенно нравилось. Однажды Лейкин предложил мне приехать вместе с Антоном Павловичем в Петербург и остановиться у него в доме. В конце ноября 1886 года Антон Павлович поехал по делам в Петербург и взял меня с собой в награду за то, что я успешно закончила в этом году Высшие женские курсы. Так семьдесят лет тому назад я впервые побывала в северной столице.

Петербург произвел на меня большое впечатление своими широкими, длинными и прямыми улицами, особой, нарядной архитектурой домов, своим чинным порядком, хотя на всем лежала какая-то казенная печать. Такую широкую большую реку, как Нева, я увидела впервые в своей жизни. Великолепные

мосты через Неву, многочисленные каналы посреди улиц, оригинальные памятники на площадях — все это было для меня необычным и надолго запечатлелось в памяти. Но в нашей Москве того времени, пожалуй, было больше уюта, теплоты и простоты. Конечно, как всегда, и в те времена были убежденные поклонники каждого из городов, которые могли без конца спорить о преимуществах той и другой столицы.

* * *

Часто посещал нас в корнеевском доме известный артист Малого театра Александр Павлович Ленский (настоящая его фамилия Вирвициотти) — интересный собеседник, серьезный, образованный актер, очень хорошо читавший на концертах рассказы Антона Павловича. Он бывал у нас всегда с женой, Лидией Николаевной, которую в его семье звали Ликой (поэтому и мы потом стали звать Ликой мою подругу Лидию Стахиевну Мизинову). Лидия Николаевна Ленская была родной сестрой жены другого выдающегося артиста и режиссера Малого театра Александра Ивановича Сумбатова-Южина Марии Николаевны и двоюродной сестрой жены Владимира Ивановича Немировича-Данченко — Екатерины Николаевны. Примечательно, что, как будто сговорившись, эти три замечательных театральных деятеля породнились через своих жен.

Ленские были нашими первыми друзьями в ту пору. Особенно часто они бывали у нас в великом посту, когда приходили «на капусту». В те времена по требованию духовного ведомства во время великого поста театры не работали и закрывались, актеры были свободны. По существовавшим тогда традициям на первой неделе поста обычно постились, то есть ели постную пищу; главное кушанье составляла кислая капуста. Наша мать, Евгения Яковлевна, очень вкусно ее готовила, вот почему к нам «на капусту» с удовольствием собирались наши друзья и знакомые.

Встречались мы с ним и у художницы Софьи Петровны Кувшинниковой, где Ленский был своим человеком. Он тоже занимался живописью. Дружба наша продолжалась несколько лет, вплоть до появления рассказа Антона Павловича «Попрыгунья». В этом рас-

сказе, как известно, брат описывает в числе постоянных гостей Дымовой (Кувшинниковой) одного «толстого актера». Ленский увидел в нем себя, обиделся и не здоровался с нами потом почти восемь лет. В конце 1899 года, когда Антон Павлович вошел уже в большую славу, я встретилась как-то с Ленским в клубе Литературно-художественного кружка. Он неожиданно подошел ко мне и, как я писала потом в письме к брату, «долго тряс мою руку и просил, чтобы я тебе передала, что он всегда любил тебя и любит. Меня это, представь, нисколько не тронуло! Уж очень рожа актерская. Но уж один тот факт, что он подошел, не кланявшись восемь лет!»

Бывал у нас на Садовой Кудринской еще один большой артист — Владимир Николаевич Давыдов, с которым Антон Павлович близко познакомился, когда в театре Корша ставилась пьеса «Иванов». Владимир Николаевич был первым исполнителем роли Иванова, а потом и роли Светловидова в пьесе брата «Лебединая песня (Калхас)». Антон Павлович был очень высокого мнения об актерском искусстве Давыдова. Он писал, например, перед постановкой «Иванова» в одном из писем: «Иванова будет играть Давыдов, который, к великому моему удовольствию, в восторге от пьесы, принялся за нее горячо и понял моего Иванова так, как именно я хочу. Я вчера сидел у него до 3-х часов ночи и убедился, что это действительно громаднейший художник».

Подолгу бывал Давыдов и у нас. Иной раз до глубокой ночи он просиживал в кабинете Антона Павловича за разговором или за чтением каких-нибудь отрывков из пьес. Как-то однажды в его присутствии пришло письмо от поэта Я. П. Полонского, в котором было вложено его стихотворение «У двери», посвященное Антону Павловичу. Владимир Николаевич Давыдов с большим чувством и первым прочел его всем нам вслух.

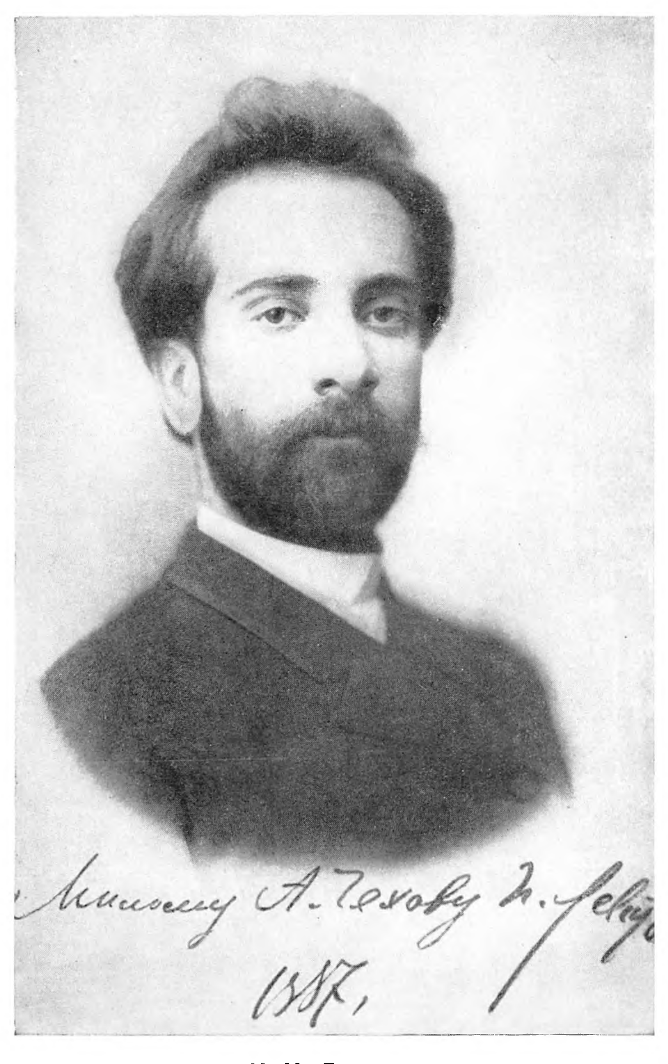
На другой год после постановки «Иванова» в театре Корша В. Н. Давыдов переехал в Петербург и стал играть в Александринском театре, и с тех пор встречи его с Антоном Павловичем стали реже, главным образом во время наездов Антона Павловича в Петербург. Во время одного из приездов туда брата он сфотографировался вместе с Давыдовым, Свободиным и Сувориным. Эта большая фотография всегда висела в кабинете

Антона Павловича, висит и до сего времени в его кабинете в ялтинском Доме-музее.

Среди интересных людей, бывавших у нас на Садовой Кудринской, можно назвать брата драматурга А. Н. Островского, Петра Николаевича Островского. Это был умный человек с «хорошим чутьем» литературного критика, как выражался Антон Павлович, и интересный собеседник. Между прочим, Островский по просьбе Антона Павловича писал ему однажды письмо с критикой его повести «Степь». Этот критический разбор Антону Павловичу понравился, и он все уговаривал Петра Николаевича не прятаться от публики и выступать в печати со своими литературно-критическими работами.

П. Н. Островский порой подолгу сидел в кабинете брата за разговорами, которые касались обычно вопросов литературы, а иногда и политики. Однажды они много спорили о социализме, но сути их спора я тогда не поняла. В одном из писем Антона Павловича есть интересная характеристика П. Н. Островского: «Петр Николаевич умный и добрый человек; беседовать с ним приятно, но спорить так же трудно, как со спиритом. Его взгляды на нравственность, на политику и проч. — это какая-то перепутанная проволока; ничего не разберешь. Поглядишь на него справа — материалист, зайдешь слева — франкмасон. Такую путаницу приходится чаще всего наблюдать у людей, много думающих, но мало образованных, не привыкших к точным определениям и к тем приемам, которые учат людей уяснять себе то, о чем думаешь и говоришь».

Антон Павлович иногда шутил, что у него бывает брат великого писателя, он же брат «генеральствующего министра». Дело в том, что другой брат великого драматурга — Михаил Николаевич Островский — был в Петербурге министром государственных имуществ. По рассказам Петра Николаевича, у этого министра происходили такие встречи с братом-драматургом. Приедет Александр Николаевич из Москвы в Петербург на постановку в одном из театров какой-либо пьесы и после спектакля, как в те времена полагалось, уедет с артистами куда-нибудь в ресторан на всю ночь. Утром, возвращаясь домой и вспомнив о брате, велит извозчику ехать в министерство. А дальше происходит



И. И. Левитан.
1887 год.

такая сцена: брат-министр подписывает бумаги, а брат-драматург, сидя в шубе перед его столом, рассказывает ему, как он с актерами кутил всю ночь, как они ездили на острова к цыганам. Тот слушает-слушает и скажет: «Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего!» Александр Николаевич помолчит, потом начнет рассказывать дальше. Тот, все продолжая подписывать, опять скажет: «Не то ты, Саша, говоришь, не то!»

Мы смеялись над этими рассказами, представляя себе, как все это происходило в кабинете министра. Эти фразы стали в нашей семье ходовыми и применялись в соответствующих случаях как поговорки; в частности, в письмах Антона Павловича часто можно встретить эти слова, подчас непонятные для тех, кто не знает их подоплеку. В рассказе «Дуэль» (1891) Антон Павлович тоже использовал одну из этих фраз. Лаевский отвечает там Самойленко:

— Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего...

* * *

Хозяин дома, в котором мы снимали квартиру, Яков Алексеевич Корнеев, был хорошим врачом и работал в то время ординатором в университетской клинике знаменитого московского профессора Г. А. Захарьина в качестве его ассистента. Родился Яков Алексеевич на Дону, происходил из казаков. У него в доме жил его земляк — не то родственник, не то просто квартирант — студент историко-филологического факультета Московского университета Степан Алексеевич Петров. Сам Яков Алексеевич был замкнутым человеком и, несмотря на наши дружеские отношения с ним, у нас почти не показывался. Петров же, которому было примерно столько же лет, сколько и мне, познакомившись с нами, стал нашим постоянным гостем, подружился с Антоном Павловичем, всегда читал его произведения и вообще интересовался литературой. Без него, жизнерадостного, веселого человека и отличного танцора, не обходился ни один из наших «балов», возникавших экспромтом.

Кто бы мог подумать, что этот человек после окончания университета вдруг уйдет в монахи! В начале 90-х годов, когда мы уже не жили в доме Корнеева, мы

узнали, что Степан Алексеевич, постригшись в черное духовенство, принял имя отца Сергия. В дальнейшем он стал архимандритом, а затем епископом, и был архиереем в каких-то отдаленных районах России.

До самой смерти Антона Павловича отец Сергий продолжал поддерживать с ним связь, писал письма и, приезжая в Ялту, бывал в нашем доме. Что побудило его оставить светскую жизнь и постричься в монахи — осталось неизвестным. В некоторых биографических очерках говорилось, что жизнь епископа Сергия якобы дала Антону Павловичу материал для его рассказа «Архиерей». Это неверно. Ничего общего между образом архиерея одноименного рассказа Антона Павловича и епископом Сергием нет.

* * *

На курсах Герье я познакомилась и затем подружилась с моей однокурсницей Ольгой Петровной Кундасовой. Она потом часто бывала у нас на Садовой Кудринской. Это была красивая девушка, большая оригиналка. Очень увлекающаяся, экзальтированная, она обычно по-детски смеялась шуткам Антона Павловича, стуча кулаками по столу. Она принадлежала к «бестюрнюрным», то есть никогда не носила модных в то время платьев с тюрнюрами, а носивших такие платья она остроумно называла «курдючными». Ходила всегда в черном платье с белым воротничком и широким кожаным кушаком. Отзывчивая, правдивая, она нравилась мне, я ее уважала.

Ольга Петровна была очень способной, но как-то не могла поставить себя на настоящее место, и над ней посмеивались. Она занималась астрономией и некоторое время работала ассистенткой у профессора Бредихина, почему Антон Павлович и называл ее «астрономкой». Она хорошо знала английский язык, давала уроки и однажды мне предложила:

— Давайте, Маруся Павловна, я буду учить вас английскому языку!

Таким именем — «Маруся Павловна» — она звала меня всегда.

Из моих занятий с ней английским языком ничего не получилось. Да и, честно говоря, эти занятия ей

нужны были больше для того, чтобы иметь предлог чаще бывать у нас. Она была очень неравнодушна к Антону Павловичу.

Между прочим, она провожала Антона Павловича на пароходе по Волге, когда он поехал на Сахалин.

Кундасова была поклонницей больших талантов и дружила с такими выдающимися людьми, как Шаляпин, художник Коровин и др. Ее всегда можно было встретить на вернисажах, на премьерах пьес в театрах.

Когда Антон Павлович писал свою повесть «Три года», Кундасова послужила ему прототипом Рассудиной.

VI. НА ЛУКЕ

Одно время брат Николай Павлович жил в номерах Медведева на Большой Никитской улице, напротив консерватории. Это была дешевенькая гостиница, или, как называли в те времена, «меблированные комнаты». Там обычно ютились малоимущие студенты университета и консерватории. Жили бедновато, по-студенчески.

Николай Павлович познакомился там с учившимися в консерватории музыкантами: виолончелистом М. Р. Семашко, флейтистом А. И. Иваненко, певцом-басом В. С. Тютюником, пианистом Н. В. Долговым, будущим композитором Б. М. Азанчевским. Как-то, когда мы жили еще на Якиманке, он привел их к нам в гости. Они быстро подружились с нами, стали часто бывать у нас и устраивали нам целые концерты. Двое из них — Семашко и Иваненко — надолго привязались к нашей семье и стали своими людьми в нашем доме.

Мариан Ромуальдович Семашко — по национальности поляк — был хорошим музыкантом, это о нем однажды писал Антон Павлович Чайковскому, прося помочь устроить его на работу. Антон Павлович любил «Семашечку» и шутливо переделал его имя и отчество на «Мармелад Фортепьяныч». Александр Игнатьевич Иваненко, так же как и М. Р. Семашко, был одиноким человеком, он привязался к нашей семье и до самого переезда в Ялту постоянно бывал у нас, где бы мы ни жили. Родился Иваненко на Украине, в небольшом местечке, недалеко от города Сумы Харьковской губернии.

После того как мы три года подряд прожили на даче в Бабкине, Антону Павловичу, да и всем нам захотелось перемены мест и впечатлений. Он начал поговаривать о том, чтобы на лето 1888 года дачу снять где-нибудь на Украине. Услышав это, А. И. Иваненко стал советовать поехать в Сумы к неким Линтваревым. У них под самым городом было старинное имение, расположенное у излучины реки Псел, почему эта местность и называлась — Лука. Списавшись с Линтваревыми, Антон Павлович снял у них на лето флигель и еще в марте перевел им задаток.

Вскоре после этого, во второй половине апреля, младший брат Михаил, тогда уже студент, поехал в родной город Таганрог и в Крым. Антон Павлович поручил ему заехать по пути в Сумы к Линтваревым, посмотреть новую дачу и написать о своих впечатлениях. На Михаила Павловича имение Линтваревых своей деревенской простотой произвело неприятное впечатление, особенно после нарядного Бабкина, и он написал об этом брату.

Тем приятнее нам было увидеть, когда в начале мая мы приехали на Луку, прекрасную усадьбу в ее поэтической простоте. Антон Павлович в первый же день прямо сообщил брату Ивану Павловичу: «Мы приехали. *Дача великолепна.* Мишка наврал. Местность поэтична, флигель просторный и чистенький, мебель удобная и в изобилии. Комнаты светлы и красивы, хозяева, по-видимому, любезны. Пруд громадный, с версту длиной. Судя по его виду, рыбы в нем до черта... Бабкино в сравнении с теперешней дачей гроша медного не стоит. Один ночной шум может с ума свести! Пахнет чудно, сад старый-престарый...»

Мы поселились во флигеле, расположенном в старинном саду; впрочем, в этой усадьбе все было старинное: и деревья, и аллеи, и наш флигель с колоннами, и хозяйский дом, и мебель, и посуда... Наш дом был под самой горой, взобравшись на которую, можно было часами любоваться великолепным видом, открывавшимся на реку Псел, на разбросанные на ней острова, на леса и луга по ту сторону реки, на живописно раскинувшиеся окрестные деревни. Псел протекал сразу же за усадьбой. Мои братья утверждали, что он шире и глубже Москвы-реки. Против хозяйского дома, или, как мы звали его,

«барского», был большой и глубокий пруд, отделенный от реки плотиной. Тут же близко, вдоль реки, тянулась деревня Лука. Все, что мы нашли в этой новой для нас местности, совсем не было похоже на Бабкино, все выглядело удивительно просто, уютно, подкупающе красиво.

Хозяева наши, с которыми мы быстро подружились, были интересные люди, очень либерально настроенные, и находились под подозрением у полиции. Для того чтобы описать их, я воспользуюсь письмом Антона Павловича, так как ничто не может сравниться с краткостью, точностью и вместе с тем художественностью его описания. Вот что он писал А. С. Суворину 30 мая 1888 года:

«Живу я на берегу Псла, во флигеле старой барской усадьбы... Река широка, глубока, изобильна островами, рыбой и раками, берега красивы, зелени много... А главное, просторно до такой степени, что мне кажется, что за свои сто рублей я получил право жить на пространстве, которому не видно конца. Природа и жизнь построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уже о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви, недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о 16 колесах) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждет. Все, что я теперь вижу и слышу, мне кажется, давно уже знакомо мне по старинным повестям и сказкам. Новизной повеяло на меня только от таинственной птицы — «водяной бугай», который сидит где-то далеко в камышах и днем и ночью издает крик, похожий отчасти на удар по пустой бочке, отчасти на рев запертой в сарае коровы...

Каждый день я езжу в лодке на мельницу, а вечерами с маньяками рыболовами из завода Харитоненко отправляюсь на острова ловить рыбу. Разговоры бывают интересные. Под Троицу все маньяки будут ночевать на

островах и всю ночь ловить рыбу; я тоже. Есть типы превосходные.

Хозяева мои оказались очень милыми и гостеприимными людьми. Семья, достойная изучения. Состоит она из 6 членов. Мать-старуха, очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина, читает Шопенгауэра и ездит в церковь на акафист; добросовестно штудирует каждый № «Вестника Европы» и «Северного вестника» и знает таких беллетристов, какие мне и во сне не снились; придает большое значение тому, что в ее флигеле жил когда-то художник Маковский, а теперь живет молодой литератор...

Ее старшая дочь, женщина-врач — гордость всей семьи и, как величают ее мужики, святая — изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу; от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка. Врачуя публику, я привык видеть людей, которые скоро умрут, и я всегда чувствовал себя как-то странно, когда при мне говорили, улыбались или плакали люди, смерть которых была близка, но здесь, когда я вижу на террасе слепую, которая смеется, шутит или слушает, как ей читают мои «Сумерки», мне уж начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем «Сумерки», точно никогда не умрем.

Вторая дочь — тоже женщина-врач, старая дева, тихое, застенчивое, бесконечно доброе, любящее всех и некрасивое создание. Больные для нее сущая пытка, и с ними она мнительна до психоза. На консилиумах мы всегда не соглашаемся: я являюсь благовестником там, где она видит смерть, и удваиваю те дозы, которые она дает. Где же смерть очевидна и необходима, там моя докторша чувствует себя совсем не по-докторски... Она занимается усердно хозяйством и понимает его во всех мелочах. Даже лошадей знает. Когда, например, пристяжная не везет или начинает беспокоиться, она знает, как помочь беде, и наставляет кучера. Очень любит семейную жизнь, в которой отказала ей судьба, и, кажется, мечтает о ней; когда вечерами в большом доме играют и поют, она быстро и нервно шагает взад и впе-

ред по темной аллее, как животное, которое заперли. Я думаю, что она никому никогда не сделала зла, и сдается мне, что она никогда не была и не будет счастлива ни одной минуты.

Третья дщерь, кончившая курс в Бестужевке, молодая девица мужского телосложения, сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая... Хохочет так, что за версту слышно. Страстная хохломанка. Построила у себя в усадьбе на свой счет школу и учит хохлят басням Крылова в малороссийском переводе... занимается хозяйством, любит петь и хохотать и не откажется от самой шаблонной любви, хотя и читала «Капитал» Маркса, но замуж едва ли выйдет, так как некрасива.

Старший сын, тихий, скромный, умный, бесталанный и трудящийся молодой человек, без претензий и, по-видимому, довольный тем, что дала ему жизнь. Исключен из 4 курса университета, чем не хвастает. Говорит мало. Любит хозяйство и землю, с хохлами живет в согласии.

Второй сын — молодой человек, помешанный на том, что Чайковский гений. Пианист. Мечтает о жизни по Толстому.

Вот Вам краткое описание публики, около которой я теперь живу...»

С младшей из Линтваревых, Натальей Михайловной, мы потом стали большими друзьями. Вместе мы однажды ездили в Крым. Не раз Наталья Михайловна приезжала к нам в гости в Москву, в Мелихово, а затем в Ялту. Неравнодушна, и даже очень, она была к Антону Павловичу. Она искренно любила Украину и украинский народ и в созданной у себя школе занятия с крестьянскими детьми вела на украинском языке, что в те времена преследовалось. Антон Павлович часто заходил к ней в школу и с интересом слушал, как дети по-украински читали басни Крылова.

Георгий Михайлович Линтварев, или Жорж, как его звали в семье, был талантливым музыкантом, его игра на рояле доставляла всем нам большое удовольствие. Вскоре к нам приехали отдыхать М. Р. Семашко и А. И. Иваненко, и вечерами в большом доме стали происходить настоящие концерты.

Антон Павлович чувствовал себя на Луке прекрасно, был весел, жизнерадостен и по-прежнему изобретателен на всякие шутки. Всю свою жизнь он был страстным рыболовом, и здесь, на Луке, главным в его отдыхе была рыбная ловля. Мы приехали на Луку ночью, часа в два, но уже ранним утром брат сидел с удочкой на берегу линтваревского пруда, чем смутил и удивил Наталью Михайловну, которая шла купаться. Часто все вместе мы катались по реке на простых челноках, выдолбленных из цельного дерева. Ездили мы обычно в сторону мельницы, где все было полно поэзии, напоминало пушкинскую «Русалку», где была и красивая дочка мельника, которую Антон Павлович называл «Муха́». В общем, жизнь наша на Луке шла столь же интересно и приятно, как и в Бабкине, хотя и по-другому.

Здесь у нас в гостях побывало много народу. Антон Павлович к тому времени стал уже популярен, и у него завязались знакомства со многими интересными людьми — литераторами и артистами. В декабре 1887 года во время пребывания в Петербурге Антон Павлович познакомился с известным в те времена поэтом Алексеем Николаевичем Плещеевым. Когда мы еще только собирались на Луку, Антон Павлович уже пригласил Плещеева приехать туда к нам погостить. Плещеев обещал и во второй половине мая действительно приехал. Это было большим событием для нас. Вместе с Линтваревыми мы ночью ходили встречать его на вокзал.

В молодости А. Н. Плещеев принимал активное участие в революционном кружке петрашевцев. В 1849 году, двадцати четырех лет, он был арестован и затем сослан рядовым в Оренбургский линейный батальон. Лишь в 1858 году он получил амнистию и разрешение жить в столице. Ко времени нашего знакомства с Плещеевым ему было уж шестьдесят три года. Он жил тогда в Петербурге, работая в редакции журнала «Северный вестник», где заведовал литературным отделом.

Стихотворение Плещеева «Вперед, без страха и сомненья, на подвиг доблестный, друзья», написанное им еще в 40-х годах, было широко известно и популярно и позднее. Либерально настроенные Линтваревы восторженно встретили Плещеева, ухаживали за ним и оказывали ему всяческое внимание. Антон Павлович так писал о нем в одном из писем тех дней: «Здесь он изоб-

ражает из себя то же, что и в Петербурге, то есть икону, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами. Я же лично, помимо того, что он очень хороший, теплый и искренний человек, вижу в нем сосуд, полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест».

Днем Антон Павлович и Плещеев много гуляли, ходили в лес, по деревне, катались на лодке, а как наступал вечер, Линтваревы звали всех к себе. Старика усаживали в центре на старинном диване, а остальные окружали его. Георгий Михайлович обычно играл на рояле, Плещеев делился интересными воспоминаниями из своей жизни. Часто мы упрашивали его почитать свои стихотворения и, конечно, — знаменитое «Вперед, без страха и сомненья». Алексей Николаевич читал его великолепно, по-молодому, с блеском в глазах, зажигая всех слушателей.

Он прожил на Луке около трех недель. Ему очень понравилось у нас, и он говорил, что чувствовал себя, как в родной семье. Когда Алексей Николаевич уезжал, мы вместе с Линтваревыми ездили его провожать поездом до станции Ворожба.

Живя у нас, Плещеев каждое утро по привычке усаживался за работу и писал стихи. Между прочим, он написал у нас стихотворение, посвященное Антону Павловичу:

Цветущий мирный уголок,
Где отдыхал я от тревог
И суеты столицы душной,
Я буду долго вспоминать,
Когда вернусь в нее опять,
Судьбы велениям послушный.
Отрадно будет мне мечтой
Перенестись сюда порой, —
Перенестись к семье радушной,
Где теплый дружеский привет
Нежданно встретил я, где нет
Ни светской чопорности скучной,
Ни карт, ни пошлой болтовни,
С пустою жизнью неразлучной;
Но где в трудах проходят дни,
И чистый, бескорыстный труд,
На благо края своего,
Ценить умеет темный люд,
Платя любовью за него...
Не раз мечта перенесет
Меня в уютный домик тот,

Где вечером, под звук рояли,
В душе усталой оживали
Волненья давних, прошлых дней
Весны умчавшейся моей, —
Ее восторги и печали!..
Спасибо, добрые друзья,
За теплый, ласковый привет,
Которым был я здесь согрет!
Спасибо вам! И если снова
Не встречусь с вами в жизни я,
То помяните добрым словом
В беседе дружеской меня.

Усадьба Лука, 6-го июня 1888 г.

Плещеев был одним из тех старейших литераторов, которые сразу заметили выдающийся талант молодого Антона Павловича. Когда брат, впервые выступая в толстом журнале, послал рукопись своей «Степи» в редакцию «Северного вестника», Плещеев, прочитав ее, прислал ему письмо с высокой оценкой повести: «...Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать... Это такая прелесть, такая бездна поэзии. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность».

После Луки Антон Павлович продолжал поддерживать дружеские отношения с Плещеевым и дальше. Уже незадолго до конца жизни Алексея Николаевича с ним приключился, можно сказать, трагикомический случай. Он всю свою жизнь был бедным человеком, жил на свой небольшой литературный заработок. Но вот в начале 90-х годов он неожиданно получил миллионное наследство от какого-то умершего родственника. Он уехал в Париж, стал вести там богатую жизнь. Антон Павлович как-то даже пошутил:

— Хоть бы подарил нам на радостях дюжину стульев!

Но благосостояние Плещеева продолжалось недолго. Нашелся какой-то другой, близкий родственник, претендент на наследство. Алексей Николаевич превратился в прежнего малоимущего литератора-поэта.

* * *

Однажды мы встретили у Линтваревых их родственников Смагиных, приехавших к ним из Полтавской губернии. Семья их состояла из двух братьев — Александра

и Сергея Ивановичей — и сестры Елены Ивановны. Они приходились родственниками известному декабристу Муравьеву-Апостолу. Недалеко от Сорочинец Миргородского уезда у них было имение Бакумовка, где они всегда и жили.

Братья Смагины оказались очень веселыми и приветливыми, и мы быстро подружились (с сестрой их мы познакомились позднее). Уезжая от Линтваревых, Смагины очень приглашали нас приехать к ним в гости. Антон Павлович обещал обязательно приехать. Ему нравилась Украина, ее трудолюбивый, жизнерадостный народ, ее чудесная природа. Ему хотелось полнее познакомиться с народным бытом, с обычаями, условиями жизни крестьян. А Смагины жили как раз в самой глубине Украины, в тех знаменитых местах, которые нам были известны по бессмертным произведениям Гоголя.

Мы наняли четверку лошадей, Линтваревы дали свою огромнейшую дедовскую коляску, которая, по шутливым словам Антона Павловича, «перешла в наследство Линтваревым от тетушки Ивана Федорыча Шпоньки». В середине июня в этой коляске мы вчетвером — Антон Павлович, Наталья Михайловна Линтварева, ее двоюродная сестра Вата Иванова и я — выехали к Смагиным.

Мы проехали по Украине около четырехсот верст. Трудно сказать, что больше доставило нам удовольствия: веселье ли поездки, или же поэзия ее, а всего вернее — и то и другое.

Стояла прекрасная летняя погода, на полях начинался сенокос, чудесные виды, пейзажи сменялись один лучше другого. Мы проезжали через огромные и непривычные для нас украинские деревни и села, тянувшиеся чуть ли не по десяти верст.

«Какие свадьбы попадались нам по пути, какая чудная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном! То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат...» — писал брат в письме к А. Н. Плещееву. А дальше он так описал наш приезд на хутор к Смагиным:

«К Смагиным приехали мы ночью. Встреча сопровождалась членовредительством. Узнав наши голоса, Сергей Смагин выскочил из дома, полетел к воротам и, наткнувшись в потемках на скамью, растянулся во весь свой рост. Александр тоже выскочил из дому и в потемках изо всей силы трахнулся лбом о старый каштан, после чего 3—4 дня ходил с красной шишкой; Вата набила себе щеку. После самой сердечной, радостной встречи поднялся общий беспричинный хохот, и этот хохот повторялся потом аккуратно каждый вечер.

...Именье Смагиных велико и обильно, но старо, запущено и мертво, как прошлогодняя паутина. Дом осел, двери не затворяются, изразцы на печке выпирают друг друга и образуют углы, из щелей полов выглядывают молодые побеги вишен и слив. В той комнате, где я спал, между окном и ставней соловей свил себе гнездо, и при мне вывелись из яиц маленькие, голенькие соловейчики... На риге живут солидные аисты. На пасеке обитает дед, помнящий царя Гороха и Клеопатру Египетскую. Все ветхо и гнило, но зато поэтично, грустно и красиво в высшей степени».

Я не помню «побегов слив и вишен», выглядывавших из щелей полов в доме Смагиных, это была обычная шутка брата, но этими строками он верно передал ту поэтичную и красивую старину, которая чувствовалась во всем смагинском имении. И как-то невольно вспоминалось далекое прошлое, декабристы, с деятельностью которых, как говорили, было связано и это имение.

Мы пробыли у Смагиных пять дней и подружились за это время еще больше. Оба брата стали бывать у нас в Москве, а позднее и в Мелихове. Довольно часто встречаясь в то время с Александром Ивановичем, я подружилась с ним, и между нами установились теплые отношения, продолжавшиеся несколько лет. И позднее для меня не было большой неожиданностью, когда А. И. Смагин сделал мне предложение. Александр Иванович был красивым мужчиной и интересным человеком, нравился мне, и хотя сейчас трудно сказать, любила ли я его тогда, но я задумалась о своем замужестве. Долго я ничего не отвечала ему и не говорила о его предложении в семье. Но как-то решилась поговорить прежде всего с Антоном Павловичем. Пришла к нему в кабинет и говорю:

— Знаешь, Антоша, я решила выйти замуж...

Брат, конечно, понял, за кого, но ничего мне не ответил. Потом я почувствовала, что брату эта новость неприятна, хотя он продолжал молчать. Да и что, в сущности, он мог сказать? Я понимала, что он не сможет сознаться, что ему будет тяжело, если я уйду в другой дом, в свою новую семью... Он никогда не произнес бы слова «нет»...

Растерянной, беспомощной я вышла из кабинета брата и долго плакала в своей комнате, не зная, на что решиться.

Прошло несколько дней. Антон Павлович по-прежнему ни слова не говорил мне по поводу моего признания, но как-то меньше шутил, был сдержан при обращении ко мне. Много я думала. Любовь к брату, моя привязанность к нему решили все дело. Я не смогла пойти на то, чтобы причинить брату неприятность, расстроить привычный образ его жизни, лишить его той творческой обстановки, которую я всегда старалась создавать ему. Я сообщила Смагину о своем отказе, чем причинила и ему страдание. Он послал мне резкое письмо с упреками...

Антон Павлович, видимо, не догадывался, какие сложные чувства наполняли меня тогда. Когда лет через двадцать я издавала эпистолярное наследие брата, я познакомилась с его письмами к Суворину. Из них я узнала, что Антон Павлович писал ему в то время: «Сестра замуж не вышла, но роман, кажется, продолжается в письмах. Ничего не понимаю. Существуют догадки, что она отказала и на сей раз. Это единственная девица, которой искренно не хочется замуж...» Прочитав это, я была рада, что брат не догадался тогда о правде.

Спустя уже более сорока лет после этого, когда мы оба уже были старыми, я получила от А. И. Смагина письмо, в котором он тепло вспоминал о чувствах, пережитых в наши молодые годы. Но он так и не узнал о причине моего отказа...

* * *

Ранней весной 1889 года тяжело заболел наш старший брат Николай Павлович. Сначала у него был брюшной тиф, потом он осложнился воспалением легких,

которое перешло в туберкулезный процесс. Жил Николай Павлович тогда недалеко от Красных ворот, на Каланчевской улице. Узнав о болезни брата и обследовав его вместе с знакомым врачом Н. Н. Оболонским, Антон Павлович понял, насколько серьезно положение Николая Павловича, и перевез его к нам домой на Садовую Кудринскую.

Я помню, как однажды вечером Антон Павлович предложил мне как-то необычно для меня пройтись по Новинскому бульвару. Во время прогулки он рассказал мне:

— Ты знаешь, положение Николая серьезное. Нужно бы немедленно везти его в Крым, но нет денег. Придется увезти его в Сумы к Линтваревым, и чем скорее, тем лучше.

Я уже упоминала выше, что в нашей семье очень любили Николая Павловича, и поэтому услышать такую новость мне было нелегко. Я видела, что и Антону Павловичу тяжело. Он как врач, возможно, сознавал уже безнадежное положение брата. Именно в эти дни он писал в письмах к Е. М. Линтваревой: «Иметь больного брата — горе; быть врачом около больного брата — два горя».

Было решено, что Антон Павлович вместе с матерью и нашей кухаркой повезут Николая Павловича на Луку пораньше, а я приеду по окончании учебного года, когда освобожусь от своих обязанностей в гимназии.

Во второй половине апреля они выехали в Сумы. Вскоре я получила от Антона Павловича открытку, написанную им в юмористическом стиле, якобы под диктовку матери. Это письмо мною никогда не публиковалось, так как я считала его не совсем «приличным», поскольку Антон Павлович задевал в нем нашу мать, хотя бы и в шутку. Привожу его здесь впервые:

«Москва, Кудринская Садовая, д. Корнеева

Марии Павловне Чеховой

(Почтовый штемпель: Москва 30 апреля 1889 г.)

Повесь мое шелковое платье в гардероб (чтобы мыши не съели) и привези кухонные полотенца, которые забыла Красовская. Горничная найдена. Привези Николаеву плетеную сумочку с карандашами *(в материн*.

комн.)[1] и фотографию «Шуты при Анне Ивановне» у Антона на окне в спальне. Мою занавеску с окна. Непременно фабричные чулки и $^1/_2$ ф. бумаги и иголок № 6 и 7.

Отыщи какой-либо подрамничек в сарае или у тети и привези. Для образца. Н. Ч.[1].

Любящая тебя Мать твоя Евгения Чехова, а за ее безграмотностью сын ее Литератор.

Взять у тети подрамничек для образца, чтобы заказать плотникам».

Наша мать действительно не очень любила сама писать письма, и эта открытка была написана братом по ее просьбе. Красовская — это наша кухарка Марьюшка. Антон Павлович называл ее так в шутку потому, что она была очень похожа на пожилую артистку московского театра Корша Красовскую.

Карандаши и подрамничек, упомянутые в письме, нужны были для Николая Павловича, предполагавшего заниматься на Луке живописью.

Когда я приехала на Луку, я застала брата Николая в том же положении, только еще больше похудевшим. Тяжелый кашель так донимал его, что он потом вынужден был спать в сидячем положении. Антон Павлович лечил его, ухаживал, старался выполнять все его болезненные капризы, но вылечить брата было уже нельзя. Как говорил сам Антон Павлович в одном из писем, вопрос стоял так: «...как долго будет продолжаться процесс? Но не так: когда выздоровеет». Конечно, настроение всей нашей семьи было очень невеселое.

Правда, приезжавшие гости несколько отвлекали от мрачных мыслей.

* * *

Насколько тепло принимали Линтваревы Плещеева, настолько демонстративно враждебно отнеслись они к А. С. Суворину, когда он приехал к нам. Желая подчеркнуть свою неприязнь к издаваемой им газете «Новое время» и к той реакционной политике, которую она проводила, Линтваревы не только не приглашали нас к себе в эти дни, но и сами не показывались в усадьбе.

---

[1] Приписка сделана рукою Николая Павловича.

У них были наглухо закрыты окна и двери, похоже было, что они даже уехали из усадьбы.

Суворин пробыл у нас несколько дней, причем останавливался он в Сумах в гостинице. Антон Павлович был рад его приезду. Они вместе ездили на лодке к мельнице рыбачить и вели там нескончаемые разговоры о литературе и искусстве. Несмотря на то что они были разными людьми и по возрасту — Суворин был старше Антона Павловича на двадцать шесть лет — и по убеждениям, их влекло друг к другу.

Дружба Антона Павловича с Сувориным в свое время многих удивляла, продолжает удивлять и теперь. Я нередко сейчас получаю письма, в которых мои корреспонденты просят объяснить, почему такой передовой человек, как Антон Павлович, поддерживал дружбу с реакционером Сувориным, и спрашивают, неужели Чехов не видел черносотенства Суворина.

Все это не так просто. Взаимоотношения А. П. Чехова и А. С. Суворина сложны и с течением времени претерпели серьезные изменения.

Прежде чем разбогатеть на своей газете, Суворин жил бедно. Его предки, так же как и наши, были простыми крестьянами. Так же, как и Антона Павловича, природа одарила Суворина большим умом и талантом. Он начал свою деятельность учителем уездного училища с жалованьем в 14 руб. 67 коп. в месяц. Тогда же стал заниматься журналистикой и беллетристикой. Затем переехал в Москву, где по-прежнему нуждался.

В Москве Суворин начал печататься в «Отечественных записках» и в «Современнике». Познакомился с А. Н. Плещеевым, который много ему помогал. Когда, например, Суворину нужно было съездить в Петербург за гонораром, Плещеев устроил ему бесплатный проезд туда и обратно в почтовом вагоне. В другой раз, когда Суворин поехал в Петербург в поисках работы, как он сам пишет в дневнике, «А. Н. Плещеев дал мне на дорогу свое пальто, которое я потом возвратил. У меня не было теплого пальто, теплого настолько, чтобы ехать зимой в 3-м классе в нетопленном вагоне».

Журналистская работа Суворина того времени носила либеральный характер. Талантливо написанные фельетоны, подписанные псевдонимом «Незнакомец», пользовались популярностью у широкого круга читате-

лей. За некоторые статьи он привлекался к ответственности. «Как ни слабы были мои статейки в «Русской речи», — писал Суворин в «Дневнике», — но они обращали на себя внимание. Сужу по тому, что Салтыков вместе с Чижевским и Плещеевым хотели издавать журнал и на совещание меня пригласили...»

В 1876 году Суворин купил у Трубникова газету «Новое время» и с этого времени начал богатеть, причем главным образом на объявлениях предлагавшей свой труд домашней прислуги, почему и говорили, что Суворин нажил состояние на «кухаркиных деньгах». Постепенно в проводимой через свою газету политике Суворин стал приспосабливаться к правящим правительственным кругам и оказался рьяным помощником реакции, забыв свои прежние принципы. Те, кому нужно было иметь в своих руках влиятельную газету, стали создавать ему положение, богатство, усиливать его влияние. Суворин получил, например, концессию от правительства на организацию газетно-книжной торговли в киосках на железных дорогах, что тоже дало ему огромные прибыли.

Попав в плен созданной ему высшими правительственными чиновниками «славы», богатства и влияния, Суворин погиб как либеральный журналист, стал изменником тому делу, которому когда-то пытался посвятить себя. Как умный человек, он отлично понимал это. Сознавая свое отвратительное падение, ту грязь, в которой он оказался, он стал лгать и перед самим собою, и перед людьми. Когда читаешь строки, написанные Сувориным в дневнике не для публикации, там видишь другого Суворина, издевающегося над царем, министрами, сановниками, записывающего ядовитые обличительные факты из жизни реакционного лагеря. В газете же, прозванной «Чего изволите?», он продолжал свое позорное приспособленчество к политике правящей верхушки, продолжал быть верным помощником черных реакционных сил.

Антон Павлович познакомился с Сувориным в конце 1885 года, когда ездил в Петербург. С 1886 года он стал помещать в «Новом времени» свои рассказы. Суворин стал также издавать и произведения брата. Ум и самобытный талант Суворина произвели большое впечатление на брата. Суждения Суворина по вопросам литературы и искусства очень интересовали Антона Павловича

(Суворин, кстати, увлекался сценой и впоследствии организовал в Петербурге собственный театр). Антон Павлович не раз говорил в кругу нашей семьи, что Суворин для него исключительно интересный собеседник. Когда брат летом 1888 года ездил из Луки к Суворину в Феодосию, он писал оттуда в одном из писем: «Целый день проводим в разговорах... Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов... Быть с Сувориным и молчать — так же не легко, как сидеть у Палкина[1] и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, то есть работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением...»

Вот так Антон Павлович относился к Суворину того времени и, видимо, не вдумывался в тот вред, который Суворин приносил обществу своей газетой. И даже тогда, когда Антону Павловичу указывали на то, что напрасно он печатает свои произведения в такой реакционной газете, как «Новое время», он возражал, говоря, что читателям полезнее будет прочитать «пятьсот моих безвредных строк, чем те пятьсот вредных, которые будут идти в фельетоне, если я своих не дам».

Но постепенно он стал понимать ошибочность этого положения и в конце концов сознал, что его собственные убеждения несовместимы с теми, которые выражала газета. В начале 1893 года Антон Павлович писал брату Александру, что он по убеждениям своим отстоит «на 7375 верст от Жителя[2] и К°». В 1893 году он порвал

---

[1] Известный в то время петербургский ресторан.

[2] Псевдоним сотрудника редакции «Нового времени» А. А. Дьякова, ярого реакционера.

с газетой и перестал печатать в ней свои произведения. Но с самим Сувориным продолжал еще оставаться в дружеских отношениях, отделяя его от газеты. Это была вторая ошибка Антона Павловича: верить в то, что Суворин — газетный редактор-издатель и Суворин — человек могут быть разными людьми. Но и это продолжалось недолго. Вскоре Антон Павлович стал правильно оценивать Суворина, и отношения его к нему делались все холоднее и холоднее. Последней каплей в этом смысле был происходивший во Франции известный процесс невинно осужденного Дрейфуса, когда Суворин и «Новое время» вели себя, по выражению Антона Павловича, настолько «гнусно», что он порвал личные отношения и с самим Сувориным. Он осознал ту лживость и двуличность Суворина, которые для него в свое время затушевывались увлекательными разговорами и перепиской с ним. Когда в 1901 году наш младший брат Михаил вдруг решил поступить на службу в «Новое время», Антон Павлович отговаривал его и писал в письме: «Новое время» в настоящее время пользуется очень дурной репутацией... Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые откровенные минуты, то есть он говорит искренно может быть, но нельзя поручиться, что через полчаса же он не поступит как раз наоборот».

Вот такую эволюцию претерпели отношения Антона Павловича к Суворину примерно за десять лет. Правда, переписка между ними и редкие встречи продолжались еще до 1903 года, но все это было уже не то, что прежде, не носило дружеского оттенка.

В эпистолярном наследии Антона Павловича письма к Суворину являются наиболее интересными и содержательными. Они наполнены мыслями Антона Павловича, из которых уясняются его мировоззрение, этические принципы, отношение к литературе и искусству, оценка многих русских и иностранных писателей и т. д. Когда вскоре после смерти брата я издавала первое шеститомное собрание его писем, Суворин по моей просьбе передал мне все письма Антона Павловича, написанные ему за время их знакомства. В последнем издании эпистолярного наследия Антона Павловича опубликовано триста тридцать три письма его к Суворину.

Передав мне письма брата, Суворин попросил вернуть ему все его письма, адресованные Антону Павловичу. Видимо, он боялся, что они тоже когда-либо могут стать достоянием гласности, что при его положении было ему нежелательно. Я была вынуждена выполнить просьбу и отдала ему его письма. Они так и остались неизвестными.

Суворин пережил Антона Павловича на восемь лет, умер в 1912 году.

* * *

После А. С. Суворина гостил у нас артист Петербургского Александринского театра Павел Матвеевич Свободин.

Антон Павлович познакомился с ним в Петербурге в январе 1889 года, когда приезжал на премьеру своей пьесы «Иванов» в Александринском театре. Свободин исполнял там роль Шабельского. Вскоре же между ними установилась переписка. В конце февраля, будучи в Москве, Свободин заходил к нам на Садовую Кудринскую. Тогда я с ним и познакомилась. Свободин был талантливым актером, интересным человеком — веселым, остроумным — немножко занимался и литературным творчеством, писал стихи и очерки. Антон Павлович и Свободин быстро подружились. Еще ранней весной брат настойчиво приглашал Павла Матвеевича приехать летом погостить на нашу дачу на Луке.

Свободин приехал к нам в самом конце мая и сразу же стал своим человеком, внеся живую струю в нашу жизнь. С ним снова начались знакомые нам с детства всякие шутки, веселые импровизации. Иду я, например, однажды на реку и вижу, как на берегу у самой воды стоят Антон Павлович и Свободин и занимаются ловлей раков. Причем Свободин одет в безукоризненную черную фрачную пару, крахмальное белье, на голове цилиндр. А раков мы ловили так: к бечевке, прикрепленной на длинном удилище, привязывался кусок мяса и опускался на дно реки. Мясо привлекало раков, и они вцеплялись в него клешнями. Через некоторое время удилище подымалось, и раки показывались у поверхности воды. Второй участник в это время должен был подхватить раков сачком, так как, поднятые над водой, они отцеплялись от мяса и падали в реку.

Или поехали как-то большой компанией в ближайший городок Ахтырку (я не ездила, оставалась дома) и остановились там в гостинице. Павел Матвеевич назвался графом, а Антон Павлович его лакеем. Оба так бесподобно играли, что и хозяин гостиницы и прислуга были в самом блаженном состоянии от того, что такое «сиятельное» лицо посетило их заведение. А когда прислуга почтительно расспрашивала «лакея» о его «барине», Антон Павлович с невозмутимым видом рассказывал всякие небылицы о «графской» жизни...

Кто-то из членов нашей семьи переделал в шутку имя Свободина — Павел Матвеевич — на французский лад: «Поль Матьяс». Так он и стал называться в нашем доме, так часто и сам подписывался под своими письмами.

Однажды хозяйке линтваревского дома, старушке Александре Васильевне, понадобилось поручить кому-нибудь из членов своей семьи выполнить какую-то работу, и она громко спрашивала:

— Кто свободен?.. Кто свободен?..

Неожиданно за окном комнаты появился Павел Матвеевич со словами:

— Павел Свободин!

На такую игру слов Свободин был большой мастер, и когда он вместе с Антоном Павловичем принимался остроумно шутить, смеху не было конца.

* * *

В первой половине июня к нам приехал старший брат Александр Павлович. Воспользовавшись тем, что Александр может заменить его у постели больного, Антон Павлович захотел немного отдохнуть и отвлечься. Он предложил Свободину и Линтваревым поехать в Полтавскую губернию к Смагиным. Положение брата Николая было прежним, и не было никаких угрожающих признаков, которые могли бы говорить о близком трагическом конце. И тем не менее конец наступил совершенно неожиданно для всех.

На следующий день после отъезда брата Николай Павлович вдруг как-то особенно ослаб и тихо, незаметно для нас скончался. Антону Павловичу немедленно была послана телеграмма в адрес Смагиных. Об этой поездке

и о возвращении Антон Павлович рассказал позднее в письме к А. Н. Плещееву:

«Бедняга художник умер. На Луке он таял, как воск, и для меня не было ни одной минуты, когда бы я мог отделаться от сознания близости катастрофы. Нельзя было сказать, *когда* умрет Николай, но что он умрет *скоро*, для меня было ясно. Развязка произошла при следующих обстоятельствах. Гостил у меня Свободин. Воспользовавшись приездом старшего брата, который мог сменить меня, я захотел отдохнуть, дней пять подышать другим воздухом; уговорил Свободина и Линтваревых и поехал с ними в Полтавскую губернию к Смагиным. В наказание за то, что я уехал, всю дорогу дул такой холодный ветер и небо было такое хмурое, что хоть тундрам в пору. На половине дороги полил дождь. Приехали к Смагиным ночью, мокрые, холодные, легли спать в холодные постели, уснули под шум холодного дождя. Утром была все та же возмутительная, вологодская погода; во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях; говорю — не забыть, потому что утром приехал из Миргорода мужичонка и привез мокрую телеграмму: «Коля скончался». Можете представить мое настроение. Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге и ждать на станциях по 8 часов... В Ромнах ждал я с 7 часов вечера до 2 часов ночи. От скуки пошел шататься по городу. Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму.

Дома я застал горе. Наша семья еще не знала смерти, и гроб пришлось видеть у себя впервые».

Похоронили мы Николая Павловича на деревенском кладбище в Луке. Его могила сохранилась и до сего времени благодаря заботам, которые проявляют советские люди ко всему, что относится к памяти о великом русском писателе А. П. Чехове и его близких.

Настроение Антона Павловича после смерти Николая было подавленное. Когда недели через две после похорон он выразил желание поехать куда-нибудь отдохнуть, мы всячески приветствовали это и в первых числах июля проводили его. Вначале брат предполагал поехать

за границу, но потом, в Одессе, передумал и уехал в Ялту, где и прожил около месяца.

В августе он вернулся на Луку отдохнувшим и оправившимся от тяжелых переживаний. В начале сентября мы поехали домой.

Никогда не забуду, как изводил меня Антон Павлович в поезде, когда мы возвращались в Москву. Дело в том, что с нами в одном вагоне ехал профессор Стороженко, который читал лекции и экзаменовал меня, когда я была слушательницей на Высших курсах В. И. Герье. Я сказала об этом брату и попросила его поменьше дурить. Но он нарочно стал придумывать всякие шуточные импровизации, чем приводил меня в ужас. Вдруг он ни с того ни с сего стал громко рассказывать, что служил поваром у какой-то графини, как готовил на кухне различные блюда, как его хвалили «господа» и какие они были к нему добрые. Ехавший с нами виолончелист М. Р. Семашко подыгрывал брату и изображал камердинера, якобы тоже служившего у каких-то «господ». Они рассказывали друг другу какие-то необыкновенные случаи из своей «деятельности».

Я сидела сама не своя и старалась делать вид, что не знакома с ними и еду одна с матерью. Но Антон Павлович не оставлял меня в покое. Он достал из чемодана бутылку с водкой и стал с Семашко выпивать. Причем, перед тем как выпить, он с каждой рюмкой поворачивался к матери, кланялся и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место.

Я совершенно убеждена в том, что если бы Антон Павлович посвятил себя сценическому искусству, из него получился бы неплохой актер.

Кстати, еще о Семашко. В эту пору он был очень привязан к нам. Куда бы мы ни ездили на дачу, он ехал за нами. На Луке Линтваревы шутливо говорили: «А собака за дедом все следом да следом». Приезжал он всегда со своей виолончелью, и помимо того, что вечерами вместе с Г. М. Линтваревым услаждал нас прекрасной музыкой, он ежедневно по утрам занимался полагающимися каждому серьезному музыканту-инструменталисту упражнениями. В таких случаях Антон Павлович шутил, что «Семашечка пилит на своей поломанной жене». А Александр Павлович, после того как

пожил у нас на Луке, посвятил Семашке даже стихотворный экспромт:

Среди болотистой природы,
Где из пруда торчит бурьян,
Где страшной гнилью пахнут воды,
Стоит Семашко Мариан.
Он заложил за спину руку,
За ним шумит сосна и ель,
И понял он тоску и скуку,
Что нагоняет вьолончель... —

и в письме к Антону Павловичу сообщил, что это Семашке «в отместку за то, что он на Луке выматывал из меня душу своими экзерцициями, от которых даже раки «крылись в глубинах» и не шли на мясо».

Но все это были шутки, а милый «Мармелад Фортепьяныч» долгие годы продолжал оставаться лучшим и преданным другом нашей семьи.

На Луке у Линтваревых мы прожили и лето следующего года, но уже одни, без Антона Павловича. Он уезжал тогда на Сахалин.

VII. ПОЕЗДКА НА САХАЛИН

Разговор о своей поездке на Сахалин Антон Павлович начал еще ранней зимой, и мы до весны как-то постепенно привыкали к мысли об отъезде брата в такое далекое путешествие.

Он стал готовиться к поездке исподволь. Читал о Сахалине книги, подбирал материалы и старался еще в Москве узнать о Сахалине все, что ему могло пригодиться впереди. Он изучал климат и природу Сибири и Сахалина, труды прежних путешественников, статистические материалы и пр. Так как отыскивать старые литературные материалы о Сахалине было не так-то легко, он поручил это дело мне. Свободное от занятий в гимназии время я проводила в публичной библиотеке Румянцевского музея (ныне Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина), роясь в каталогах, книгах, делая из них различные выписки, нужные брату. Некоторые книги я приносила и домой, он сам их штудировал. Словом, брат очень тщательно готовился к сахалинской поездке с научной стороны. Как оказалось

потом, вступительную главу для своего будущего труда «Остров Сахалин» он начал писать еще в Москве.

Кроме книг о Сибири и Сахалине, брат изучал также законодательные материалы по уголовному праву. Младший брат Михаил Павлович как раз в это время закончил университет по юридическому факультету и готовился к экзаменам. Антон Павлович прочитал все его лекции по уголовному праву, судопроизводству и тюрьмоведению.

С какой целью отправился брат в эту тяжелую поездку за тридевять земель?

Нужно сказать, что у Антона Павловича вообще была страсть к постоянным передвижениям, к путешествиям по новым местам. Всегда ему хотелось поехать куда-нибудь далеко, видеть и наблюдать что-то новое, еще не известное ему. Эти стремления к новым впечатлениям были, очевидно, инстинктивной потребностью литератора, потребностью его творческого самочувствия.

Сибирь и Сахалин для вдумчивого, серьезного писателя представляли поистине кладезь новых, необычных впечатлений. Русская общественность знала тогда о Сибири, Дальнем Востоке и о Сахалине очень мало. Думали примерно так: Сибирь огромна, пустынна, много плодородной земли, зимой страшные морозы; Сибирь — место ссылки революционеров и политически неблагонадежных для царского правительства людей. Тогда еще свежи были в памяти дела декабристов и те мучения, которым подверг их Николай I в сибирской ссылке.

А Сахалин... Это было в те времена страшное слово, которого без стыда и содрогания не мог произнести ни один истинно гуманный русский человек.

Сахалинская каторга была прямым порождением самодержавия. Туда на пароходах и баржах доставлялись осужденные на каторгу преступники как уголовные — убийцы, грабители — жертвы социального строя того времени, так и политические — борцы против царизма за свободу народа. В нечеловеческих условиях они содержались там в тюрьмах, работали на рудниках, в шахтах. После отбытия наказания люди оставлялись на Сахалине на поселение, и многие на всю жизнь. Что

делалось на Сахалине, какие там были порядки, в России, по существу, мало знали, но знали, что произвол там стоял ужасный.

Увидеть все самому, изучить жизнь и быт ссыльно-каторжного населения Сахалина, написать об этом книгу — было в конечном итоге желанием Антона Павловича, причем он говорил, что книга должна будет носить не только беллетристический, но и научный характер.

Брату мало было тех книг и выписок, которые я доставала ему в библиотеке Румянцевского музея. Будучи зимой в Петербурге, он и там рылся в книгах и выписывал нужные ему статьи. Он, например, пересмотрел там ежемесячный журнал «Морской сборник», начиная с 1852 года, то есть комплект более чем за тридцать лет!

«Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах *миллионы* людей, — писал в эти дни в одном из писем Антон Павлович, — сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей на холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей... Виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».

Последние слова относились к адресату письма. А. С. Суворину, писавшему перед тем Антону Павловичу по поводу его сборов на Сахалин, что «Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен». На эту фразу Антон Павлович ответил в своем письме еще и так: «Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов».

Когда намерение Антона Павловича поехать на Сахалин стало известным уже всем, многие выражали недоумение — зачем это писателю Чехову потребовалось ехать к «каторжникам»? Иные прямо называли это сумасбродством. П. М. Свободин писал, например, в это время брату из Петербурга: «Что за дикая фантазия, — говорил мне о Вас недавно один из литераторов, — непременно ехать изучать каторжников? Точно нет ничего на белом свете достойного изучения, кроме Сахалина?» От своего же имени Свободин напутствовал Антона Павловича: «С богом, с богом, Antoine! Добрый путь!

Берите все, что может взять Ваш цветущий запас таланта и молодости».

Мало кто понимал, какое серьезное значение придавал этой своей поездке сам Антон Павлович.

* * *

Чем ближе подходил срок отъезда, назначенный братом на середину апреля, когда должна была вскрыться река Кама, тем тревожнее становилось у меня на душе. Брат это видел и за неделю до отъезда писал Суворину: «Я еще не уехал, а сестра уже начала скучать... Посылаю ее недели на две в Крым».

Маршрут Антон Павлович выбрал такой: Москва — Ярославль поездом, Ярославль — Пермь пароходом, Пермь — Екатеринбург — Тюмень опять по железной дороге, от Тюмени до Томска ему хотелось поехать пароходом, но, ввиду того что сибирские реки вскрываются поздно, Антон Павлович учитывал, что от Тюмени до Иркутска, точнее до озера Байкал, ему придется ехать на лошадях. Дальше через Байкал, а также по Восточной Сибири и Дальнему Востоку — на речных пароходах и, наконец, через Татарский пролив переплыть морским пароходом. Самым тяжелым отрезком пути, как потом и оказалось, был, конечно, путь от Тюмени до Иркутска. Железной дороги через Сибирь тогда еще не было, и этот участок протяжением свыше четырех тысяч верст предстояло проехать в тарантасе на лошадях!..

Все члены нашей семьи принимали участие в сборах Антона Павловича. Мы с матерью готовили белье, одежду, заготовляли провизию. Брат Миша купил большой чемодан, оказавшийся страшно неудобным, когда Антону Павловичу пришлось пользоваться «лошадно-тарантасным» транспортом.

Антон Павлович ехал на Сахалин на свой страх и риск. Материально его никто не субсидировал, он попросил лишь Суворина дать ему взаймы тысячу рублей, которые, как он писал, собирался «отработать», посылая с дороги для газеты очерки из Сибири. Причем даже официальная сторона пребывания Антона Павловича на Сахалине не была оформлена. Правда, будучи в Петербурге, он обращался к начальнику Главного тюремного

управления Галкину-Враскому с ходатайством допустить его туда и оказать содействие в ознакомлении с Сахалином. При личной беседе Галкин-Враский обещал брату написать необходимое письмо сахалинским властям, но, как выяснилось впоследствии, обещания не выполнил. «Ни Галкин... ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали; пришлось действовать на собственный страх», — писал Антон Павлович по приезде на Сахалин.

Злые языки впоследствии распускали слухи, что Антон Павлович ездил на Сахалин якобы за счет редакции газеты «Новое время». Это оскорбляло брата, и я хорошо помню, как он волновался и возмущался подобными измышлениями. Взятые им у Суворина в долг деньги были действительно братом «отработаны» теми интереснейшими описаниями Сибири и путешествия по ней, которые Суворин печатал в своей газете. А корреспондентский билет «Нового времени», который брал с собой Антон Павлович, служил на Сахалине единственным официальным документом, подтверждающим литературные цели его ознакомления с каторгой.

Вначале предполагалось, что все мы — Чеховы — поедем провожать брата до станции Троице-Сергиева лавра (ныне г. Загорск). Но так как у меня и матери глаза были, как говорится, «на мокром месте», то решено было, что мы «отплачемся» на вокзале в Москве, а на поезде провожать не поедем, чтобы «не повторяться» в лавре.

Провожать Антона Павловича на Ярославском вокзале собралось много народа. Помимо нашей семьи, там были Левитан, Семашко, Иваненко, Кундасова, Мизинова, супруги Кувшинниковы и др. Перед отходом поезда доктор Кувшинников торжественно вручил Антону Павловичу бутылку коньяку с наказом открыть и выпить только на берегу Великого океана (что братом и было исполнено в точности). До Троице-Сергиевой лавры Антона Павловича поехали провожать брат Иван Павлович, Кувшинниковы, Левитан и Кундасова.

Из первого же письма, полученного от Антона Павловича уже с волжского парохода, на пути из Ярославля в Нижний, мы неожиданно узнали, что на пароходе вместе с ним едет и Кундасова, «провожая» его неизвестно докуда, что было совершенно в стиле Ольги

Петровны. Брат писал: «Со мной едет Кундасова. Куда она едет и зачем, мне неизвестно. Когда я начинаю расспрашивать ее об этом, она пускается в какие-то весьма туманные предположения о ком-то, который назначил ей свидание в овраге около Кинешмы, потом закатывается неистовым смехом и начинает топать ногами или долбить своим локтем о что попало... Проехали и Кинешму, и овраги, а она все-таки продолжает ехать, чему я, конечно, очень рад».

Со всего пути следования Антона Павловича мы получали от него интереснейшие письма с описанием путешествия, быта и нравов, которые он наблюдал в Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее подробные и интересные в этом смысле письма были из Екатеринбурга (где брат, кстати, встретился с отдаленным родственником — двоюродным племянником нашей матери Симоновым), из Томска, Красноярска и Иркутска. В томском письме брат поистине художественно описывал езду на лошадях в тарантасе по бескрайним дорогам, залитым водой и грязью, переправы на паромах через сибирские реки в дождь, ветер, в ледоход, рассказывал о столкновении с тройкой лошадей, в результате чего буквально случайно остался жив и невредим, или, наконец, о переправе на лодке через разлившуюся реку Томь при сильном ветре, поднявшем большие волны, когда брат думал: «Если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто... потом валенки... потом и т. д.».

Из Томска Антон Павлович поехал в собственной коляске, купленной за сто тридцать рублей, сменив неудобный чемодан-сундук (московская покупка Михаила Павловича) на «какую-то кожаную стерву, которая имеет то удобство, что распластывается на дне тарантаса как угодно». Дорога и после Томска была плохая, и под Красноярском новая повозка брата два раза ломалась и чинилась.

Великолепнейшие письма присылал Антон Павлович с берегов Ангары и Байкала, а затем с пароходов, плывущих по Амуру. Антон Павлович был буквально в восторге от сибирской природы. «Скотина Левитан, что не поехал со мной, — писал он в одном письме, —...направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый... А в Забайкалье я находил все, что

хотел: и Кавказ, и долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью — по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь уже Полтавская губерния — и так всю тысячу верст». «От Байкала начинается сибирская поэзия», — писал он в другом письме.

Очень тепло Антон Павлович отзывался о народе, живущем на Амуре. «Амур чрезвычайно интересный край. До чертиков оригинален. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют, — писал он еще в одном письме. — ...Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда... Народ все больше независимый, самостоятельный и с логикой...»

* * *

Вскоре после отъезда Антона Павловича на Сахалин мы поехали на дачу к Линтваревым в Сумы. Это было уже третье лето, которое мы проводили у них, правда теперь без Антона Павловича. Квартиру в доме Корнеева мы оставили, так как летом она нам была не нужна, да и зимой брат собирался вернуться из своей поездки только в декабре, а стоила эта квартира довольно дорого.

В середине лета я с Натальей Михайловной Линтваревой совершила свое первое путешествие в Крым. Антон Павлович еще перед своим отъездом дал мне для этого деньги.

Я думаю, у каждого, кто побывал впервые в Крыму, будь то в прежнее время или теперь, остались незабываемые впечатления от неповторимых красот южного берега Крыма. Именно, когда впервые увидишь залитое солнцем море, зеленые горы, подступающие к самым берегам, буйную растительность садов и парков... Когда в первый раз окунешься в морскую воду, почувствуешь ее солоноватый вкус и с непривычной легкостью поплывешь... Когда впервые увидишь темные южные ночи, силуэты стройных кипарисов на фоне неба, услышишь неумолчный стрекот ночных цикад...

Не избежала всех этих первых ощущений и я. С тех пор минуло шестьдесят пять лет, а я отчетливо помню, как я купила себе на почтовом дилижансе билет 1-го класса, то есть место впереди, с каким почти детским

восторгом воспринимала все, что постепенно открывалось перед моими глазами на пути от Симферополя до Ялты. А ехали на лошадях долго, целый день, иногда и больше.

В Ялте я прожила больше двух недель. Везде побывала, осмотрела все достопримечательности южного берега Крыма. Кстати, я познакомилась там с одной молоденькой девушкой чрезвычайно маленького роста, но говорившей совершенно басом — графиней Кларой Ивановной Мамуной. Позднее я познакомила ее с нашей семьей, и она стала бывать у нас в Москве, а затем и в Мелихове. Младший брат Миша за ней ухаживал, и некоторое время она считалась его невестой. Антон Павлович шутливо издевался над ним, что он «делает себе карьеру». Так как потом Михаил Павлович все как-то медлил со своей женитьбой, то в конце концов Мамуне было сделано другое предложение, и она вышла замуж. Михаил Павлович пришел в негодование от вероломства, возненавидел ее и потом уничтожал и выбрасывал... маленькие предметы, напоминавшие ему маленькую графиню Мамуну!

* * *

С Сахалина Антон Павлович нам не писал, если не считать одного письма, посланного накануне отъезда домой. Была еще получена деловая телеграмма на имя брата Ивана Павловича, касающаяся присылки на Сахалин школьных учебников, программ земских училищ и пр. На Антона Павловича особенно тяжелое впечатление произвело положение детей на Сахалине. Школ там было мало, учебников не было, школьные библиотеки находились в жалком состоянии. Антон Павлович заботился о детях сахалинских каторжан и ссыльных, находясь еще на острове, и продолжал помогать им по возвращении в Москву. Он организовал сбор учебников и учебных пособий, и я, по поручению брата, не один раз упаковывала и отсылала на Сахалин посылки с книгами.

Как известно, Антон Павлович проделал на Сахалине огромную работу. Чего стоила ему одна только перепись всего населения острова! Он самолично заполнил там около десяти тысяч статистических карточек, для чего ему пришлось говорить с каждым каторжанином и поселенцем, побывать в каждой избе. Он потом

говорил, что видел на Сахалине все, кроме смертной казни. Созданная им впоследствии книга «Остров Сахалин» раскрыла даже и в подцензурном издании царского времени тяжелое, невыносимое положение ссыльнокаторжного населения острова. На книгу не могли не обратить внимание и высшие представители тюремного ведомства. Но вполне понятно, что никаких коренных изменений, улучшающих положение ссыльных и каторжных, сделано не было.

Антон Павлович возвращался с Сахалина домой другим путем, не через Сибирь. Он поехал на пароходе морем вокруг Азии до Одессы. Ему пришлось побывать в Гонконге, Сингапуре, на острове Цейлоне и в других южных портах. Своим обратным путешествием он остался очень доволен.

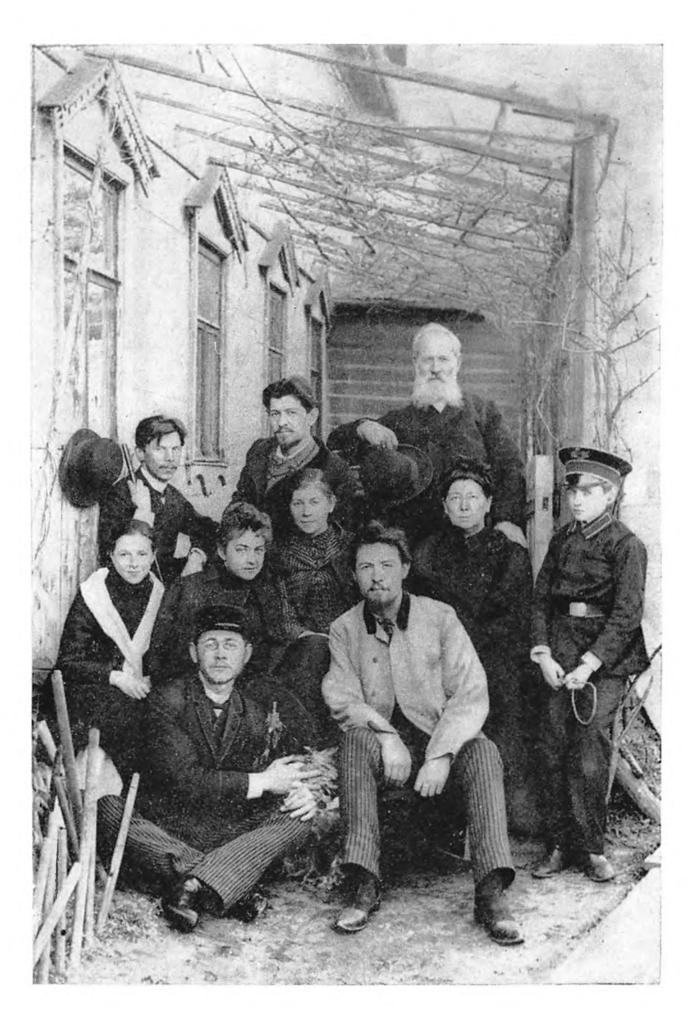
Еще осенью, возвратившись в Москву с дачи, мы сняли новую квартиру, на Малой Дмитровке, в доме Фирганг. Это был небольшой особнячок в два этажа, стоявший в глубине двора. Сюда 8 декабря Антон Павлович и приехал, вернувшись с Сахалина. Помимо многих интересных вещей и сувениров, он привез с собой с острова Цейлона трех зверьков, называвшихся мангусами. Правда, один из них был, как вскоре оказалось, пальмовой кошкой. Дикая нравом, она сидела большей частью под книжным шкафом. Антон Павлович писал шутливо в одном из своих писем: «Мангусы уже имеют имена. Один мангус зовется сволочью — так, любя, прозвали его матросы; другой, имеющий очень хитрые, жульнические глаза, именуется Виктором Крыловым;[1] третья, самочка, робкая, недовольная и вечно сидящая под рукомойником, зовется Омутовой»[2].

Потом у нас остался только один мангус. Это был чудесный и интереснейший зверек. Он быстро приручился и стал вести себя в доме полным хозяином. Совершенно поразительным и необыкновенным было его любопытство. Он исследовал каждую щель, лазил по столам, осматривал все, что там лежало, перелистывал книги, заглядывал в чернильницы и даже макал в них

---

[1] Плодовитый, но бездарный драматург, пьесы которого Антон Павлович не любил.

[2] Артистка театра Корша Е. В. Омутова, исполнявшая роль Сарры в пьесе Антона Павловича «Иванов».



Семья Чеховых во время жизни на Садовой Кудринской в доме Корнеева (слева направо): первый ряд — Михаил Павлович (брат), Антон Павлович; второй ряд — дочь Корнеева, Лика Мизинова, Мария Павловна, Евгения Яковлевна (мать), сын Корнеева; третий ряд — А. И. Иваненко, Иван Павлович (брат), Павел Егорович (отец).

1888—1889 годы.

лапки и потом оставлял следы. Смешной, но и не совсем приятной особенностью мангуса было обследование карманов. Представьте себе картину: приходит гость, садится на стул, вдруг к нему на колени вскакивает зверек размером с взрослого котенка и начинает выворачивать карманы его пиджака, интересуясь каждой вещью, находящейся там... У женщин он разбрасывал сложенные в прическу волосы и вынимал все шпильки и гребенки. Если мангус находил щелку или дырку в обоях, то немедленно разрывал ее больше, исследуя, нет ли там чего-нибудь. У себя на родине мангусы уничтожают ядовитых змей. Эту способность зверек продемонстрировал нам, когда летом мы жили на даче в Богимове. Как-то в парке из травы выползла большая змея. Михаил Павлович сбегал в дом и принес мангуса. Сначала он, сжавшись в комок, как ежик, долго смотрел на змею, затем прыгнул на нее и перегрыз ей голову.

Мангус очень любил людей, и когда его оставляли в одиночестве, он буквально плакал. Когда же кто-нибудь входил в комнату, он прыгал и ласкался, как собака. А ночью он обязательно спал на чьей-нибудь постели, причем мурлыкал, как кошка.

И все-таки, несмотря на общую любовь к этому зверьку, нам пришлось с ним расстаться. Уж очень много с ним было хлопот. В комнатах всегда царил беспорядок, все было разбросано, земля из цветов почти каждый день выгребалась, посуда билась, все завязанное и завернутое разворачивалось и разрывалось. Любопытство мангуса не имело границ. Решено было отдать его Московскому зоологическому саду, в котором, кстати, не было экземпляра такого зверька. Я сама отвезла туда нашего милого мангусика и сдала администрации. Потом в свободное время я ездила в зоологический сад и навещала зверька. Разговаривая с ним, наклонишь к нему голову, и он непременно опять вынет из волос гребенки и шпильки и растреплет всю прическу...

* * *

Прожив месяц в Москве, Антон Павлович уехал в Петербург, где собирался работать. Он остановился у Суворина. Писать ему там удавалось мало, мешали разговоры то с самим Сувориным, то с многочисленными

посетителями, приходившими поговорить о Сахалине. Брат писал оттуда в одном из писем: «Целый день, от 11 ч. утра до 4 часов утра я на ногах; комната моя изображает из себя нечто вроде дежурной, где по очереди отбывают дежурство гг. знакомые и визитеры. Говорю непрерывно. Делаю визиты и конца им не предвижу. Поездке моей на Сахалин придали значение, какого я не мог ожидать: у меня бывают и статские и действительные статские советники. Все ждут моей книги и пророчат ей серьезный успех, а писать некогда!»

В Петербурге брат побывал у известного прогрессивного судебного деятеля А. Ф. Кони, с которым потом у него сохранились дружеские отношения. Он много рассказывал ему об ужасах сахалинской каторги и о положении там детей и подростков. Он и Кони собирались побывать у Нарышкиной — придворной дамы, занимавшейся благотворительной деятельностью в области попечительства о ссыльнокаторжных и о семьях ссыльных. Но визит этот не состоялся, и Антон Павлович решил отложить его до выхода в свет книжки о Сахалине.

Книга о Сахалине писалась медленно. То Антон Павлович уезжал куда-нибудь, то у него возникали какие-то неотложные дела, как, например, общественная деятельность по оказанию помощи голодающим крестьянам, но, пожалуй, главной причиной, задерживавшей окончание работы над книгой о Сахалине, была постоянная нужда в деньгах. Создание большой книги требовало много времени, а жить чем-то нужно было! Поэтому Антону Павловичу приходилось все время переключаться на писание небольших произведений, гонорар за которые получался быстро. Если посмотреть, сколько других произведений было написано братом с момента его возвращения с Сахалина до момента окончания работы над книгой «Остров Сахалин», то станет понятно, почему задерживался выход в свет книги. «Остров Сахалин» писался с 1891 по 1894 год. За это же время братом было написано около двадцати произведений, среди них такие большие и серьезные рассказы, как «Дуэль», «Палата № 6», «Попрыгунья», «Черный монах», «Рассказ неизвестного человека» и другие.

«Остров Сахалин» начал печататься в журнале «Русская мысль» в 1893 году по частям. Первые главы появились в октябрьском номере журнала (если не счи-

тать, что одна из глав — «Беглые на Сахалине» — была напечатана в 1892 году в сборнике, изданном газетой «Русские ведомости» в пользу голодающих), а последние были напечатаны в июльском номере журнала за 1894 год. В 1895 году «Остров Сахалин» был издан «Русской мыслью» отдельной книгой.

Антон Павлович, стремясь пробудить в русском обществе внимание к положению ссыльнокаторжных на Сахалине, достиг своей цели. Общественное значение этой книги было бесспорно огромным. И я была горда и рада, когда брат сам мог прочитать в 1902 году в журнале «Мир божий»: «Если бы г. Чехов ничего не написал более, кроме этой книги, имя его навсегда было бы вписано в историю русской литературы и никогда не было бы забыто в истории русской ссылки» [1].

VIII. БОГИМОВСКОЕ ЛЕТО

В середине марта 1891 года Антон Павлович уехал в Петербург, чтобы вместе с Сувориным поехать за границу. Я была немножко удивлена этим решением брата. Ведь только три месяца прошло, как он вернулся из своей большой поездки на Сахалин. За это время он успел уже побывать в Петербурге и прожить там три недели. В сущности, не отдохнул еще хорошенько и вот опять — за границу... Он и сам понимал это и писал шутливо М. В. Киселевой: «В писании сказано: он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Так и я: ахнуть не успел, как уже неведомая сила опять влечет меня в таинственную даль». Так всегда его тянуло к новым впечатлениям, и я говорила ему в таких случаях:

— Непоседа ты, Антоша!

Это было первое заграничное путешествие брата по Западной Европе. Он побывал проездом в Вене, а затем совершил большую поездку по Италии. Был в Венеции, которая произвела на него огромное впечатление. Был во Флоренции, Риме, Неаполе. На обратном пути побывал в Ницце и Париже.

Антон Павлович отдал должное красоте Италии, лучшим образцам старинной архитектуры, бессмертным

[1] Журнал «Мир божий», № 9, 1902.

творениям великих мастеров живописи и скульптуры. Он восхищался музыкальностью итальянского народа, назвал и французов «превосходным народом», но с горечью писал нам о «презренной и мерзкой жизни с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев», о «рулеточной роскоши», которая производит впечатление «роскошного ватерклозета». По возвращении брат рассказывал нам, как он соскучился по обыкновенным русским щам и гречневой каше... Нужно сказать, что у Антона Павловича очень сильно было развито чувство любви к родине и ко всему родному, русскому. Из Парижа он сообщал, например, что «русские художники гораздо серьезнее французских», а из Италии писал: «Заграничные вагоны и железнодорожные порядки хуже русских. У нас вагоны удобнее, а люди благодушнее». И в дальнейшем, когда Антон Павлович бывал за границей, он никогда не мог долго оставаться вне родины и всегда начинал тосковать.

В отсутствие Антона Павловича мы сняли на лето дачу под городом Алексиным Тульской губернии. Дело в том, что еще во время пребывания Антона Павловича на Сахалине младший брат Миша получил службу в г. Алексине и переселился туда. В то время это был крошечный городишко, стоявший на берегу Оки. По ту сторону реки, недалеко от железнодорожной станции, стояли три-четыре небольшие деревянные дачки, ничем даже не огороженные. От реки они были далековато и вообще ничего интересного из себя не представляли, особенно для нас, после таких дач, какие у нас были на Луке и в Бабкине. Михаил Павлович, искавший дачу по поручению брата в окрестностях Алексина, ничего лучшего не мог найти и снял один из этих домиков.

Сразу же по возвращении из-за границы Антона Павловича мы всей семьей переехали на дачу. Самым главным недостатком ее была теснота — четыре небольших комнаты на нашу немалую семью да еще с неизбежными гостями! «Внутри тесновато, снаружи простор», — шутил Антон Павлович.

Прожили мы на этой даче недолго.

Когда Лика и Левитан ехали к нам в Алексин, то познакомились на пароходе с местным помещиком Е. Д. Былим-Колосовским. Он узнал от них, что писатель Чехов живет на даче недалеко от его имения в селе

Богимове. И вот вдруг однажды он присылает нам две тройки лошадей с приглашением посетить его. Мы поехали и увидели большое запущенное имение с огромным двухэтажным домом, двумя или тремя флигелями и великолепным старинным парком с аллеями и прудами. Видя, что имение Антону Павловичу понравилось, Былим-Колосовский предложил ему бросить нашу дачку под Алексиным и снять верхний этаж его большого дома. Имение, парк и вся обстановка для летнего отдыха так понравились Антону Павловичу, что, несмотря на дороговизну двух дач (за старую было уплачено девяносто рублей, и новая стоила сто шестьдесят рублей), он решил перебраться в Богимово, куда мы вскоре и переехали.

Антон Павлович был в восторге от поэтической обстановки этой дачи. Вот ее описание, сделанное братом в одном из писем к Суворину: «Какое раздолье! В моем распоряжении верхний этаж большого барского дома. Комнаты громадные; из них две величиною с Ваш зал, даже больше; одна с колоннами; есть хоры для музыкантов. Когда мы устанавливали мебель, то утомились от непривычного хождения по громадным комнатам. Прекрасный парк; пруд, речка с мельницей, лодка — все это состоит из множества подробностей, просто очаровательных... Караси отлично идут на удочку. Я вчера забыл о всех печалях: то у пруда сижу и таскаю карасей, то в уголке около заброшенной мельницы и ловлю окуней... Я буду ждать Вас. Хорошо бы Вам поспешить, а то скоро перестанут петь соловьи и отцветает сирень».

Суворин принял предложение Антона Павловича и два раза приезжал к нам, но жил только по нескольку дней. Гостила у нас в Богимове и моя подруга Наталья Михайловна Линтварева. Потом и я в свою очередь ездила к ней в Сумы, но прожила там недолго, так как Антон Павлович начал меня торопить вернуться. Он писал Наталье Михайловне, чтобы она «длинной хворостиной» погнала меня домой, «ибо Маша нужна». А мне писал в шутливой форме: «...без тебя наше интензивное хозяйство пришло в совершенный упадок. Есть нечего, мухи одолели... мангус разбил банку с вареньем и проч. и проч.».

Кроме нашей семьи, в Богимове были и другие дачники. Под нами, в первом этаже, жила семья известного художника Александра Александровича Киселева, у которых были веселые детишки, «киселята», как мы их звали, — девочки-подростки. Как и все дети, всегда любившие Антона Павловича, эти девочки подружились с ним, вместе гуляли, бывали у нас, а главное, они были замечательны тем, что сами инсценировали рассказы Антона Павловича и сами же их разыгрывали в домашних спектаклях, о которых я расскажу дальше.

В одном из флигелей жил также молодой ученый, читавший лекции в Московском университете, зоолог В. А. Вагнер, ставший впоследствии профессором. С ним жили его жена и тетушка. Он обычно с утра и до вечера сидел где-нибудь под деревом в парке и занимался изучением пауков. Брат добродушно подшучивал над ним, прозвал его «паучком» и смеялся, что когда тот кончит изучать пауков, то примется за блох, которых «будет ловить на своей тетушке!» Часто вечерком Антон Павлович подсаживался к Вагнеру, и они вели серьезные беседы и даже споры на научно-естественные и философские темы. В это время в Богимове Антон Павлович писал повесть «Дуэль». Создавая образ зоолога фон Корена, брат использовал для характеристики Корена многие мысли и положения из своих споров с В. А. Вагнером.

С Владимиром Александровичем Вагнером было связано одно серьезное выступление Антона Павловича в печати в защиту науки от шарлатанства. Это выступление имело прямое отношение к деятельности великого русского ученого-революционера, профессора Московского университета К. А. Тимирязева. В 1891 году вышла в свет небольшая брошюрка Климента Аркадьевича под заголовком «Пародия науки», в которой он обвинял дирекцию Московского зоологического сада во главе с известным профессором А. П. Богдановым в том, что организованная при Зоологическом саде «ботаническая опытная станция» ничего общего с наукой не имеет и что по существу она является шарлатанским предприятием. Он писал, что «если дирекция Зоологического сада имеет смелость публично называть свою жалкую затею «ботанической опытной станцией», то знающие свое дело ботаники нравственно обязаны сказать той же

публике: не верьте, это недостойная пародия, свидетельствующая о прискорбном неуважении к науке и публике».

В. А. Вагнер в беседах с Антоном Павловичем рассказал о неприглядном положении дела в Зоологическом саду, показал ему отчетные материалы, раскрыл псевдонаучную деятельность «ученых мужей» этого сада. И вот на основании этого материала Антон Павлович написал в Богимове статью «Фокусники» и отправил ее Суворину для напечатания в газете «Новое время». В сопроводительном письме брат писал: «Дело в том, что у нас в Москве и в России вообще есть проф. Богданов, зоолог, очень важная превосходительная особа, забравшая в свои руки все и вся, начиная от зоологии и кончая российской прессой. Сия особа проделывает безнаказанно все, что ей угодно. И вот Тимирязев выступил в поход...

...Как добавление к брошюре, посылаю заметку. Тимирязев воюет с шарлатанской ботаникой, а я хочу сказать, что и зоология стоит ботаники. Вы прочтите заметку до конца; не надо быть ботаником или зоологом, чтобы понять, как *низко* стоит у нас то, что мы по неведению считаем высоким...

...Подписываюсь я буквой Ц, а не собственной фамилией на том основании, что, во-первых, заметка писана не мною одним, во-вторых, автор должен быть неизвестен, ибо Богданову известно, что Вагнер живет с Чеховым, а Вагнеру надо защищать докторскую диссертацию и т. д. — и ради грехов моих Вагнеру могут без всяких объяснений вернуть назад его диссертацию».

В своей статье Антон Павлович обвинил дирекцию Зоологического сада в том, что вся его деятельность и вновь открытая ботаническая опытная станция и зоологическая лаборатория — все это «служит образчиком прискорбного неуважения к науке и публике». «Фокусники», так же как и брошюра Тимирязева, наделали много шуму. Интересно то, что сам К. А. Тимирязев долгое время не знал, что автором «Фокусников» был Чехов. Уже много позднее Антон Павлович и Климент Аркадьевич как-то встретились в редакции «Русской мысли», и Тимирязев узнал, кто тогда выступал вместе с ним против шарлатанства в науке. Об этом рассказал мне в письме сам Тимирязев. В 1914 году, к десятилетию со дня смерти Антона Павловича, Книгоиздательство

писателей в Москве, членом которого я была, издало сборник «Слово» с воспоминаниями и материалами об Антоне Павловиче. В этом сборнике была перепечатана и статья «Фокусники». Экземпляр сборника со своей дарственной надписью я направила в 1916 году К. А. Тимирязеву и получила от него в ответ такое интересное письмо:[1] «Многоуважаемая Мария Павловна! Приношу Вам глубокую благодарность за присланную мне крайне для меня интересную статью Вашего незабвенного брата. Статья эта была для меня долгие годы загадкой, пока Антон Павлович не разрешил ее мне лично при встрече в редакции «Русской мысли». Но даже после его смерти я все же не считал себя вправе разглашать кому-нибудь подкладку, так как разговор был без свидетелей. Теперь печать с этой истории снята, и я как-нибудь расскажу ее в подробностях и в печати. Скажу только мимоходом, что последним результатом научной деятельности проф. Богданова было то, что я был выгнан из Петровской академии, да и ее прикрыли.

Вот Вам страничка из интимной истории нашего русского просвещения...»

* * *

В Богимове наша жизнь проходила очень разнообразно. Как всегда, любимым занятием Антона Павловича в свободное от литературной работы время были рыбная ловля и прогулки в лес за грибами. Но вместе с тем почти не было дня, чтобы Антон Павлович не принимал какого-нибудь больного: то к нему привезут, то самого его вызовут.

Наш хозяин Евгений Дмитриевич Былим-Колосовский вначале пытался казаться очень серьезным и «вумным», как шутил Антон Павлович, но потом оказался простым и симпатичным. Он ходил в русской поддевке, придерживался либеральных взглядов и называл себя «социалистом». Родные называли его Геге, так прозвали его в шутку и мы в своей семье. Однажды он организо-

---

[1] Подлинник этого письма мною был утерян в Москве в годы революции. Данный текст воспроизводится по черновику письма, сохранившемуся в архиве К. А. Тимирязева и обнаруженному там И. В. Федоровым. Им же была сделана первая публикация в журнале «Наука и жизнь» за 1944 г., № 9.

вал пикник, чтобы все его дачники могли поближе познакомиться друг с другом. Закончился этот пикник не совсем благополучно. Уже ночью, часа в три, Антон Павлович и Былим-Колосовский поехали кататься в тарантасе. Во время поездки лошади вдруг чего-то испугались, понесли и опрокинули седоков. Тарантас разбился вдребезги. Брат вернулся домой пешком с распухшим носом — при падении из тарантаса он ударился носом о землю.

К числу наших милых развлечений относились те домашние спектакли, которые устраивали в парке девочки Киселевы. Любопытно, что, будучи подростками, в возрасте от восьми до двенадцати лет, они умело инсценировали короткие рассказы Антона Павловича и разыгрывали их, изображая взрослых мужчин и женщин. Так, например, однажды ими был разыгран рассказ Антона Павловича «Размазня». Роль господина, обсчитывающего гувернантку, исполняла десятилетняя Соня, по своему характеру робкая и застенчивая, а гувернантку играла восьмилетняя Надя — девочка очень бойкая. В результате выходило все наоборот: гувернантка наседала и выглядела совсем не размазней, а обижающий ее хозяин получился страдающим лицом.

Антон Павлович от души смеялся во время этих спектаклей. После инсценировок обычно устраивались еще живые картины, а иногда и факельные шествия по парку.

Однажды в середине лета был устроен целый праздник, и после спектакля в липовой аллее, освещенной фонариками, были танцы и игры. Во время них Антон Павлович куда-то исчез, а затем неожиданно появился с надетым на себя футляром от больших старинных часов. Сверху он накинул плед и такой фантастической фигурой бегал среди детей, издавая рычащие звуки, чем приводил в восторг всех «киселят». Брат всегда искренно веселился и любил поразить их чем-нибудь неожиданным.

Как-то после одного из таких веселых спектаклей «киселят» Антон Павлович написал шуточную рецензию, над которой все дачное население Богимова от души смеялось. Когда, спустя почти четверть века, я стала издавать полное собрание писем Антона Павловича, я включила эту рецензию в число писем за 1891 год,

и она впервые была опубликована мною в третьем томе писем (изд. 1913 г., Москва). Привожу эту рецензию-пародию Антона Павловича.

«Вчера в селе Богимове любителями сценического искусства дан был спектакль. Это знаменательное событие как нельзя кстати совпало с пребыванием в Кронштадте могущественного флота дружественной нам державы, и, таким образом, молодые артисты невольно способствовали упрочению симпатий и слиянию двух родственных по духу наций. Vive la France! Vive la Russie![1]

Спектакль был дан в честь маститого зоолога В. А. Вагнера. Не нам говорить о значении зоологии как науки. Читателям известно, что до сих пор клопы, блохи, комары и мухи — эти бичи человечества и исконные враги цивилизации — истреблялись исключительно только персидским порошком и другими продуктами латинской кухни, теперь же все названные насекомые превосходно дохнут от скуки, которая постоянно исходит из сочинений наших маститых зоологов.

На сцене было представлено что-то очень похожее на сцены из «Ревизора» и следующие живые картины: 1) Индус в панталонах Хлестакова, 2) Цыгане на пиру у греческих царей, 3) Греческие цари в цыганском таборе, 4) Гений, венчающий банным веником готтентота и испанку. Исполнение, в высшей степени талантливое, добросовестное и обдуманное, вызвало всеобщий восторг. Г. Киселев, обладающий прекрасной сценической наружностью (А. А. Киселев был маленьким и щупленьким мужчиной! — *М. Ч.)*, выказал свой превосходный комический талант. Он несомненно комик. Но когда он становился к публике в профиль, то в его игре и в костюме чувствовался глубокий, потрясающий трагизм. Г-жа Киселева 1-я с самого начала овладела вниманием и сочувствием публики, заявив себя артисткою во всех отношениях выдающеюся. Хорошие вокальные средства при несомненном умении прекрасно владеть ими, сценический талант при большой выработке его, громадном знании сцены и сценической опытности делают из нее отличную актрису. Ей горячо аплодировали и после каждого акта подносили венки и букеты, которые публика приобретала за кулисами у гг. исполнителей, озаботив-

---

[1] Да здравствует Франция! Да здравствует Россия! *(франц.)*

шихся преждевременно приготовить предметы, необходимые для их чествования. В игре г-жи Киселевой 2-й, исполнявшей трудную роль Мишки, мы не заметили тех недостатков, которые так не нравятся нам в Сарре Бернар и Дузе; дебютантка входила в комнату в шляпе и не брала письма, когда ей давали его, и такими, по-видимому ничтожными, нюансами и штрихами она выказала оригинальность своего дарования, какой могла бы позавидовать даже М. Н. Ермолова. Что же касается г-жи Вагнер, то игра ее произвела фурор; эксцентричное, полное веселого шаржа исполнение, легкость, воздушность, небесность и притом прекрасная дикция в связи с редким знанием условий сцены были истинным торжеством таланта (жена В. А. Вагнера Мария Аполлоновна была незаметной, тихой, несколько странной молодой женщиной, дружившей со старшей девочкой Киселевых Верой — *М. Ч.)*; ее появление и уход всякий раз возбуждали в публике неудержимый смех. Из исполнительниц живых картин надо прежде всего отметить г-жу Киселеву 3-ю (Надю), сияющее лицо которой все время заменяло артистам и публике бенгальский огонь.

Аменаиса Эрастовна, к сожалению, участия в спектакле не принимала». («Аменаиса Эрастовна» — экономка в имении Былим-Колосовского, рыжеватая блондинка с косящим взглядом, малоразвитая и довольно злая особа. Звали ее, собственно, Анимаиса Орестовна, но Антон Павлович называл ее всегда Аменаиса Эрастовна или — «для краткости», как говорил, — Семирамида и Мюр-и-Мерилиза, а иногда еще и Усириса. Он уверял, что она была неравнодушна к своему хозяину и очень ревнива! В своих богимовских письмах Антон Павлович не раз упоминал о ней.)

* * *

Все лето я много, серьезно и с большим увлечением занималась живописью. Моя комната была сплошь увешана этюдами. Как-то зашел ко мне А. А. Киселев, посмотрел мои работы, похвалил и сказал:

— Если есть призвание, то выйдет художник!

Теперь, спустя более шести десятков лет, я могу сказать, что призвание-то у меня, пожалуй, было, но отдаться полностью живописи я не могла. Иные пути,

иные цели, связанные с жизнью и работой брата, стояли предо мной.

Прожив на даче в Богимове до первых чисел сентября, мы вернулись в Москву, в ту же квартиру в доме Фирганг на Малой Дмитровке.

IX. ПОИСКИ ИМЕНИЯ

«Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке, с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь...» — так писал Антон Павлович в одном из писем месяца через полтора по возвращении в Москву из Богимова. Брат все чаще и чаще стал вновь говорить о покупке где-нибудь на Украине хутора, чтобы переселиться туда на постоянное жительство.

Как-то однажды в начале зимы он позвал меня в свою комнату и сказал:

— Послушай, Маша, не съездить ли тебе к Смагиным в Бакумовку, чтобы посмотреть там продажные хутора?

— Но ведь у меня же уроки в гимназии. Я могу поехать только во время рождественских каникул, — ответила я ему.

Так и было решено, что я выеду на Украину, как только учащихся распустят на праздничные каникулы. Незадолго до этого разговора у нас гостил А. И. Смагин и обещал помочь нам в поисках хутора в его краях, вблизи Сорочинец.

По поводу переезда куда-нибудь на хутор в собственную усадьбу у Антона Павловича были соображения и материального порядка. Сколько бы ни работал он, мы в Москве все проживали, и денежные вопросы всегда беспокоили его. В одном из писем он сам писал об этом: «Ах, свободы, свободы! Если я буду проживать не больше двух тысяч в год, что возможно только в усадьбе, то я буду абсолютно свободен от всяких денежно-приходо-расходных соображений. Буду тогда работать и читать, читать...»

Но были у него еще и заботы о собственном здоровье. Кашель, а иногда и кровохарканья у Антона Павловича продолжались. Ни он сам, ни мы не знали тогда истинного происхождения их. Но брат, как врач, чувствовал, что ему для здоровья нужно было сменить жизнь в столице на деревенскую. «Если я в этом году не переберусь в провинцию, — писал брат А. И. Смагину, — и если покупка хутора почему-либо не удастся, то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея. Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхождение мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи и больше ничего. Уехать из Москвы мне *необходимо*».

Словом, к концу 1891 года вопрос о покупке хутора Антон Павлович поставил со всей серьезностью. 22 декабря я выехала сначала к Линтваревым на Луку, а затем к Смагиным в Бакумовку. Антон Павлович без меня 26 декабря уехал в Петербург к Суворину.

Александр Иванович Смагин подготовил мне для осмотра три хутора. Один из них находился в Сорочинцах. Это была небольшая усадьба, стоявшая посередине села на красивом месте. Но сам дом произвел на меня неприятное впечатление. Стены в нем были кривые, окна маленькие, причем не открывающиеся створками, а поднимающиеся всей рамой кверху. Дом был тесный, в некоторых комнатах не было пола. В общем, для того чтобы привести его в порядок, требовалось и время и дополнительные затраты средств. Я отказалась от него. Посмотрела еще хутор в Малых Сорочинцах, но сразу же выяснилась непригодность его: низкое, болотистое место. Искала я и какой-нибудь дом, который можно было бы снять на лето как дачу, но и такого не нашла.

Единственное, что мне понравилось и подходило для покупки, — это хутор Яценко. Но стоил он дорого, и, кроме того, на хуторе было много земли (пятьдесят три десятины), но не было дома, его нужно было построить. Пока я списывалась по этому поводу с братом, Яценко продавать раздумал. Так моя поездка на Украину для

покупки хутора оказалась безрезультатной. Измученной и расстроенной я вернулась в начале января в Москву. Почти в одно время со мной вернулся из Петербурга и Антон Павлович.

* * *

После неурожайного лета 1891 года во многих центральных губерниях России начался голод. Особенно сильным он был в таких губерниях, как Нижегородская и Воронежская. Кроме того, что голодал сам народ, еще и скот кормить было нечем, крестьяне за бесценок продавали своих лошадей. Это грозило повторением голода и в будущем году, потому что крестьянские поля остались бы не вспаханными и не засеянными.

Антон Павлович принял горячее участие в оказании помощи голодающим крестьянам. Он списался с нашим старым знакомым, Евграфом Петровичем Егоровым (упоминавшимся выше), который служил тогда земским начальником в одном из уездов Нижегородской губернии. Антон Павлович организовал сбор пожертвований, объявил подписку и собранные деньги отсылал Егорову. Тот покупал у крестьян лошадей, чтобы, прокормив их зимой, весной отдать бесплатно тем же хозяевам-крестьянам. Так был бы спасен урожай будущего года.

В январе 1892 года, вскоре же после возвращения из Петербурга, Антон Павлович сам съездил к Егорову в Нижегородскую губернию. Он побывал там в одной из деревень, причем ехал на санях в жестокий мороз и метель; лошадь в пути сбилась с дороги, и путников едва не занесло. Потом, вернувшись домой сильно простуженным, брат рассказывал нам о своих переживаниях в эти часы.

Помимо закупки лошадей, Антон Павлович и Егоров устраивали еще в некоторых деревнях бесплатные столовые для голодающих крестьян, помогали им чем могли. Встречаясь с крестьянами, брат хорошо узнал их и потом тепло о них отзывался. Он писал: «А какой прекрасный народ в Нижегородской губ. Мужики ядреные, коренники, молодец в молодца — с каждого можно купца Калашникова писать. И умный народ».

Прожив дома десять дней, Антон Павлович снова поехал в голодающие районы Воронежской губернии. В самом Воронеже, в селе Хреновом, в Боброве, он познако-

мился с мерами по оказанию помощи голодающим. Ездил он туда вместе с А. С. Сувориным, который был уроженцем этой губернии и хотел побывать в родных местах. В одном из писем ко мне Антон Павлович в ироническом тоне писал о наивности Суворина в решении практических вопросов по организации столовых для голодающих.

* * *

После моей неудачи в Сорочинцах вопрос о покупке хутора не был оставлен. Мы смотрели объявления, наши знакомые и друзья помогали нам искать. Незадолго перед тем Антон Павлович познакомился с известной украинской артисткой М. К. Заньковецкой. Она симпатизировала Антону Павловичу и тоже принимала участие в поисках для нас хутора в Черниговской губернии недалеко от ее собственного имения. Но и с этим ничего не получилось.

Однажды мы прочитали в какой-то газете о продаже имения в Серпуховском уезде, недалеко от железнодорожной станции Лопасня. Хозяином имения был художник Н. П. Сорохтин. Сначала мы списались с ним, а затем, по просьбе Антона Павловича, я и брат Михаил в самых последних числах января 1892 года поехали туда сами, чтобы осмотреть и договориться об условиях покупки. Стояла в разгаре зима, и до деревни Мелихово, где было расположено имение Сорохтина, мы верст тринадцать проехали на санях.

Усадьба находилась в самой деревне. Размер ее был весьма солидный — двести тринадцать десятин, из которых больше ста — лесу. Нам понравился дом: достаточно просторный, не старый, крытый железом, с террасой в сторону сада. Правда, внутри его было очень грязно, комнаты оклеены старыми рваными обоями, клопы, тараканы и прочие прелести. Все это, конечно, можно было вычистить и отремонтировать.

В саду были липовая аллея, фруктовые деревья, недалеко от дома — небольшой пруд. Различные службы, сараи и амбары были новые. В общем, нам с Мишей имение понравилось, хотя окрестности мы хорошо и не посмотрели, так как лежал глубокий снег. По возвращении домой мы «доложили» Антону Павловичу, что имение считаем удобным и что купить его стоит. Усло-

вия покупки тоже были сравнительно сносные: стоило оно тринадцать тысяч рублей, из которых наличными следовало заплатить четыре тысячи, на пять тысяч имелась закладная художника, по которой мы должны были платить только проценты, а остальные четыре тысячи продавец получил бы из банка после того, как заложили бы имение в банке уже мы. Правда, долгие годы потом Антон Павлович был бы связан довольно крупным банковским долгом.

Антон Павлович, не побывав в Мелихове и не посмотрев сам имения, согласился на покупку, и уже 2 февраля у нотариуса было заключено так называемое домашнее условие и Сорохтину выдан задаток. Лишь когда все формальности по покупке закончились и занятые братом у Суворина деньги уплачены, он съездил в имение и впервые его посмотрел. Это было за неделю до нашего окончательного переезда туда. К этому времени мною уже был произведен в доме полный ремонт: все комнаты оклеены новыми обоями, все вычищено, полы отремонтированы, кухня, которая помещалась в этом же доме, ликвидирована и из нее сделана комната для нашей матери. Во дворе, недалеко от дома, в двух купленных новых срубах были сделаны две кухни (одна с плитой, другая с русской печью) и комнаты для кухарки, горничной и работников по конюшне и усадьбе. Судя по великолепному настроению брата при осмотре имения, оно ему понравилось.

5 марта 1892 года закончился московский период нашей жизни и начался мелиховский. В этот день мы расстались с нашей квартирой в доме Фирганг на Малой Дмитровке и переехали всей семьей на жительство в собственную усадьбу с лесом, полями, садом, лошадьми, коровой, курами.

X. МЕЛИХОВО

Настроение Антона Павловича по переезде в Мелихово было самое хорошее, радостное. Несмотря на то, что кругом лежал снег, он повсюду ходил, осматривал сад, лес, знакомился с крестьянами, которые вначале относились к нам сдержанно. Видно было, что Антона Павловича даже несколько забавляло то, что у него впервые

в жизни вдруг появился собственный дом с землей, садом, лесом, и вместе с тем все это его радовало искренно.

В нескольких шагах от дома был небольшой пруд. Раз по пять в день Антон Павлович выходил из дома и кидал снег в пруд, чтобы летом в нем было больше воды. Выйдет, побросает и снова идет работать в кабинет. Затем, смотришь, через час-другой он уже опять с лопатой в руках возится у пруда.

Вскоре началась весна, совсем не похожая на ту, какая бывала в Москве. Антон Павлович писал Суворину о своем настроении в те дни: «...в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своей поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава. День тянется, как вечность. Живешь, как в Австралии, где-то на краю света; настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда, издали люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя и вспоминаю о своих кредиторах, которые когда-нибудь выгонят меня из моей благоприобретенной Австралии».

В Мелихове распорядок нашей жизни резко изменился. Мы стали рано вставать, рано ложиться, обедали по-деревенски — в полдень. Сам Антон Павлович уже в пять часов утра был на ногах, а в десять вечера спал. Мы все так много работали в это время по благоустройству усадьбы, что страшно уставали и иной раз ложились спать и в восемь часов вечера, а спали так крепко, что, когда однажды ночью горела соседняя с нами усадьба помещицы Кувшинниковой, мы ничего не слышали, хотя на пожаре стояли шум, крик, а в церкви все время звонили. Утром Антон Павлович выглянул в окно и ничего не понял — дома Кувшинниковой нет.

— Посмотри, Маша, что за наваждение, куда девалась кувшинниковская усадьба? — подозвал меня к окну брат.

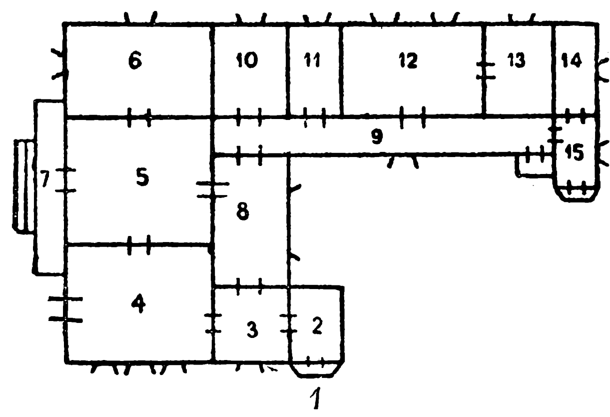
Я смотрю — и тоже ничего не понимаю. Оказывается, за ночь усадьба сгорела буквально дотла, и никто из нас этого не видел и не слышал из-за крепкого сна.

Лучшая в доме — большая угловая комната с широким окном размером в три обычных окна — была отдана под кабинет Антона Павловича. Из кабинета дверь вела в гостиную, где стоял доставшийся нам вместе с домом большой старинный рояль. Из гостиной одна дверь выходила в мою комнату, другая — на террасу, третья — в проходную комнату с великолепным итальянским окном из разноцветных стекол, названную впоследствии «пушкинской». Как-то А. И. Смагин подарил мне литографированную репродукцию с известного портрета А. С. Пушкина работы художника Кипренского. Антону Павловичу понравился этот портрет, и я повесила его в проходной комнате. С той поры эта комната и стала у нас «пушкинской». Из нее можно было пройти в прихожую, а в противоположную сторону — в коридор, вдоль которого были расположены: спальня Антона Павловича, комната отца, столовая, комната матери. Коридор заканчивался дверью в сени черного хода, через который из кухни приносились кушанья. Все комнаты, за исключением кабинета брата и гостиной, были небольшие, но очень удобные и уютные.

Когда наступила весна и сошел снег, для нас настала пора напряженной работы: нужно было пахать, сеять, приводить в порядок фруктовый сад, благоустраивать усадьбу. Нужно сказать, что наш предшественник, художник Сорохтин, видимо, не интересовался хозяйством усадьбы и очень запустил его. Каждый член нашей семьи взял себе участок работы. Антон Павлович занялся садом. В нем были яблони, сливы, вишни, много малины, крыжовника, смородины. Антон Павлович целые дни проводил в саду за обрезкой деревьев, посадкой новых. Сажал он деревья даже и семенами, я однажды по его просьбе привезла ему из Москвы семена ели, сосны, лиственницы, дуба. Сажал он также и розы, которые очень любил. Я взяла на себя огород, цветники в саду, а также полевое хозяйство, которое вела вместе с Михаилом Павловичем. Он жил не с нами, а по-прежнему в Алексине, где продолжал служить, но очень

часто приезжал к нам и помогал проводить полевые работы. Земли у нас было много, и чего только мы на ней не сеяли: и рожь, и пшеницу, и клевер, и овес, и горох, и гречиху, а впоследствии даже и лен (у меня до сих пор сохранилось холщовое полотенце, сотканное в Мелихове из своего льна). У нашего отца, жившего уже на полном покое, тоже было свое занятие: он с утра до

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕЛИХОВСКОГО ДОМА



1. Парадное. 2. Сени. 3. Прихожая. 4. Кабинет Антона Павловича. 5. Гостиная. 6. Комната Марии Павловны. 7. Терраса. 8. «Пушкинская» комната. 9. Коридор. 10. Спальня Антона Павловича. 11. Комната отца. 12. Столовая. 13. Комната матери. 14. Кладовая. 15. Сени черного хода.

вечера возился в саду, приводил в порядок дорожки, прокладывал новые, каждое утро аккуратно посыпал их желтым песочком. В общем, к началу лета, когда к нам стали приезжать в гости друзья и знакомые, наше Мелихово стало неузнаваемо по сравнению с тем, что мы получили от прежнего хозяина.

Вся эта созидательная жизнь брату очень нравилась. Сажать, строить, создавать, выращивать — это была стихия Антона Павловича. Он писал старшему брату Александру в первый год жизни в Мелихове: «Коли деды и прадеды жили в деревне, то внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое несчастье, что мы с детства не имели своего угла».

После переезда в Мелихово я не бросала своей учительской работы в гимназии Ржевской. В Москве я снимала комнату и жила, в сущности, на два дома. Но каждый свободный от уроков день я старалась проводить с семьей, и уже обязательно каждую неделю в пятницу вечером я приезжала домой и жила до утра понедельника. Нечего и говорить, что рождественские, пасхальные и летние каникулы я тоже проводила только в Мелихове.

Впервые за все эти последние годы нам не нужно было искать на лето дачу и куда-то выезжать. Наша деревенская жизнь в собственной усадьбе, окруженной лесами и полями, была лучше всякой «дачной» жизни, испытанной нами до сих пор.

Антон Павлович всегда любил реки, озера, пруды. Любил купаться, кататься на лодке, рыбачить. Я уже упоминала о том, что самым любимым занятием его во время летнего отдыха была рыбная ловля. Миниатюрный мелиховский пруд не мог удовлетворить Антона Павловича. Правда, он и там рыбачил и ловил малюсеньких карасей, которых тут же отпускал обратно. Была в окрестностях Мелихова река, но далековато, верстах в трех от нас, поэтому в первое же лето Антон Павлович решил выкопать в усадьбе новый большой пруд. Наняли рабочих, и все лето и осень они копали. Обошелся этот пруд по тем временам недешево — в сто пятьдесят рублей.

Следующей весной пруд заполнился водой, глубина его была около двух метров, а может быть и больше. Вокруг пруда по берегу Антон Павлович насадил молодые деревья, а в самый пруд несколько раз выпускал мальков рыб, привозя их из Москвы (на Трубной площади был специальный рынок, где продавали щенков, котят, птиц, рыбок).

Как-то на другой или на третий год, когда пруд был заполнен до краев, Антон Павлович увидел плавающую в воде бутылку, запечатанную сургучом. Он долго трудился, чтобы длинным шестом подтащить эту бутылку к берегу. Достав и распечатав ее, он нашел там письмо, написанное на самых различных языках, до греческого и латинского включительно. Тексты на всех языках гласили, что на этом пруду корабль, шедший с товарами в заморские страны, потерпел крушение и затонул...

Остроумный пародийный стиль послания и знание писавшим иностранных языков сразу же указали на автора — старшего брата, Александра Павловича, изумительно способного лингвиста. Он незадолго перед этим гостил в Мелихове. Шутке его нельзя было не посмеяться от души.

* * *

В Мелихове нам вместе с усадьбой достались дворовые собаки, среди которых были Шарик и Арапка, а также щенки-дворняжки, прозванные нами Мюр и Мерилиз (по фамилии владельцев известного московского магазина на Петровке около Большого театра). Но Антону Павловичу очень хотелось иметь породистых собак. Еще во время нашего пребывания у Лейкина в Петербурге Антону Павловичу очень понравились его таксы Апель и Рогулька. Брат заказал щенка от них и потом несколько раз писал Лейкину, чтобы «сын Апеля» обязательно походил на родителей. Но тогда с этим заказом ничего не вышло. Лишь весной 1893 года щенки были из Петербурга доставлены ко мне на квартиру в Москве, и в очередную свою поездку в Мелихово я их туда отвезла. Они быстро освоились на новом месте и стали хозяйничать в доме. Так, на другое же утро после их появления мы обнаружили, что из прихожей исчезли все наши калоши. Оказалось, что ночью щенки растаскали их буквально по всем комнатам дома!..

Это были чистокровные таксы на коротеньких кривых ножках, с вытянутым телом и забавными мордочками. Их длинные уши почти волочились по земле. Я дала им имена: Хина и Бром. А когда они подросли и стали солидными и толстенькими, Антон Павлович прибавил им и отчества: Хина Марковна и Бром Исаевич. Хина была коричневого цвета, а Бром — черненький.

Антон Павлович очень любил этих ласковых собачек и часто вел с ними уморительные разговоры. Выйдет, бывало, на террасу, только сядет на ступеньки — Хина и Бром сразу к нему. Брат возьмет и обернет длинные уши Хины кругом ее мордочки и кончики их сожмет под «подбородком». Получалась забавная сморщенная рожица, как будто старуха в платке... Дальше начинался разговор с Хиной Марковной — «страдалицей». Антон

Павлович убеждал ее, что она больна, и уговаривал ее «лечь в больницу».

— Вам ба там ба полегчало ба-б...

Эта фраза в нашей семье потом стала вроде нарицательной и шутливо использовалась в соответствующих случаях.

В другой раз Антон Павлович, показывая на длинное распластанное тело Хины с животом, почти касающимся земли, с коротенькими лапками, вдруг с серьезным видом начнет уверять, что эта порода собак произошла от скрещивания простой дворняжки с крокодилом! Особенно доставалось от таких «поучений» молоденькой, наивной Танечке Щепкиной-Куперник, которая всерьез принимала подобные вещи, поскольку их говорил сам Антон Павлович!

Как-то Бром стал проявлять интерес к одной из наших дворняжек, и Антон Павлович вел с ним «серьезный разговор», упрекая его, как же это так он «влюбился в мадмуазель Мерилиз» и заставляет страдать свою супругу Хину Марковну! Я до сих пор не забываю той ласковой шутливой нежности, с какой Антон Павлович обращался с этими чудесными собачками. Кстати, когда их за что-нибудь наказывали, они отлично понимали, за что, и по-настоящему плакали.

Спустя несколько лет Н. А. Лейкин подарил Антону Павловичу двух великолепных собак из породы лаек, тоже самку и самца. Белые, пушистые, со стоячими ушами, они были изящны и красивы. С нами они были очень ласковы, во дворе же — злы и никого из посторонних не пропускали. Самочка называлась у нас Белка, а самец — Нансен, но Антон Павлович всегда его звал по-своему — Жулик. Так два имени за ним и было. Однажды Нансен чем-то заболел и в конце концов околел, а вскоре за ним, по-видимому от той же болезни, околела и лаечка. Это было в отсутствие Антона Павловича (он был в Ялте), и я с грустью сообщала ему об этом в своих письмах.

Уже перед самым нашим отъездом из Мелихова на постоянное жительство в Ялту околела любимица брата Хина. Ее искусала одна из наших дворовых собак, имевшая щенят и очень злая в ту пору. Так не повезло нам с собачками, подаренными Лейкиным, и в Ялту был увезен только один Бром.

Надо сказать, что Антон Павлович всегда любил животных. Кстати, в известном рассказе Антона Павловича «Каштанка» кот назван Федором Тимофеевичем по имени кота, жившего у нас. Еще во времена студенчества Антона Павловича, когда мы жили в одной из быстро менявшихся квартир, он как-то принес из холодной уборной случайно забредшего туда котенка. Когда он подрос, Антон Павлович назвал его Федором Тимофеевичем. В конце концов из него вырос солидный, красивый кот. Антон Павлович придет, бывало, усталый из университета, ляжет после обеда отдохнуть на диван, положит кота к себе на живот и, поглаживая, говорит:

— Кто бы мог ожидать, что из нужника выйдет такой гений!..

Эту фразу Антон Павлович потом употреблял в переносном смысле и в других случаях, когда в шутку хотел сказать о чем-то приятном, случившемся неожиданно. Эта фраза иногда встречается и в его письмах.

* * *

Если раньше Антон Павлович занимался врачебной деятельностью преимущественно летом, во время дачной жизни, то в Мелихове он был занят медицинской практикой круглый год. Выше я уже говорила, как плохо в царской России обеспечивалось крестьянство медицинской помощью. Поэтому, как только в Мелихове и в других окрестных деревнях разнеслась весть, что новый хозяин мелиховской усадьбы — врач, крестьяне, вначале, правда, несмело, стали приходить в нашу усадьбу и обращаться к Антону Павловичу со своими болезнями. Когда же им стало известно, что мелиховский доктор принимает всех, лечит и даже дает еще готовые лекарства, причем все это совершенно бесплатно, — к нему начали обращаться больные из всех окрестных деревень и сел.

В сущности, у нас в Мелихове образовался настоящий больничный приемный пункт, или, как его назвали бы теперь, — амбулаторный прием больных. Антон Павлович установил приемные часы утром. И вот ежедневно чуть свет больные уже сидели во дворе усадьбы в ожидании начала приема. Из других деревень многие приезжали на лошадях, запряженных в телеги. Антон

Павлович вел регистрацию больных, и по записям видно, что больные приезжали к нему из деревень, отстоящих от Мелихова за двадцать — двадцать пять верст.

Принимал больных Антон Павлович обычно около сеней черного хода мелиховского дома. Я помогала ему вести прием, была у него вроде ассистентки: помогала делать перевязки, несложные хирургические операции. На моей же обязанности лежало выдавать крестьянам назначенные братом лекарства. У нас дома была специальная аптечка для этого. Шкаф с лекарствами висел на стене в сенях парадного хода.

Помимо приема в усадьбе, Антону Павловичу приходилось много ходить по крестьянским избам к тяжелобольным, а также разъезжать по другим селам и деревням. Иной раз его поднимали с постели ночью то к роженице, то к больному, которому необходимо было оказать немедленную помощь.

С приближением лета в первый год нашей жизни в Мелихове в Серпуховском уезде появилась угроза холерной эпидемии. Антон Павлович принял на себя обязанности земского санитарного врача. В его участок входило двадцать пять деревень и мужской монастырь Давидова пустынь, и, кроме того, в его ведении были еще две земско-фабричных амбулатории в селах Крюкове и Угрюмове.

Все лето и осень 1892 года Антон Павлович почти не занимался литературной работой, а разъезжал по своему участку, лечил, устраивал больницы, противохолерные бараки, читал крестьянам лекции о профилактике во время эпидемии; будучи членом различных комиссий, членом серпуховского уездного санитарного совета, Антон Павлович участвовал во всех заседаниях, бывал на осмотрах школьных и фабричных помещений и т. д. Работы у него было тьма. Как он сам писал в одном из писем: «Назначен холерным врачом от уездного земства (без жалованья). Работы у меня больше чем по горло. Разъезжаю по деревням и фабрикам... Дано мне 25 деревень, а помощника ни одного».

Помимо исполнения прямых обязанностей врача, Антону Павловичу приходилось объезжать помещиков, купцов, фабрикантов и просить у них пожертвований средств на проведение противохолерных мероприятий, на организацию больниц и бараков. Это была очень не-

благодарная работа. Брату приходилось порой унижаться, чтобы выпросить у толстосумов какие-то гроши на общее народное дело. Находились такие богатые соседи, которые не понимали общественного, общенародного значения дела, ради которого обращался к ним с просьбами Антон Павлович, и отказывали ему. Так, например, архимандрит, настоятель монастыря, отказался предоставить помещение для организации больничного пункта, а по поводу возможных заболеваний тех, которые живут в его монастырской гостинице, заявил, что они состоятельные и сами заплатят Антону Павловичу! Подобные люди глубоко возмущали брата, и он раздраженно отвечал им, что он человек богатый и в плате не нуждается!..

В итоге принятых общественностью мер холера не приняла в Серпуховском уезде характера широкой эпидемии. В нашем районе холерных заболеваний вообще не было, на соседнем участке, в тридцати верстах от Мелихова, шестнадцать человек заболело холерой, но и то с более или менее благополучным исходом — смертельных случаев было только четыре.

Мелиховский противохолерный врачебный участок был закрыт 15 октября. Серпуховский санитарный совет в одном из своих последующих заседаний постановил: «Благодарить врача А. Чехова за его бескорыстное и полезное участие в деле борьбы с угрожавшею Серпуховскому уезду холерною эпидемией».

Несмотря на то что брат очень уставал, выполняя летом свои врачебные обязанности, он был доволен своей работой. Он всегда любил свою профессию врача, хотя порой и ворчал на нее, когда его одолевали больные, особенно при срочных ночных вызовах или когда ему приходилось в непогоду, распутицу совершать утомительные поездки в соседние деревни.

В следующий год летом холерная эпидемия повторилась, и Антон Павлович вновь был участковым врачом, опять «ловил холеру за хвост», по его шутливому выражению. На этот раз эпидемия подходила совсем близко, и Антон Павлович все время был настороже и ни на один день не отлучался из Мелихова, даже и по своим делам в Москву — «холерная должность» не пускала, как он говорил. Поздней осенью эпидемия

затихла, и противохолерный участок брата опять был закрыт.

Все годы нашей жизни в Мелихове Антон Павлович не переставал заниматься медицинской работой, и лишь собственное тяжелое заболевание в дальнейшем заставило его прекратить врачебную деятельность. За свою работу врачом Антон Павлович пользовался у крестьян большим уважением и любовью. Они ценили «своего» доктора, всегда были приветливы со всей нашей семьей и оказывали нам всяческое внимание. По большим праздникам они непременно приходили поздравлять нас. «Мелиховские мужики и бабы ходят с поздравлениями. Здесь очень ласковый народ», — сообщал в одном из писем Антон Павлович.

* * *

Было еще одно большое дело, сделанное Антоном Павловичем для крестьян, за что они его уважали, — это постройка школ в деревнях и селах.

Сейчас, в наше время, трудно себе представить, особенно молодежи, в каком жалком, убогом положении находились сельские школы в дореволюционной России. Сейчас в Советском Союзе нет такого села, где бы не было начальной школы, почти всюду есть средние школы-семилетки, а в крупных районных селах — и десятилетки, то есть по-старому — гимназии. А в то время, о котором я вспоминаю, в конце XIX века, самые простые начальные школы с одним сельским учителем были даже не во всех волостях. Крестьянским детям многих деревень приходилось ходить по многу верст в соседние села, имеющие школы. А о средней школе-гимназии или даже прогимназии в деревне просто странно было и подумать тогда. Да и те начальные школы, которые находились в близлежащих к Мелихову селах, влачили жалкое существование в непригодных для школьных занятий избах. Отсутствовали школьные принадлежности, пособия, не было элементарных удобств. Учителям платили такие гроши, что семейные буквально нищенствовали. Я приведу описание школы в селе Крюкове, сделанное Антоном Павловичем Серпуховскому санитарному совету в одном из его медицинских отчетов по Мелиховскому участку:

«Из школ моего участка мне приходилось наблюдать только одну — в с. Крюкове. Об ее жалком состоянии я уже имел честь докладывать Совету. Теснота, низкие потолки, неудобная, унылая печь, стоящая среди классной комнаты, плохая, старая мебель; вешалки для верхнего платья за неимением другого места устроены в классной комнате; в маленьких сенях спит на лохмотьях сторож, и тут же стоит чан с водой для учеников; отхожее место не удовлетворяет даже самым скромным требованиям гигиены и эстетики. Учитель с женой помещается в одной небольшой комнате...» Вот почему Антон Павлович пришел однажды к выводу, что в селах нужно строить новые школы.

В конце 1894 года брат был утвержден попечителем Талежской сельской школы. Он добросовестно выполнял эти общественные обязанности: заботился о школе, ездил туда на экзамены, оказывал школе материальную помощь. Но само помещение школы совершенно не соответствовало своему назначению. Антон Павлович возбудил ходатайство перед земской управой о постройке нового здания школы и представил для утверждения план постройки. Так как у земской управы для этой цели средств не хватало, Антон Павлович принял на себя часть расходов. Крестьяне взялись бесплатно возить по зимнему пути лес и другие строительные материалы. Мне пришлось помогать брату и выполнять его поручения по наблюдению за постройкой.

К началу учебного сезона 1896 года школа была открыта. Как полагалось по тем временам, было произведено освящение нового здания. Это было сделано очень торжественно, молебен служили трое священников, присутствовало много земских деятелей, вся наша семья и наши гости. По окончании молебна крестьяне в благодарность поднесли Антону Павловичу образ, две серебряные солонки и четыре хлеба на блюдах — по хлебу от тех деревень, из которых дети должны были учиться в новой школе (талежские, бершовские, дубеченские и шелковские). Один крестьянин-старик сказал очень хорошую теплую речь, в которой отметил заслуги Антона Павловича перед крестьянами. Все это — и подношение и речь — очень тронуло брата.

Талежская школа во всем Серпуховском уезде с тех пор стала лучшей школой. Антон Павлович никогда не

переставал поддерживать ее и заботиться о ней и об ее учителе.

В начале 1897 года Антон Павлович решил строить еще одну школу, в селе Новоселки. Дело было так. Пришли к нему как-то крестьяне в качестве депутатов от Новоселок и обратились с просьбой построить школу в их селе, предложили на строительство собранные ими триста рублей. Все это было трогательно с их стороны, и Антон Павлович не мог им отказать, согласился и опять взялся за постройку. Земство отпустило тысячу рублей, всего же нужно было на строительство школы больше трех тысяч. Таким образом, опять более половины этой суммы Антон Павлович должен был добавить из своих средств. Правда, общественность города Серпухова тоже приняла участие в этом деле, и в феврале там устроили любительский спектакль в пользу новоселковской школы, но это было, конечно, пустяковым денежным взносом. Весной этого года, когда Антон Павлович тяжело заболел, я опять много помогала ему по наблюдению и руководству строительством школы.

В середине июля новоселковская школа была открыта. На освящении школы крестьяне и здесь поднесли Антону Павловичу образ с надписью (таковы были традиции) и хлеб-соль на резном деревянном блюде, на котором стояло: «Чем хата богата, тем и рада» [1].

Нужно сказать, что в это время Антон Павлович был уже и попечителем чирковской сельской школы, и «ответственным лицом» открывавшейся при хатунском земском училище бесплатной народной библиотеки, и помощником серпуховского уездного предводителя по наблюдению за начальными народными училищами. Такое широкое участие в делах народного образования, а также медицинская деятельность отнимали у Антона Павловича много времени, которое ему нужно было для литературной работы.

* * *

— Знаешь, Антоша, мне хочется самой, своим трудом построить в Мелихове новую школу. Можно мне это сделать? — спросила я однажды у брата.

---

[1] Все это находится сейчас в ялтинском Доме-музее А. П. Чехова.

— Гм... Ну что ж, попробуй! — ответил он.

И я начала действовать. Первым долгом я сама составила план школы и попросила брата утвердить его в земстве. Затем я стала искать средства. Осенью 1897 года я собрала в своей усадьбе урожай яблок и крыжовника и продала его. Вырученная сумма, рублей двадцать пять — тридцать, конечно, была слишком мала. Потом я зашла как-то в Москве к Левитану и попросила подарить мне два его небольших этюда. Он подарил. Я увезла их в Мелихово и устроила там лотерею среди соседей, друзей и знакомых. Левитан тогда уже был знаменит, и я довольно легко распространила все свои билеты. Затем картины были разыграны. Кто их выиграл — теперь уж не помню, да это и не важно. Важно то, что благодаря этой моей «коммерческой» операции я получила для строительства школы уже более солидную сумму денег. Но и этого все же было очень мало. Как показал опыт, школьные здания не обходились дешевле трех или около трех тысяч рублей.

Два года я собирала деньги. Со своей подругой Дуней Коновицер (Эфрос) я устраивала в Москве благотворительные спектакли и концерты в пользу школы, принимала пожертвования, и... все же не хватало. Зимой 1899 года, когда начиналось строительство, я торговалась с поставщиками за каждый кубик песку и камня, с подрядчиком Егорышевым — за стоимость работ и т. д. Но свое строительство я так бы и не закончила, если бы Антон Павлович не подарил мне специально на школу тысячу рублей, а летом, живя в Мелихове, он помогал мне и заканчивать постройку. Только благодаря этому мелиховская школа была закончена и осенью 1899 года начала свою работу и продолжает и по сей день.

Говоря о той помощи, которую Антон Павлович всегда оказывал школам и учителям, нельзя не упомянуть и об отношении его к школьникам. Я уже несколько раз говорила о большой любви брата к детям. Не были исключением и дети крестьян. Брат постоянно заботился о них, к праздникам делал всем подарки. Однажды, живя за границей, он специально писал мне: «Узнай, сколько в талежской школе мальчиков и девочек, и, посоветовавшись с Ваней, купи для них подарков к рождеству. Беднейшим валенки; у меня в гардеробе есть шарфы, оставшиеся от прошлого года, можно и их

пустить в дело. Девочкам что-нибудь поцветистее; конфет не нужно».

Видя в безграмотности простого народа причину его темноты, отсталости и многих бед, Антон Павлович стремился всячески содействовать обучению и каждого взрослого неграмотного человека. У нас, например, в Мелихове одно время жили две неграмотные горничные — Анюта и Маша. Антон Павлович уговорил их начать учиться грамоте. В зимние вечера он учил их сам и меня привлекал. Это дало повод нашему отцу сделать в своем дневнике такую запись в полуюмористическом стиле: «У нас теперь открылась школа, учатся читать грамоте домашняя прислуга Анюта и Машутка. Преподают им педагоги Маша и Антоша».

Или, например, случай с официантом из Большой Московской гостиницы С. И. Бычковым, которому Антон Павлович советовал читать больше, учиться, развиваться, дарил ему свои книги. И тот впоследствии стал даже стихи пописывать [1]. А сколько брат специально приобретал популярных книг и давал их читать нашим мелиховским работникам! И как, бывало, радовался он, когда заставал в людской коллективное чтение; один читал вслух, а остальные слушали.

К общественной работе Антона Павловича относится и участие его во Всероссийской народной переписи 1897 года. Эта сложная и трудная работа могла быть проделана с требующейся точностью только при активном участии местной интеллигенции.

Почти весь январь месяц 1897 года брат занимался делами переписи. Он заведовал переписным участком. Ему выделили целую волость с шестнадцатью деревнями, в его распоряжении было пятнадцать счетчиков, среди которых, писал Антон Павлович, «я буду на манер ротного командира». Он собирал своих счетчиков, инструктировал, учил их, читал им целые лекции.

В Мелихове Антон Павлович сам ходил по избам и переписывал население, а потом вечерами, бывало, жаловался, что болит голова: из-за своего высокого роста он с непривычки стукался головой о притолоки в низких

---

[1] Кстати, по свидетельству самого Бычкова, он в известной мере послужил прототипом образа Чикильдеева в рассказе «Мужики».

крестьянских избах. У нас в гостиной весь рояль был завален материалами переписи, и мы боялись их трогать, чтобы не перепутать переписные листы разных форм. У брата был специально выданный ему полотняный портфель с надписью «Перепись 1897» [1].

Антон Павлович очень утомился во время проведения переписи, к тому же он не прекращал и литературной работы. В начале февраля перепись наконец была закончена, и он вздохнул свободнее.

В середине лета Антон Павлович за проведение переписи был награжден бронзовой медалью.

Между прочим, я не помню теперь, когда и за что Антон Павлович получил еще орден Станислава 3-й степени (должно быть, за общественную школьную работу в Серпуховском уезде в мелиховский период нашей жизни). Но я отлично помню, как однажды он пришел ко мне в комнату и с серьезным видом говорит:

— Маша, я должен тебя попросить, чтобы ты распорядилась подрезать внизу сзади мои пиджаки.

— Зачем?

— Я получил орден Станислава... Ну вот, чтобы было видно, что я ношу его...

Я не могла ответить Антону Павловичу таким же серьезным видом и громко расхохоталась...

Этот орден я хранила до самой революции в своем банковском сейфе. Куда он потом девался — не знаю.

* * *

Как весело бывало у нас летом! Сколько народа приезжало к нам!

Постоянными гостями у нас в Мелихове по-прежнему бывали наши старые друзья — музыканты М. Р. Семашко и А. И. Иваненко.

Приезжал в Мелихово и Левитан и жил по нескольку дней. В первый же его приезд Антон Павлович ходил вместе с ним на охоту. Однажды они принесли вдвоем одного вальдшнепа, да и тому были не рады: вальдшнеп был Левитаном только подстрелен, и его нужно было добивать, а на это ни один из «охотников» не был способен...

---

[1] Находится сейчас в экспозиции Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.

Нечто невообразимое творилось у нас в усадьбе, когда приезжал Владимир Алексеевич Гиляровский. Это был литератор, поэт, журналист, за которым в те времена шла слава «короля репортеров», человек с любопытной биографией. В годы юности и молодости он скитался по России и испробовал массу профессий — от волжского бурлака, крючника, пожарника до циркача, бродячего артиста и объездчика степных лошадей. Антон Павлович познакомился с ним в Москве в первые годы своей литературной деятельности, когда Гиляровский тоже начинал сотрудничество в юмористических журналах. Он бывал у нас еще и в московских квартирах. Одна из первых книг Гиляровского, «Трущобные люди», написанная по наблюдениям, сделанным им во время его жизни среди бурлаков, грузчиков, городской бедноты, была не допущена к выходу в свет и сожжена царской цензурой в 1887 году как вредная. Такое событие было довольно редким явлением даже и в те времена и создало Гиляровскому широкую популярность.

Гиляровский обладал огромной физической силой: мог ломать лошадиные подковы, гнуть железные бруски, подымать большие тяжести. Страшно шумный, без умолку говорящий, все время в действии — он своим приездом будоражил всю усадьбу. Он мог выпить какое угодно количество водки, и ничего с ним не делалось, оставался все таким же. «Был у меня Гиляровский, — писал Антон Павлович в письме об одном из посещений Мелихова Владимиром Алексеевичем. — Что он выделывал, боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна. Говорил он не переставая».

Вместе со всем этим он был душевным, деликатным человеком и всегда любил Антона Павловича, который тоже платил ему теплой привязанностью.

В ялтинском Доме-музее Чехова в одной из комнат стоит высокое мягкое кресло — дружеский подарок В. А. Гиляровского Антону Павловичу на новоселье в Ялте. Там же был один случай, когда Гиляровский проявил трогательную заботу о здоровье Антона Павловича. Дело было так. В кабинете ялтинского дома у Антона Павловича сидели В. А. Гиляровский и какой-то посетитель, куривший сигару, несмотря на то что на стене висел написанный рукою Антона Павловича не-



П. И. Чайковский.

1889 год.

большой плакатик «Просят не курить». Комната постепенно наполнилась дымом, и Антону Павловичу с его больными легкими становилось трудно дышать. По своей деликатности он, как всегда, ничего не говорил курящему. Наконец он закашлялся. Возмущенный Гиляровский сорвался с места, снял со стены плакатик и быстро вышел из комнаты. Сел на ожидавшего его извозчика и поехал в местную типографию. Там он велел немедленно, при нем же, набрать крупным шрифтом «Просят не курить» и сделать оттиск. Затем он вернулся в кабинет Антона Павловича и демонстративно прикрепил новый плакат «Просят не курить» на прежнем месте. Висит он там и до сего времени.

Как-то во время одного из своих приездов в Мелихово Владимир Алексеевич подарил Антону Павловичу свою книгу стихов «Забытая тетрадь» с таким факсимиле на обложке:

Пройдут года... Откроешь ты
Тетрадь случайно пред собою,
И пусть кипучею волною
Воскреснут с прелестью былою
Далекой юности мечты!

Это было в январе 1894 года. С тех пор прошло шестьдесят с лишним лет. И вот теперь я вспоминаю «кипучую волну» — милого дядю Гиляя — с теплым, признательным чувством за его нежные и дружеские отношения к Антону Павловичу.

* * *

Летом 1892 года в Мелихове гостил П. М. Свободин. Приехал он сильно изменившимся по сравнению с тем, каким он бывал у нас раньше. В это время он уже болел грудной жабой и не мог быть прежним веселым Полем Матьясом.

После его отъезда Антон Павлович так обрисовал его: «Похудел, поседел, осунулся и, когда спит, похож на мертвого. Необыкновенная кроткость, покойный тон и болезненное отвращение к театру. Глядя на него, прихожу к заключению, что человек, готовящийся к смерти, не может любить театр». И действительно, через три с половиной месяца, в первых числах октября 1892 года,

П. М. Свободин скоропостижно скончался на сцене Александринского театра во время спектакля «Шутники» Островского, исполняя роль Оброшенова. Одним верным другом, искренно любившим Антона Павловича, стало меньше. «Я потерял в нем друга, а моя семья — покойнейшего и приятнейшего гостя», — писал Антон Павлович В. М. Лаврову.

Свободин в последний год своей жизни принимал деятельное участие в примирении Антона Павловича с редакцией журнала «Русская мысль». История этого дела была такова.

Еще до отъезда Антона Павловича на Сахалин в мартовской книжке журнала «Русская мысль» за 1890 год в библиографическом отделе была помещена критическая заметка без подписи, в которой были такие слова: «Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых...» и т. д. Антон Павлович был возмущен подобной клеветой на него и написал редактору-издателю журнала В. М. Лаврову письмо, в котором, в частности, говорилось:

«На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа.

Беспринципным писателем, или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был.

Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек...

Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые от-

ношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно».

После этого в течение двух лет всякие отношения Антона Павловича с редакцией «Русской мысли» и ее редактором-издателем В. М. Лавровым были прекращены.

Свободин много раз уговаривал Антона Павловича помириться с Лавровым и начать печатать свои произведения в «Русской мысли». Свободин был также дружен и с В. М. Лавровым и в свою очередь настаивал перед ним, чтобы тот извинился перед Чеховым за ошибку, допущенную в журнале два года назад. В середине лета 1892 года В. М. Лавров прислал брату такое письмо:

«Многоуважаемый Антон Павлович! Наш общий друг П. М. Свободин говорил мне о Вашем намерении дать в «Русскую мысль» свой рассказ. Конечно, Ваше произведение найдет самый радушный прием на страницах «Русской мысли» и, кроме того, раз навсегда покончит печальное недоразумение, возникшее между нами два года тому назад. Тогда, по горячим следам, я собирался отвечать на Ваше письмо, хотел было уверить Вас, что у меня, да и вообще у всех нас, не было ни малейшего намерения проявить свое недоброжелательство по отношению к Вам, как к писателю и человеку, что редактируемый мною журнал всегда с величайшим сочувствием следил за Вашею литературною деятельностью и если отмечал в ней какие-нибудь недостатки, то руководствуясь лишь крайним своим разумением, — но, к сожалению, не успел этого сделать: Вы уже уехали за границу. Теперь, пользуясь представившимся мне случаем, я спешу и считаю за особое удовольствие, как горячий поклонник Вашего таланта, сказать то, что помешали мне сказать не зависящие от меня обстоятельства, и просить Вас верить искренности моего уважения к Вам».

Антон Павлович был удовлетворен и сообщил в одном из писем Лике Мизиновой: «У меня сенсационная новость: «Русская мысль» в лице Лаврова прислала мне письмо, полное деликатных чувств и уверений. Я растроган, если б не моя подлая привычка не отвечать на письма, то я ответил бы, что недоразумение, бывшее у нас два года назад, считаю поконченным. Во всяком случае, ту либеральную повесть, которую начал

при Вас, дитя мое, я посылаю в «Русскую мысль». Вот она какая история!» Упоминаемая повесть — «Рассказ неизвестного человека», опубликованный во второй книжке «Русской мысли» за 1893 год.

Так по инициативе П. М. Свободина были восстановлены отношения Антона Павловича с редакцией «Русской мысли», которые в дальнейшем перешли в самые тесные дружеские и деловые связи, продолжавшиеся уже до конца жизни Антона Павловича.

Много народу бывало у нас в Мелихове и зимой, особенно в рождественские праздники. Веселья в эти дни было хоть отбавляй. У нас устраивались костюмированные вечера, приезжали ряженые — кто-нибудь из соседей. И сами мы иногда тоже ездили ряжеными.

Однажды на святках мы собрались поехать ряжеными в село Васькино к соседу В. Н. Семенковичу, а после него и еще к кое-кому. Вырядились в самые причудливые костюмы. К этому времени младший брат Миша был уже женат. Его молоденькая жена Ольга Германовна оказалась прекрасной артисткой. Она нарядилась оборванцем, взлохматила волосы, нацепила картуз и совершенно преобразилась в босяка. Поплевывая через угол рта, хриплым испитым голосом она изображала просящего «на пропитание». Антон Павлович, увидев это, присел к столу и быстро написал ей такое просительное письмо:

«Ваше Высокоблагородие. Будучи преследуем в жизни многочисленными врагами и пострадал за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот ваших келькшос благородному человеку.

Василий Спиридонов Сволочёв».

Это письмо Ольга Германовна должна была подавать В. Н. Семенковичу и другим знакомым, куда мы собирались заезжать.

Нечего и говорить, что эффект нашего появления у соседей с босяком и его письмом был исключительный.

Кстати, Владимир Николаевич Семенкович приходился племянником известному русскому поэту А. А. Фету. Со слов Семенковича Антон Павлович запи-

сал в своем дневнике: «Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался».

Семенковичи часто бывали у нас, так же как и мы нередко ездили к ним. Жена Семенковича Евгения Михайловна отлично играла на рояле, и Антон Павлович, очень любивший серьезную музыку, порой специально ездил к ним послушать бетховенские сонаты.

Часто нашим посетителем был князь Сергей Иванович Шаховской (владелец имения Васькино до продажи его Семенковичу) — симпатичный молодой человек очень высокого роста и крепкого сложения, страшно шумный, много и громко говоривший. Сергей Иванович приходился внуком декабристу кн. Ф. П. Шаховскому и говорил нам, что у него хранилось много писем декабристов, доставшихся ему по наследству. Шаховской служил земским начальником, и поэтому у него с Антоном Павловичем были и общие дела, когда брат заведовал противохолерным участком и строил школы.

С семьей Шаховского мы долго находились в дружбе.

Иногда бывал у нас владелец другого соседнего имения — Курниково — Н. П. Гладков.

«Интеллигенция здесь очень милая и интересная. Главное — честная. Одна только полиция несимпатичная», — писал Антон Павлович в одном из мелиховских писем.

Мало симпатичным человеком был и наш самый ближайший сосед И. А. Вареников, имевший тяжелый характер и проявлявший иногда типично помещичье самодурство.

Иногда летом, да и зимой тоже, в Мелихово наезжало так много народу, что гостей буквально некуда было укладывать спать. Мало того, что для этого были использованы гостиная и пушкинская комната, гостей приходилось размещать на ночь и в прихожей, и в коридоре, и даже в предбаннике нашей бани во дворе. У нас постоянно бывали, то есть приезжали, жили два-три дня, уезжали, а затем снова приезжали, такие наши близкие друзья и «приятные» гости (в отличие от «неприятных», о которых скажу дальше), как Л. С. Мизинова, И. Н. Потапенко, Т. Л. Щепкина-Куперник,

А. И. Иваненко, М. Р. Семашко, В. А. Гиляровский, двоюродный брат А. А. Долженко, О. П. Кундасова, Д. М. Мусина-Пушкина, В. А. Гольцев и многие другие. Часто бывал брат Иван Павлович с женой Софией Владимировной, свадьба которых, кстати, была у нас в Мелихове в июле 1893 года. Иногда приезжали гости из более дальних краев: брат Александр Павлович из Петербурга, моя подруга Н. М. Линтварева из Сум, А. И. Смагин из Полтавской губернии, двоюродный брат Г. М. Чехов из Таганрога и другие.

И вот бывали дни, когда в одно время собиралось до десятка и больше гостей, которых нужно было накормить, напоить и куда-то разместить. А тут еще неожиданно появлялись гости из «неприятных». К ним относились люди, мало знакомые нам (порой и совсем незнакомые), которые заезжали «по пути» к писателю Чехову или к земскому деятелю Чехову. Иные заезжали так, от нечего делать, познакомиться, поболтать, передохнуть, слыша о гостеприимстве чеховской семьи. Антон Павлович переносил просто пытки, но из-за своей деликатности не подавал вида. Иной раз некоторые «гости» так и уезжали безызвестными для нас людьми. В Мелиховском дневнике нашего отца можно встретить такие записи: 18 апреля — «В 9¾ ч. Слава всевышнему, уехали две толстые дамы»; 24 апреля — «Коновицер приехал, пообедал и уехал. Вечером приехал Н. И. Коробов. Был крикун Семенкович»; 25 апреля — «Слава богу, уехал Глуховский».

«Уехали две толстые дамы...» — я и посейчас не знаю, кто были эти толстые дамы, откуда и зачем к нам приезжали... Причем такой наплыв гостей бывал постоянно — одни уезжали, вместо них приезжали другие.

Как-то в Москве в апреле 1894 года я получила от брата письмо из Мелихова, в котором он писал мне: «Боже, как мне хочется писать! Уже три недели прошло, как я не знаю одиночества». Вот почему Антон Павлович пришел однажды к решению построить в саду усадьбы флигель, в котором он мог бы уединяться от всяких гостей и спокойно работать. Кроме того, в этом флигеле на ночь можно было бы и гостей размещать. Я приветствовала эту мысль брата.

Недалеко от дома, в саду, Антон Павлович приступил к постройке небольшого флигеля. В середине лета

1894 года домик был уже готов. Он получился хорошеньким снаружи и уютным внутри, но очень маленьким. В нем были две комнатки: одна побольше — кабинетик брата, другая — совсем маленькая — спальня, куда входили кровать, столик и стул. Перед этими комнатами имелась крошечная прихожая. При входе были построены холодные сени и над ними балкон, с которого был ход на чердак, получившийся очень высоким из-за высоко поднятой островерхой крыши.

С постройкой флигеля брат мог спокойно работать и при гостях: все уже знали, — если Антон Павлович находится там, то ему мешать нельзя. В этом флигеле братом была написана летом 1895 года известная пьеса «Чайка» и многие другие его произведения 1894—1898 годов. В холодное время года комнаты флигеля обогревались печкой, и мы с тех пор многих гостей и летом и зимой укладывали там спать. В зимние дни, когда бывали большие снегопады и метели, дорожку, соединяющую большой дом с флигелем, так сильно заносило снегом, что приходилось откапывать проход, и получался своего рода тоннель, по которому и ходили к флигелю. Этим тоннелем обычно «заведовал» наш отец, он сам его подчищал, следил за ним.

Флигель в Мелихове сохранился до сего времени, в нем теперь создан небольшой мемориальный музей А. П. Чехова.

* * *

Как-то в Москве, когда мы жили еще на Садовой Кудринской в доме Корнеева, в один из весенних солнечных дней я расчищала от снега дорожку у дома, помогая весенней оттепели. В это время к воротам подъехал извозчик в шикарных санях с полостью. Из них вышел небольшого роста элегантный мужчина с черными бакенбардами, в цилиндре и в шинели с меховым воротником.

Проходя мимо меня, он спросил, указывая на наше парадное:

— Это к Чехову?

— Да, — ответила я, страшно сконфуженная своим видом, совсем не подходящим для приема гостя.

Это был Владимир Иванович Немирович-Данченко, с которым мне потом предстояло почти полвека быть

в самых лучших дружеских отношениях. С Антоном Павловичем Немирович-Данченко был знаком еще раньше по литературным кружкам.

Познакомившись с Владимиром Ивановичем, я сразу же почувствовала большое обаяние этого человека, образованного, умного, с привлекательной внешностью. Он был тогда уже популярным писателем и драматургом, к тому же страстно любившим театр и сценическое искусство. С Антоном Павловичем их связывали общие интересы. Они чувствовали взаимную симпатию и тяготение друг к другу. В дальнейшем они очень подружились и перешли на «ты». К тому же они были почти ровесники (Немирович старше Чехова на два года).

Вл. И. Немирович-Данченко бывал у нас и в Мелихове. Он приезжал вместе с женой Екатериной Николаевной, и я помню, как мы устраивали их в кабинете Антона Павловича. В разговорах Владимир Иванович всегда подчеркивал свою веру в талант Антона Павловича и все советовал ему написать для театра настоящую пьесу (в то время брат для сцены писал все больше водевили и одноактные шутки). Об этом же Антону Павловичу много раз говорил и общий их друг А. И. Сумбатов-Южин. Послушавшись этих уговоров, Антон Павлович и написал вскоре в Мелихове «Чайку», о которой речь будет идти впереди.

* * *

Всю жизнь Антон Павлович больше всего любил проводить свой досуг на лоне природы за двумя занятиями: рыбной ловлей и собиранием в лесу грибов. И это, должно быть, не случайно. В это время у Антона Павловича интенсивно работала мысль и он обдумывал темы, сюжеты, создавал образы. В такие моменты он всегда должен был чем-то заниматься: то собирал в саду сухие листочки, веточки, былинки травы и аккуратно складывал их в одном месте, то увязывал стопочками почтовые марки. Позднее, в Ялте, где не было ни рыбной ловли, ни грибов, брат подолгу раскладывал на столе карточные пасьянсы. В это время мысли его были заняты только работой. Я уже знала, что в таких слу-

чаях к нему лучше не обращаться ни с какими вопросами и не мешать ему обдумывать новое произведение.

Когда Антон Павлович собирался писать какую-нибудь новую серьезную вещь, он всегда находился в особенном состоянии, и я это угадывала. У него менялась походка, голос, появлялась некоторая рассеянность, он часто отвечал невпопад на вопросы. Вообще он в такое время выглядел необычно. Это продолжалось, пока он еще не начинал писать. С этого же момента он становился прежним. Видимо, сюжет и образы уже полностью созрели у него и состояние творческого напряжения прекращалось.

Продолжаю о Мелихове. Там с середины лета Антон Павлович каждый день начинал ходить в лес за грибами. Грибы мы собирали всей семьей. Бывало это обычно так. Сначала утром, раньше всех, за грибами шла наша мать. Она приносила из нашего «четырехугольника» (так назывался в нашей усадьбе уголок, где по одну сторону стояли березы, по другую росли ели) крупные белые грибы. Она могла собирать только такие.

Потом, попозднее, за грибами шел Антон Павлович обязательно в сопровождении Хины и Брома. Они на прогулках всюду следовали за братом и особенно любили «помогать» ему собирать грибы: найдет брат гриб, сорвет — Хина и Бром тут как тут, тычут своими мордочками и разгребают лапами место, где рос гриб. Для грибов брат с собой брал всегда одну и ту же суровую наволочку — подарок ему одной из поклонниц. На наволочке была вышита надпись: «Спи, почивай, нас не забывай». Антон Павлович в этой наволочке приносил из леса грибы средних размеров, — маленьких он из-за плохого зрения не видел.

Наконец после всех отправлялась я и приносила уже самые малюсенькие (и самые вкусные!) рыжики и белые грибы, которых ни мать, ни Антон Павлович не заметили.

Иногда Антон Павлович ходил собирать грибы и в обществе кого-нибудь из гостей — приятных собеседников. Как-то он ходил вместе с одним французом, профессором университета в г. Бордо Жюлем Легра (Jules Legras). Слова «рыжики» на французском языке нет, так он называл их по-французски «les petites rouges» —

«маленькие красные». Ж. Легра жил тогда летом на даче в соседнем имении Н. П. Гладкова, первым однажды пришел к нам познакомиться и потом бывал у нас запросто. Антон Павлович звал его по-русски Юлием Антоновичем. В дальнейшем он стал одним из первых во Франции переводчиков произведений Антона Павловича на французский язык.

Позднее Жюль Легра рассказал в своей книге, вышедшей во Франции, о встречах с Чеховым. Вот отрывок из этой книги:

«Передо мной высокий тонкий человек, лет тридцати, с длинными волосами, которые он откидывает свободными машинальными жестами с открытого лба. В его пытливом взгляде чувствуется и прямота и лукавство. Он держит себя свободно, но чуть-чуть холодно, зная, конечно, с кем имеет дело, и чувствуя, что я наблюдаю за ним. Но вот первая неловкость встречи исчезла, и мы болтаем о том, что французы знают о России и наоборот...

...Через несколько дней у меня снова явилось желание посетить Антона Павловича. Я должен сознаться, что в нем есть нечто притягательное. На этот раз его прием более радушен. В обращении сквозит товарищеский юмор. Так как несколько дней до моего визита я бродил один, то общество, в котором я мог бы отдохнуть от всего будничного и каждодневного, положительно стало мне необходимо, и я нахожу его здесь, в этой простой обстановке, всю прелесть которой составляет свобода, сквозящая даже в самых банальных проявлениях русской жизни...

...Чехов перешел к литературе от медицины. Он доктор, но прилагает свои знания только летом в деревне, где лечит крестьян. Я всегда предпочитал общество интеллигентных врачей, но когда я встречал среди них литераторов, хороших литераторов, то они быстро завоевывали мою симпатию. Практический смысл и серьезность медицинских наук оставляют неизгладимый след на умственных способностях человека. В продолжение нескольких лет он работает над вопросами и задачами, которые предлагает ему жизнь. Писатель, изучивший медицину, проявляет большую глубину и силу мысли, чем литератор по профессии, так как первый чаще сталкивается с вопросами жизни. Частое

соприкосновение с действительностью придает его произведениям много чуткости и разнообразия. Те, которым приходилось видеть течение и волнения жизни, сохраняют мягкость и терпимость в умозаключениях. Антон Павлович принадлежит к этим последним...»

* * *

Бывали у нас и такие курьезные гости. В письмах Антона Павловича ко мне можно встретить слова: «...а студент все ходит и ходит...» Этим студентом был брат моей подруги Дуни Эфрос, вышедшей потом замуж за адвоката Е. З. Коновицера. Эфрос жил на даче у нашего соседа С. И. Шаховского, а приходил к нам ради нашей горничной Анюты. Анюта была очень красивой и очень талантливой девушкой из мелиховских крестьянок. Привезу я, бывало, из Москвы новое нарядное платье, а дней через пять уже вижу такое же платье на нашей Анюте. «Студент» приходил будто бы к нам. Придет, посидит, поговорит, ради приличия выпьет стакан чаю, потом выйдет в сад. Там он дожидался, когда Анюта освободится, уходил с ней на весь вечер гулять и к нам больше не показывался. На другой день он снова появлялся, разговаривал, пил чай и уходил гулять с Анютой... Чем это у них все закончилось — не знаю.

Вторая наша горничная Маша Цыплакова, тоже очень бойкая девушка, бывало, говорила:

— Уж я такая заразительная, что ни один мужчина передо мной не устоит!

Маша очень долго у нас жила, у нас же вышла замуж, и потом у нее чуть не каждый год появлялись дети.

Со многими из веселых и милых мелиховских крестьянских девушек я была в хороших отношениях. Они почему-то всегда выбирали место для своих хороводов вблизи нашего дома, у его ограды. Помню, как-то однажды под вечер я, Антон Павлович и кто-то из гостей сидели на балконе флигеля. Косые предзакатные лучи солнца ярко освещали лес. Вблизи раздавались хороводные песни девушек, а издали из глубины деревни доносилось пение гуляющих мужиков. И как-то все это — деревня, лес, вечер, заходящее солнце, песни —

напомнило мне музыку Чайковского. Я не выдержала и сказала:

— Слушай, Антоша, прямо как у Чайковского в опере!.. Ты не находишь?

Антон Павлович посмотрел на меня и ничего не ответил. Должно быть, он тоже был весь под впечатлением этого поэтического вечера. Я до сих пор помню мелодии и слова тех песен, которые пели мелиховские девушки на хороводах вблизи нашего дома. Вот, например, после того, как они уже споют все свои шумные песни, частушки и страдания, вдоволь напляшутся, — они переходили на лирические мотивы. Сядут, обнимутся группами и вполголоса задушевно так поют:

Люблю я цветы полевые,
Люблю по полям собирать,
Люблю я глаза голубые,
Люблю по ночам целовать...

Когда я слышала эту песню, я уже знала, что это — конец хоровода. Девушки начинали расходиться по домам. В деревне все замолкало. И лишь время от времени в ночной тишине откуда-то издалека чуть слышно доносилось:

Люблю я глаза голубые...

XI. МОЯ ПОДРУГА ЛИКА

Провожу я как-то урок в своем классе (я служила тогда в гимназии Ржевской уже не первый год) и слышу в соседней комнате голос новой учительницы:

— Медам, тсш!.. Медам, тсш!..

Фраза «медам, тсш!», которой пользовались для того, чтобы навести тишину в классе, была характерна для тех, кто оканчивал тогдашний институт благородных девиц. Выход из соседнего класса был через мою комнату, и после окончания урока я немного задержалась, чтобы посмотреть на новую учительницу. Вижу, идет совсем молоденькая девушка. Это была наша новая учительница в младших классах — Лидия Стахиевна Мизинова, или Лика, как ее потом звали в нашей семье.

Вскоре мы познакомились, а потом и подружились. Возвращаясь из гимназии домой после уроков, мы

с Ликой обычно шли вместе, так как нам было по дороге.

Лидия Стахиевна была необыкновенно красива. Правильные черты лица, чудесные серые глаза, пышные пепельные волосы и черные брови делали ее очаровательной. Ее красота настолько обращала на себя внимание, что на нее при встречах заглядывались. Мои подруги не раз останавливали меня вопросом:

— Чехова, скажите, кто эта красавица с вами?

Я ввела Лидию Стахиевну в наш дом и познакомила с братьями. Когда она в первый раз зашла за чем-то ко мне, произошел такой забавный эпизод. Мы жили тогда в доме Корнеева на Садовой Кудринской. Войдя вместе с Ликой, я оставила ее в прихожей, а сама поднялась по лестнице к себе в комнату наверх. В это время младший брат Миша стал спускаться по лестнице в кабинет Антона Павловича, расположенный в первом этаже, и увидел Лику. Лидия Стахиевна всегда была очень застенчива. Она прижалась к вешалке и полузакрыла лицо воротником своей шубы. Но Михаил Павлович успел ее разглядеть. Войдя в кабинет к брату, он сказал ему:

— Послушай, Антон, к Марье пришла такая хорошенькая! Стоит в прихожей.

— Гм... да? — ответил Антон Павлович, затем встал и пошел через прихожую наверх.

За ним снова поднялся Михаил Павлович. Побыв минутку наверху, Антон Павлович спустился. Миша тоже вскоре спустился, потом поднялся: это оба брата повторяли несколько раз, стараясь рассмотреть Лику. Впоследствии Лика рассказывала мне, что в тот первый раз у нее создалось впечатление, что в нашей семье страшно много мужчин, которые всё ходили вверх и вниз!

После знакомства с нашей семьей Лика сделалась постоянной гостьей в нашем доме, стала общим другом и любимицей всех, не исключая и наших родителей. В кругу близких людей она была веселой и очаровательной. Мои братья и все, кто бывал в нашем доме, не считаясь ни с возрастом, ни с положением, — все ухаживали за ней. Когда я знакомила Лику с кем-нибудь, я обычно рекомендовала ее так:

— Подруга моя и моих братьев...

Антон Павлович действительно очень подружился с Ликой и, по своему обыкновению, называл ее различными шутливыми именами: Жаме, Мелитой, Канталупочкой, Мизюкиной и др. Ему всегда было весело и приятно в обществе Лики. На обычные шутки брата она всегда отвечала тоже шутками, хотя иногда ей и доставалось от него.

Летом 1891 года, когда мы жили на даче под г. Алексиным, сюда к нам приезжала погостить и Лика. Антон Павлович любил компанией гулять по окрестным лесам и лугам. В этих местах рос хороший щавель, и мы ходили все вместе его собирать. Антон Павлович придумал Лике особые обязанности: ей было поручено ходить с корзинкой и брать от нас нарванные пучки щавеля. Как только кто-нибудь соберет достаточный пучок травы, то призывает Лику к себе возгласом: «Счет!»

Откуда мы взяли это слово? В известном московском магазине Мюр и Мерилиза в те времена существовал такой порядок: покупатели ходили по магазину и выбирали товары; стоимость купленных предметов записывалась на особые записки-счета, которые подписывались главным приказчиком, ходившим по магазину. После этого клиент шел в другие отделы и покупал там; это снова записывалось в счет, пока наконец покупки не заканчивались и счет не оплачивался в кассу. Для того чтобы главный приказчик подошел подписать счет-записку, выкрикивали: «Счет!» Требования «счет!» слышались в разных концах магазина, и главный приказчик должен был быстро появляться то тут, то там. Вот это мы в шутку и использовали в Алексине при сборе щавеля с участием Лики.

Появится у меня пучок, я кричу: «Счет!» — Лика подбегает с корзинкой. Затем из другого конца Антон Павлович кричит: «Счет!» — Лика бежит туда; наконец, еще откуда-то кричит Миша: «Счет!» — бедняжка Лика бежит туда. Лика бегала, бегала и, умаявшись, рассердилась и бросила корзинку...

Антон Павлович переписывался с Ликой. Письма его были полны остроумия и шуток. Он часто поддразнивал Лику придуманным им ее мифическим поклонником, называл его Трофимом, причем произносил это имя по-французски — «Trophim». И в письмах так же писал,

например: «Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если Вы умрете, то Трофим (Trophim) застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком...» Или же посылал ей такое письмо: «Трофим! Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за Ликой, то я тебе...» И мне брат писал в таком же роде: «Поклон Лидии Егоровне Мизюковой. Скажи ей, чтобы она не ела мучного и избегала Левитана. Лучшего поклонника, как я, ей не найти ни в Думе[1], ни в высшем свете».

Да и Лика не отставала от него и порой отвечала ему в таком же духе, вроде того что она приняла предложение выйти замуж за одного владельца винного завода — старичка семидесяти двух лет.

Когда мы жили в Мелихове, Лика бывала у нас там постоянно. Мы так к ней привыкли, что даже родители наши скучали, когда она долго не приезжала.

Работая в Москве, в гимназии, я в конце недели уезжала в Мелихово. Часто со мной ездила Лика. Уезжая из дома в Москву, я всегда получала поручения привезти что-нибудь по хозяйству: грабли, косы, лопаты и прочее. И вот тому, кто ехал со мной, всегда доставалось везти что-нибудь. В тарантасе по отвратительной дороге от станции Лопасня до Мелихова эти вещи доставляли всегда большие неудобства.

— Проклятая Машка опять везет с собой эту пакость! — ворчала Лика.

В летнюю пору Лика жила у нас в Мелихове подолгу. С ее участием у нас происходили чудесные музыкальные вечера. Лика недурно пела и одно время даже готовилась быть оперной певицей.

Между Ликой и Антоном Павловичем в конце концов возникли довольно сложные отношения. Они очень подружились и похоже было, что увлеклись друг другом. Правда, тогда, да и долгое время спустя, я думала, что больше чувств было со стороны брата, чем Лики. Лика не была откровенна со мной о своих чувствах к Антону Павловичу, как, скажем, она была откровенна в дальнейших письмах ко мне по поводу ее отношений к И. Н. Потапенко. Отношения Лики и Антона Павловича раскрылись позднее, когда стали известны ее письма к Антону Павловичу.

---

[1] Лика служила в то время уже в Московской городской думе.

Лика в письме к брату пишет: «У нас с Вами отношения странные. Мне просто хочется Вас видеть, и я всегда первая делаю все, что могу. Вы же хотите, чтобы Вам было спокойно и хорошо и чтобы около Вас сидели и приезжали бы к Вам, а сами не сделаете ни шагу ни для кого. Я уверена, что если я в течение года почему-либо не приеду к Вам, Вы не шевельнетесь сами повидаться со мной... Я буду бесконечно счастлива, когда, наконец, ко всему этому и к Вам смогу относиться вполне равнодушно», — это уже говорит о серьезном чувстве Лики к Антону Павловичу и о том, что он знал об этом чувстве.

Другие письма Лики рассказывают о большой ее любви и страданиях, которые Антон Павлович причинял ей своим равнодушием: «Вы отлично знаете, *как* я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и Ваше отношение — или снисходительное, или полное игнорирования. Самое мое горячее желание — вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой. Умоляю Вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не видайтесь со мной. Для Вас это не так важно, а мне, может быть, это и поможет Вас забыть».

Антон Павлович обращал все это в шутку, а Лика... продолжала по-прежнему бывать у нас. Я не знаю, что было в душе брата, но мне кажется, что он стремился побороть свое чувство к Лике. К тому же у Лики были некоторые черты, чуждые брату: бесхарактерность, склонность к быту богемы. И, может быть, то, что он писал ей однажды в шутку, впоследствии оказалось сказанным всерьез: «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили».

* * *

В те годы у нас в Мелихове постоянно гостил писатель Игнатий Николаевич Потапенко. Он познакомился с Антоном Павловичем в Одессе в 1889 году, когда брат был там проездом в Крым. Любопытно, что Потапенко тогда показался ему очень скучным человеком и был назван им даже «богом скуки». Затем они несколько лет не встречались, и лишь в начале 1893 года

знакомство их возобновилось. Летом этого года Потапенко впервые побывал у нас в Мелихове и произвел на Антона Павловича совсем другое впечатление, чем в Одессе. Потом они стали встречаться в Москве, и это было началом их близости. «Одесский Потапенко и московский — это ворона и орел. Разница страшная. Он нравится мне все больше и больше», — писал о нем Антон Павлович в одном из писем. Вскоре между ними установились дружеские отношения, они перешли на «ты». Потапенко звал брата «Антонио», а тот его «Игнациусом».

У Игнатия Николаевича была интересная внешность, он был общительным и веселым человеком. В компании умел веселиться сам и веселить других. Он был очень музыкален — окончил консерваторию по классу пения и играл на скрипке. Его приезду в Мелихово всегда были рады.

Очень часто Потапенко и Лика гостили в Мелихове в одно время. Тогда у нас было особенно весело — музыка, пение, танцы, неистощимый юмор Антона Павловича... Лика тоже пела. Романсы Чайковского, Глинки, русские народные песни всегда звучали в нашей гостиной. Часто исполнялась популярная в то время серенада Браги «Валахская легенда». Лика пела и аккомпанировала на рояле, Потапенко играл партию скрипки. Сидишь, бывало, в летний вечер на террасе, выходившей в сад, слушаешь льющиеся из гостиной звуки музыки и невольно унесешься мечтами далеко, далеко. Эта поэтическая музыкальная атмосфера впоследствии была передана братом в его известном рассказе «Черный монах».

Я и Лика подружились с Игнатием Николаевичем. Мы стали называться его «сестрами», перешли на «ты». Он был искренен и трогателен в своих отношениях с нами. Как-то он уехал по делам в Петербург и оттуда написал мне такое письмо: «Милая сестренка Маша! Помнишь ли ты своего бедного брата, столь внезапно отторженного судьбой от своих сестер? Ради бога, не забывай его и питай к нему те же чувства, что питала до отъезда его из Москвы. Поверишь ли, что его новое родство, это приобретение сестер Маши и Лиды — одно из самых приятных явлений моей жизни? Петербург — северный город, мне в нем холодно. Душевно холодно.

Это не то, что милая Москва с теплыми душами (разумей без каламбура)... Пожалуйста, Маша, агитируй, чтобы состоялся костюмированный вечер. Мне хочется подурачиться и повеселить других. Ты знаешь, что я иногда умею это делать...»

И вот, как это нередко бывает в жизни, одна из «сестер» — Лика начала увлекаться Потапенко. Очень может быть, что ей хотелось забыться и освободиться от своего мучительного безответного чувства к Антону Павловичу. Но у Потапенко была семья: жена и две дочери...

Лика и Потапенко стали встречаться и в Москве. В конце концов, постепенно разрастаясь, их увлечение перешло в роман.

Начался самый драматический этап в жизни Лики — роман с Потапенко. Все это происходило у нас в Мелихове и в Москве в зиму 1893/94 года. В начале марта 1894 года Лика и Игнаша, как мы его звали, решили уехать в Париж. Сначала уехал он, а через несколько дней с большой грустью я проводила Лику.

В первом же письме Лики из Парижа ко мне (19 марта 1894 г.) появились невеселые нотки: «Дорогая моя Маша. Вот уже четвертый день, как я в Париже, и четвертый день реву белугой! ...я провожу время в поисках помещения, бегаю с утра до вечера и потом, придя домой, начинаю реветь. Третьего дня послала Игнатию письмо poste restante, как мы уговорились, и сегодня он был у меня, но ровно на $^1/_2$ часа. Пришел в $10^1/_2$ и ушел в 11 ч. У него очень убитый вид — по-видимому, ему нельзя уходить одному из дома. Принес даже мне на сохранение все мои и твои письма и мой портрет — значит, бедному плохо. Дней через пять они все уезжают в Италию на три месяца, он говорил, что застал свою супругу совсем больной, и думает, что у нее чахотка, а я так думаю, что притворяется опять!

В общем, наше свидание было такое, что радости ни малейшей не принесло, а у меня оставило тяжелое впечатление, и настроение еще хуже стало... Грустно, грустно и грустно. Никогда я не чувствовала себя еще такой одинокой! Когда привыкну и когда начну дело — не знаю... [1]

---

[1] Лика приехала учиться пению.

Напиши мне адрес Антона Павловича[1], я ему написала из Берлина в Ялту, но ведь он, верно, уже основался где-нибудь, и ты напиши поскорее. Когда я уезжала, мне казалось, что грустно расставаться только с людьми, а тут вдруг появилась и тоска по России. Вчера на улице вдруг услыхала русскую фразу, и так приятно было!»

Даже в то время, когда Лика была за границей, вместе с человеком, которого полюбила, она не забывает Антона Павловича и пишет ему в Ялту, что была «дважды отвергнута» им. Он опять полушутя ответил ей: «Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной... Я отлично знаю, что Вы не умрете и что никто Вас не отвергал».

Дальше происходит тривиальное и вместе с тем трагическое: Лика ждет ребенка. Потапенко ее оставляет. Лика переезжает из Парижа в Швейцарию. Свое положение и разрыв с Потапенко она от меня скрывает. Но Антону Павловичу в письме 20 сентября 1894 года она отчасти призналась:

«Видно, уж мне суждено так, что люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа. И как я ни думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему Вы. Впрочем, такова, видно, судьба. Одно могу сказать, что я переживала минуты, которые никогда не думала переживать. Я одна, около меня нет ни одной души, которой я могла бы поведать все то, что я переживаю. Дай бог никому не испытать что-либо подобное. Все это темно, но я думаю, что *Вам* все ясно. Недаром Вы психолог. Мне кажется только, что еще несколько дней, и я больше не выдержу. *Вам* я верю и потому могу получить от Вас несколько строк. Может быть, по обыкновению, обругаете меня, назовете дурой, но, право же, это лучше, чем ничего не отвечать».

Так Лика еще раз подчеркнула Антону Павловичу, что в конечном счете виновником ее несчастья она считает его. Брат в это время был в Ницце и оттуда сделал мне в своем письме такую приписку: «Потапенко ...и свинья». Он был возмущен его поступком с Ликой.

---

[1] Антон Павлович в это время уехал на месяц в Ялту.

От меня Лика все это долго скрывала, пока наконец Потапенко сам не рассказал мне все, сообщив об этом Лике. После этого в начале февраля 1895 года я получила от нее из Парижа письмо с тяжелой исповедью:

«Сегодня получила письмо от Игнатия, что он рассказал тебе нашу печальную историю... Я и не рада и рада. Не рада потому, что не хотела бы, чтобы ты знала все не от меня и могла бы обвинить в чем-либо Игнатия из-за меня! Рада потому, что могу наконец поговорить по душе с тобой. Теперь, зная все, ты поняла, насколько все это было сложно и неописуемо в письме. Вот почему я молчала, а сколько раз у меня являлось непреодолимое желание поговорить с тобой. Вот почему я редко писала, потому что притворяться не могла, а правду написать не хотела, чтобы у тебя не явилось ложного представления обо всем.

Что же сказать теперь? Веселого нет ничего... Вот уже почти год как я забыла, что значит покой, радость и тому подобные приятные вещи. С первого дня в Париже начались муки, ложь, скрыванье и т. д. Затем в самое трудное для меня время оказалось, что ни на что надеяться нельзя, и я была в таком состоянии, что не шутя думала покончить с собой. В Швейцарии все последнее время я думала, что сойду с ума. Представь себе: сидеть одной, не иметь возможности сказать слова, ни написать, вечно бояться, что мама узнает все и это ее убьет, и при этом стараться писать ей веселые, беспечные письма!

Затем поездка в Париж, опять дрожание и скрывание, наконец болезнь и рождение моей девчонки при самых ужасных условиях. На девятый день я встала и начала делать все, этим вконец расстроила себе здоровье и теперь представляю из себя собрание всевозможных болезней. Затем отъезд Игнатия и в душе сознание, что прощание это навсегда.

Вот так я и живу. Для чего и для кого — неизвестно...

Но, несмотря ни на что, я ничего не жалею, рада, что у меня есть существо, которое начинает уже меня радовать. Девчонка моя славная! Я хотела бы тебе ею похвастаться! За нее мне можно дать медаль, что, не-

смотря на мое ужасное состояние все время до ее рождения, — она у меня вышла такой. Ей будет 8-го три месяца, а ей все дают пять! Надеюсь, что будет умная, потому что теперь уже много соображает, разговаривает сама с собою и со мной. Кормилица уверяет, что она вылитый портрет Игнатия, но я этого не вижу, и, во всяком случае, она красивее его. Впрочем, сама увидишь, хотя еще не скоро. Вероятно, я проживу здесь еще года полтора для того, чтобы окончить пение. Теперь я опять много занимаюсь, и дело идет успешно. На этом я строю все свое будущее, и теперь мне это необходимо более, чем когда-нибудь. После поездки в Россию изучу массаж и, надеюсь, не пропаду.

Тебя, верно, удивляет, что я говорю о будущем в таком виде? Но, друг мой, в другое будущее я не верю. Я верю, что Игнатий меня любит больше всего на свете, но это несчастнейший человек. У него нет воли, нет характера, и при этом он имеет счастье обладать супругой, которая не останавливается ни перед какими средствами, чтобы не отказаться от положения m-me Потапенко! Она играет на струнке детей и его порядочности... Когда он написал ей все и сказал, что совместная жизнь невозможна, она жила здесь в Париже и целые дни покупала тряпки... А ему писала, что убьет себя и детей. Конечно, она никогда этого не сделает, но все-таки будет всегда стращать этим. А у него не хватает смелости рискнуть. Вот почему я и говорю, что никогда ничего не выйдет. Поэтому можешь себе представить, что я чувствую и какова моя жизнь. Из твоей Лики сделался мертвец. Я надеюсь только, что недолго протяну...

Если бы ты знала, как я жажду съездить домой, как невыносим мне Париж. Если бы я не строила всю мою жизнь на пении, то давно бы бежала из него. До людского мнения мне нет дела. Я думаю, что немногие люди, которых я люблю, останутся ко мне по-прежнему и не отвернутся от меня. Мне так хочется тебя видеть и поговорить с тобой обо всем. Ведь даже Игнатию я не пишу всего того, что чувствую, чтобы не мучить его еще больше. Я страдаю за него столько же, как и за себя. Знаю его обстановку, знаю, что способности его гибнут, написать ничего хорошего не может из-за вечной погони за деньгами для тряпок и шляпок!

Бывают дни, когда я боюсь войти в детскую, потому что один вид моей девочки вызывает слезы и отчаяние. И тут опять должна скрываться, чтобы кормилица не видела всего и не вывела своих заключений. Тем более что она сейчас же начинает разговоры о monsieur, о его приезде, о том, что он будет доволен девочкой и т. д. Все это переворачивает душу! Я мечтаю только поскорее рассказать все маме и быть покойной, что если со мной что-нибудь случится, то ребенок будет в ее руках.

Да, представь! Супруга выражала желание отнять у меня ребенка и взять его к себе, чтобы он не мог привязать Игнатия ко мне еще сильнее. Как тебе это нравится?! Ах, все отвратительно, и когда я тебе расскажу все, ты удивишься, как Игнатий до сих пор еще не застрелился. Мне так его жаль, так мучительно я его люблю! Почему это случилось — не знаю. Вероятно, потому, что меня никогда, никто не любил так, как он, без размышлений, без рассудочности. Он верит в наше будущее, строит планы, но я знаю, что ничего не будет.

Ну, пиши же мне, мне так необходимы твои письма, пиши все, что думаешь, как смотришь на все это. Буду ждать с нетерпением ответа. Прощай, целую тебя и дочь тоже. *Лида*».

Почти одновременно с этим письмом я получила от Потапенко из Петербурга, где он в то время жил, тоже несколько строк: «Милый друг Маша, не придавай большого значения тому, что тебе напишет Лида об известном тебе вопросе. Верь только мне. Ей свойствен пессимизм, поэтому она не хочет верить в будущее, а я твердо знаю, что оно будет таким, как надо... Будь здорова и счастлива и, пожалуйста, продолжай любить Лиду».

Лика была более чуткой и дальновидной, получилось именно так, как говорила она. В одном из других писем Лика писала мне: «У меня есть и будет одно только — это моя девочка... Она воплощение всего, что у меня в жизни было хорошего и светлого. И при этом — сознание, что все кончено, что все хорошее продолжалось три месяца...»

Мне бесконечно жаль было Лику. К несчастью, утешение Лики ее дочерью продолжалось тоже недолго.

Приехав в Россию, Лика успокоилась, жила с матерью и воспитывала дочь. Но скоро, в возрасте около двух лет, Христина — так звали ее девочку — заболела и умерла.

Я подробно рассказала об этом эпизоде из жизни Лидии Стахиевны Мизиновой потому, что он имел прямое отношение к Антону Павловичу, а потом в какой-то степени послужил ему материалом для создания пьесы «Чайка». Роман Нины Заречной с Тригориным — это роман Лики с Потапенко. Те же события — Тригорин бросает с ребенком Нину, возвращается к Аркадиной. Теми чертами, которыми наделил Аркадину Антон Павлович, она тоже напоминала Марию Андреевну — жену Потапенко.

«Чайка» была написана осенью 1895 года, когда Лика уже вернулась из-за границы. Когда пьеса была написана и прочитана близкими знакомыми, они не могли не обратить внимания на сходство сюжета пьесы с драмой Лики. Эти разговоры дошли и до Лики, и она спросила в письме Антона Павловича: «Говорят, что «Чайка» заимствована из моей жизни и что Вы хорошо отделали еще кого-то?»

Так же, как в свое время в «Попрыгунье», Антон Павлович и в «Чайке» создавал художественные образы и сюжетную канву произведения, используя жизненные наблюдения. Толки в обществе о сходстве сюжета «Чайки» с историей Лики и Потапенко стали беспокоить брата. Если в пьесе «в самом деле похоже, что изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя», — писал он Суворину. Но «Чайка» была все же поставлена, и Лика вместе со мной ездила в Петербург на первый неудачный спектакль в Александринском театре.

Потом, когда Лика после своего несчастья оправилась и окрепла, она снова постоянно стала бывать в Мелихове. Между ней и Антоном Павловичем опять установились дружеские шутливые отношения. Спектакли «Чайки» всегда волновали Лику. Спустя шесть лет после пережитой ею драмы я как-то брала ее в Художественный театр и потом писала брату: «На твои именины я водила Лику на «Чайку». Она плакала в театре, воспоминанья перед ней, должно быть, развернули свиток длинный...»

С мечтой Лики стать оперной певицей ничего не получилось. Осенью 1901 года Лика пыталась поступить артисткой в труппу Художественного театра, держала приемный экзамен, но данных для артистической карьеры не оказалось. Ее приняли в театр в статистки на «выхода», но она и тут из-за застенчивости и неумения держаться на сцене была признана непригодной и пробыла в театре только один сезон.

В 1902 году Лика вышла замуж за режиссера Художественного театра Александра Акимовича Шенберга-Санина.

Чувство Лики к Антону Павловичу сохранилось навсегда. В 1898 году, когда Лика опять ездила в Париж, она прислала оттуда брату свою фотографию с такой надписью на обороте: «Дорогому Антону Павловичу на добрую память о воспоминании хороших отношений. Лика.

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя, —
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы —
Всё для тебя!!

(Чайковский — Апухтин)

Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада. Париж, 11 октября 1898 г.

Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет».

Но через десять лет Лика не могла повторить эти слова... Антона Павловича уже не было в живых. Мне не забыть, как в Москве после похорон Антона Павловича Лика, вся в черном, пришла к нам и часа два молча простояла у окна, не отвечая на наши попытки заговорить с ней... Все прошлое, пережитое, должно быть стояло перед ее глазами.

Потом Лика с мужем жила в Париже. Перед Октябрьской революцией они вернулись в Россию. В последний раз я видела Лику в Москве в начале двадцатых-годов. Вскоре она с мужем вновь уехала за границу и уже навсегда. С тех пор я потеряла с ней связь. Умерла она во Франции, незадолго до второй мировой войны, в возрасте около семидесяти лет.

XII. КУМА АНТОНА ПАВЛОВИЧА

Однажды в Москве Лика Мизинова познакомила меня с молоденькой, очень маленького роста девушкой.

— Вот, Маша, познакомься: Таня Куперник — поэтесса и писательница.

Это была правнучка знаменитого русского актера Михаила Семеновича Щепкина, Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, ныне уже покойная. Ей тогда шел девятнадцатый год. Лика познакомилась с ней через художницу С. П. Кувшинникову, на вечерах которой они обе бывали.

Мы стали встречаться с Таней и вскоре подружились. Я привезла ее как-то в Мелихово и познакомила с нашей семьей. После этого она еще не раз приезжала к нам погостить и сделалась у нас своим человеком. Особенно к ней благоволили наши отец и мать. Павел Егорович любил поговорить и пофилософствовать с ней насчет религии и как-то раз даже пожаловался ей на Антона Павловича, что тот не выполняет религиозных обязанностей!

С Антоном Павловичем у нее установились приятельские отношения. С ней были связаны различные шутливые импровизации брата. Он всегда ее чем-нибудь добродушно поддразнивал. Однажды Антон Павлович крестил в Мелихове вместе с Татьяной Львовной дочку нашего соседа, князя С. И. Шаховского. По народному обычаю он после этого стал звать Таню кумой. Потом как-то слышу, брат с серьезным видом объясняет ей, что эти крестины вместе с ней он придумал специально для того, чтобы она не смогла бы женить его на себе! (Браки между кумовьями не допускались.)

То вдруг Антон Павлович собирается выдать Таню замуж за своего знакомого, весьма посредственного писателя Ежова, которого она никогда в жизни не видела. Долгое время он так и называл ее — Татьяна Ежова-с! В своих письмах Антон Павлович тоже часто именовал ее то кумой, то Татьяной Ежовой.

Татьяна Львовна приезжала в Мелихово большей частью зимой. У нее была горжетка из целой шкурки соболя. Этой горжеткой Антон Павлович любил поддразнивать наших такс, которые отчаянно лаяли и бросались на «зверька». Видимо, опасаясь, что собаки могут

порвать горжетку, она однажды спрятала ее в своей комнате. Антон Павлович незаметно взял ее и положил в сигарный ящик, стоявший на камине его кабинета, предварительно показав таксам, где лежит их «враг». Когда Таня сидела у него в кабинете, Антон Павлович время от времени указывал собакам на коробку, те начинали неистово лаять и прыгать на камин. Так продолжалось до тех пор, пока она сама не заинтересовалась, что это такое находится в коробке, что так раздражает собак? Подошла, открыла и... и от удивления широко раскрыла глаза — ее соболь! Когда шутки брата раскрывались, он обычно вместе со всеми весело и искренно смеялся, до этого же с артистическим мастерством делал совершенно серьезный, невинный вид.

Встречалась Таня с нами также и в Москве. У нее в то время была большая дружба с красивой молодой артисткой театра Корша Лидией Борисовной Яворской. Как артистка Яворская нравилась не всем, но Антон Павлович ее ценил и даже рекомендовал впоследствии Суворину пригласить в свой театр. Любопытно он обрисовал ее однажды в письме к Суворину: «На святой в Петербурге будет оперировать труппа Корша... Побывайте на «Madame Sans Gêne» и посмотрите Яворскую. Если хотите, познакомьтесь. Она интеллигентна и порядочно одевается, иногда бывает умна. Это дочь киевского полицмейстера Гибеннета, так что в артериях ее течет кровь актерская, а в венах полицейская. О преемственности сих двух кровей я уже имел удовольствие высказывать Вам свое психиатрическое мнение. Московские газетчики всю зиму травили ее, как зайца, но она не заслуживает этого. Если бы не крикливость и не некоторая манерность (кривляние тож), то это была бы настоящая актриса. Тип, во всяком случае, любопытный. Обратите внимание».

Татьяна Львовна жила в Москве в номерах «Мадрид» в Леонтьевском переулке, а Яворская — в «Лувре» на Тверской улице. Компаниями мы собирались то у Тани, то у Яворской. Причем однажды мы сделали открытие, что между «Мадридом» и «Лувром» есть переход по различным коридорам, закоулкам, чердакам. Можно было, не выходя на улицу, попасть из одной гостиницы в другую, что мы и стали практиковать, и В. А. Гольцев пустил шутку: «Нет больше Пиренеев», —

имея в виду горный хребет, отделяющий Испанию от Франции.

Вспоминая эти путешествия «по Пиренеям», нужно сказать и о «плаваниях эскадры Авелана». В те времена русским морским министром был назначен адмирал Ф. К. Авелан. Это была пора сближения между Россией и Францией, и Авелана все время чествовали то во Франции, где он с русской эскадрой был с визитом, то в России, после возвращения его из Франции.

Приезжая из Мелихова в Москву, Антон Павлович останавливался обычно не у меня (я снимала лишь одну комнату), а в гостинице «Большая Московская». Там у него был даже свой номер. О своем приезде брат обычно кого-нибудь извещал, и это сразу же становилось известно всем его друзьям: В. А. Гольцеву и В. М. Лаврову («Русская мысль»), М. А. Саблину («Русские ведомости»), Ф. А. Куманину («Артист»), И. Н. Потапенко и др. Они приходили к Антону Павловичу и тащили его за собой в какую-нибудь редакцию, ресторан. К этой компании присоединялись я, Лика, Таня, Яворская, еще кто-нибудь из литераторов или редакторов, и начинались «чествования» Антона Павловича. Компанией переходили из одной редакции в другую, из одного ресторана в другой: там завтрак, там обед, там ужин... В конце концов Антона Павловича прозвали Авеланом, окружение его — эскадрой, а походы компании — плаванием эскадры. Долгое время эти названия — Авелан и плавания Авелана — сохранялись в московской литературной среде.

Об этом можно прочитать и в письмах самого Антона Павловича, например: «Третьего дня я вернулся из Москвы, где я прожил две недели в каком-то чаду. Оттого, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. Во-первых, квартиры нет — могу жить где угодно, во-вторых, паспорта все еще нет и... девицы, девицы, девицы...»

Татьяна Львовна бесспорно была талантливым литератором, что всегда признавал и Антон Павлович, причем ее литературная деятельность носила весьма разносторонний характер. Она писала стихи, прозу, драматические произведения. Свободно владея иностранными

языками, Щепкина-Куперник переводила на русский язык пьесы Мольера, Ростана и др. Долгие годы шумным успехом у зрителей и читателей пользовался ее перевод пьесы Ростана «Принцесса Греза». Западноевропейские пьесы в ее переводе и сейчас идут на сцене советских театров.

Антон Павлович хорошо отзывался о многих ее произведениях, например о рассказе «Одиночество», стихотворении «Монастырь», о переводе ростановской пьесы «Романтики» и др. В Мелихове он иногда давал Тане советы, касающиеся литературного мастерства: избегать литературных штампов, избитых трафаретов, вычурных описаний, громоздкости фразы и пр.

Единственно, за что Антон Павлович серьезно порицал в то время Таню, — за излишнее усердие в устройстве бенефисов своей подруги Яворской. Таня заботилась о том, чтобы были подношения, цветы, овации, и публике становилось не по себе. Но это у нее было, как говорится, «по молодости лет».

Передо мной лежит сейчас выцветший, ветхий листочек бумаги, вырезанный из старинной газеты, название которой и не установишь. Это стихотворение Татьяны Львовны «В родных полях», посвященное мне и навеянное нашим Мелиховым. Стихотворение и публикация его относятся к 1893—1895 годам. Я не знаю, публиковалось ли оно где-нибудь впоследствии, не знаю, представляет ли оно художественную ценность, но, поскольку оно навеяно Мелиховым и относится к раннему периоду творчества Т. Л. Щепкиной-Куперник, я приведу его здесь:

В РОДНЫХ ПОЛЯХ

(М. П. Ч...вой)

Простор полей родных. Бледнеют краски неба,
И тени алые на землю полегли.
Поля свободны уж от убранного хлеба,
Лес темной полосой синеется вдали.
Осталась на полях солома золотая,
Густой щетиною торчат ее стебли.
По небу тянется птиц перелетных стая,
То дружно поднялись к отлету журавли,
На юг, на дальний юг свободно улетая.

Безлюдно все кругом, куда ни поглядишь,
Давно последняя полоска сжата!
И всюду — тишина в час розовый заката;
Не та опасная, тревожащая тишь,
Которою полны Италии заливы,
Когда молчат они, лукавы и ленивы,
Как кошка, что сквозь сон подстерегает мышь.
Не та немая тишь, что, сумрачны и горды,
Таят Норвегии таинственные фьорды.
Но та блаженная, святая тишина,
Какой проникнута бывает лишь Россия,
Когда в заката час молчат поля родные
И в отдых сладостный земля погружена.
Ее могучая, загадочная сила
Колосья пышных нив взлелеяла, взрастила,
Она дала нам хлеб — и отдых сладок ей
До нового труда, до новых вешних дней.
И вот теперь она так отдалась покою,
Что, глядя на нее, смиряется душа.
И сердце не болит, не бьется мысль с тоскою,
Благословенною отрадою дыша.
«Приди и отдохни!» — так матерински-нежно
Как будто шепчет мне усталая земля.
И затихает ум, грудь дышит безмятежно,
А сердце — кажется свободно и безбрежно,
Как эти мирные, безбрежные поля!..

Т. Щепкина-Куперник

В 1898 году в Мелихове, в день моих именин, Таня подарила мне только что вышедшую из печати свою книжку с рассказами под общим заголовком «Странички жизни» и сделала на ней такую надпись: «Дорогая моя Мусинька, от всей души желаю тебе, чтобы в твоей жизни встретились одни хорошие странички и чтобы знакомство со мной было одной из более или менее приятных и не коротких страничек. Всегда глубоко преданный тебе автор Т. Щепкина-Куперник».

И вот с тех пор прошло почти шестьдесят лет. Встретились ли мне в моей жизни «одни хорошие странички» — трудно сказать, но мое знакомство и дружба с Татьяной Львовной были поистине «не очень короткими страничками». Правда, в последние десятилетия мы уже реже виделись: она жила в Москве, я — в Ялте, но мы продолжали иногда встречаться и переписываться.

Спустя тридцать лет после смерти Антона Павловича Татьяна Львовна неожиданно прислала мне письмо со

своим стихотворением, посвященным памяти брата. В этом стихотворении были такие строки:

А ты, его сестра, помощница и друг,
Ты, с ним делившая и скорбь и труд суровый,
Увидев молодость, шумящую вокруг, —
Ты за него прими всю радость жизни новой.
Ты в белом домике, где был его приют,
Где им взращенный сад цветет над гладью синей,
Где все так полно им, куда к тебе идут
И жадно слушают тебя в тени глициний...
И нынче ты ведь с ним, как прежде, делишь дни,
И можешь ты трудом своим гордиться!
Ты имя Чехова и память нам храни,
А юным говори о Чехове-провидце.

Т. Щепкина-Куперник

10 мая 1934 г., Москва

До последних дней своей жизни Татьяна Львовна не забывала Антона Павловича и хранила в своем сердце его светлый образ, о чем говорят теплые строки ее воспоминаний о Чехове.

XIII. «МОИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ»

После того как в 1892 году отношения между Антоном Павловичем и редакцией «Русской мысли» были восстановлены, у брата постепенно начала зарождаться дружба с главными деятелями журнала — редактором его Виктором Александровичем Гольцевым и редактором-издателем Вуколом Михайловичем Лавровым. В дальнейшем они перешли друг с другом на «ты», но наиболее близкие дружеские отношения у Антона Павловича были все же с Гольцевым, который любил Антона Павловича как человека и как писателя. Бывал Гольцев у нас в Мелихове, но большей частью встречи происходили в Москве. Одно время Виктор Александрович устраивал у себя вечера по пятнадцатым числам каждого месяца, на которые собиралась литературная братия Москвы. Антон Павлович иногда специально приезжал из Мелихова и бывал на этих вечерах. Несколько раз была там и я с Ликой. Бывал Виктор Александрович и у меня в московской квартире.

В свой первый приезд в Мелихово И. Н. Потапенко привез с собой писателя Петра Алексеевича Сергеенко.

Сергеенко учился в Таганрогской гимназии одновременно с Антоном Павловичем, но был старше его на шесть лет. Литературную работу они начали в одно время в мелких юмористических журналах. Антон Павлович в начале 90-х годов отзывался о Сергеенко так: «У этого человека, талантливого немножко и не глупого, есть в голове какой-то хохлацкий гвоздик, который мешает ему заниматься делом как следует и доводить дело до конца».

В годы, когда мы жили в Мелихове и когда популярность Антона Павловича как писателя быстро росла, у меня в Москве установилось знакомство со многими писателями и литературными деятелями, которые через меня обычно поддерживали связь с Антоном Павловичем и для этого заходили ко мне. П. А. Сергеенко тоже бывал у меня в связи с его интересом к Антону Павловичу. Он был близок к Л. Н. Толстому, писал о нем и в дальнейшем получил известность своей книгой «Как живет и работает Л. Н. Толстой». Между прочим, одно время он усиленно старался познакомить Антона Павловича с Толстым. Он как-то узнал от меня, что в один из дней в начале апреля 1893 года в Москву должен был приехать Антон Павлович, и пообещал Льву Николаевичу Толстому привести в этот день к нему Чехова. Но брат не приехал тогда в Москву, и Сергеенко прибежал ко мне расстроенный.

— Марья Павловна, как же так? Я же обещал Льву Николаевичу! Что я ему теперь скажу?..

— Ну что же поделаешь, значит — брата что-нибудь задержало в Мелихове, — ответила я ему.

— Я пошлю Антону телеграмму, чтобы он немедленно выезжал.

Я категорически запретила ему это делать и обещала сама написать брату.

На мое письмо Антон Павлович ответил так: «Мне очень нужно в Москву, но противно ехать по такой погоде и одежды не имам... Боюсь также, что Сергеенко потащит меня к Толстому, а к Толстому я пойду без провожатых и без маклеров. Не понимаю, что за охота у людей посредничать!»

Тогда же П. А. Сергеенко сообщил мне, что незадолго перед этим, еще в начале 1893 года, Л. Н. Толстой вместе с И. Е. Репиным, не зная о переезде нашей семьи

в Мелихово, пытались разыскать Антона Павловича в Москве по старым адресам, заходили в дом Корнеева на Садовой Кудринской и на М. Дмитровку — в нашу последнюю московскую квартиру. Я была приятно удивлена, что сам Толстой искал Чехова и приходил на бывшие наши квартиры, и написала об этом брату.

С Ильей Ефимовичем Репиным Антон Павлович познакомился еще в 1887 году в Петербурге в один из приездов. В 1893 году, во время пребывания в Москве, Репин, по-видимому, хотел познакомить Льва Николаевича с Антоном Павловичем, и они разыскивали его по старым адресам.

Как известно, Антон Павлович познакомился с Л. Н. Толстым в 1895 году в Ясной Поляне, куда он ездил один «без провожатых» и где провел полтора «приятнейших» дня, как он потом говорил.

С П. А. Сергеенко у меня в дальнейшем были различные деловые встречи, но об этом дальше.

Однажды И. Н. Потапенко и П. А. Сергеенко вместе написали пьесу «Жизнь», которая довольно успешно шла на сцене многих театров. Я в те времена уже много рисовала и писала красками и как-то на листе бумаги сделала карандашом портретные зарисовки В. А. Гольцева, И. Н. Потапенко и П. А. Сергеенко, назвав этот рисунок «Мои новые друзья». Под портретом Потапенко я подписала: «Ах, Потапенко», намекая на его популярность и успех у женщин. Каким-то образом этот листок затем попал в руки Антона Павловича, и он сделал на нем свою шутливую запись: «Полуавтор «Жизни», то есть автор, деленный на два $= \frac{\text{автор}}{2}$; а так как автор есть умный человек, то $\frac{\text{автор}}{2} =$ полуумный!»

После этого я некоторое время издевалась над Потапенко и Сергеенко, что они «полуумные»!

XIV. «ЧАЙКА» В ПЕТЕРБУРГЕ

В четверг 17 октября 1896 года в Петербурге в Александринском театре должна была состояться премьера новой пьесы Антона Павловича «Чайка». Конечно, мне очень хотелось быть в театре на первом спектакле, и,



Л. С. Мизинова.

1892 год.

когда брат уезжал в первых числах октября в Петербург, мы условились, что он пришлет мне деньги и в день спектакля я приеду в Петербург.

Но 12 октября он вдруг написал мне из Петербурга, что не советует ехать: «...«Чайка» идет неинтересно. В Петербурге скучно, сезон начнется только в ноябре. Все злы, мелочны, фальшивы... Спектакль пройдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное». Это письмо, однако, не охладило моего желания поехать в Петербург, наоборот, мне непременно хотелось быть в это время вблизи брата. 16 октября с ночным поездом я выехала из Москвы в Петербург.

Утром 17 октября Антон Павлович, угрюмым и сумрачным, встретил меня на Московском вокзале. Идя по перрону, покашливая, он говорил мне:

— Актеры ролей не знают... Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится. Напрасно ты приехала.

Я посмотрела на брата. В этот момент, помню, выглянуло солнце, и серая, мрачная петербургская осень сразу стала мягкой, ласковой, все по-весеннему заулыбалось. Я воскликнула:

— Ничего, Антоша, все будет хорошо! Посмотри, какая чудная погода, светит солнышко. Оставь свои дурные мысли.

Не знаю, подействовала ли на него перемена погоды, или мой оптимистический тон, но он не стал больше говорить об актерах и пьесе, а шутливо сообщил мне:

— Я тебе в ложе целую выставку устроил. Все красавцы будут. А вот Лике, возможно, будет неприятно. В театре будет Игнатий, и с Марией Андреевной. Лике от этой особы может достаться, да и самой ей едва ли приятна эта встреча.

Лидия Стахиевна Мизинова днем раньше приехала в Петербург. У нее были свои основания волноваться по поводу первой постановки «Чайки». Всего только около двух лет прошло с тех пор, как она пережила свой неудачный роман с Игнатием Николаевичем Потапенко. Ей предстояло теперь в присутствии в театре самого Потапенко и его жены смотреть пьесу, в которой Антон Павлович в какой-то степени отразил этот их роман. И, конечно, спектакль Лику волновал.

Я остановилась в одном номере с Ликой в гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади. Антон Павлович жил, как обычно во время своих приездов в Петербург, в «собственной» квартире у Суворина в Эртелевом переулке, где он всегда располагал двумя комнатами.

Днем до спектакля мы с Ликой погуляли по Петербургу. Антона Павловича мы не беспокоили, зная, что до самого вечера он будет занят в театре. А утром, еще на вокзале, он сказал мне, чтобы мы ждали его в своей гостинице, он приедет после спектакля, и будем вместе ужинать.

Настал вечер. Александринский театр был полон. Петербургские театралы пришли посмотреть новую пьесу московского писателя Чехова, который в Петербурге был очень популярен как беллетрист. К тому же эта пьеса шла в бенефис любимицы публики, комической актрисы Левкеевой, хотя сама бенефициантка в этой пьесе и не участвовала, а играла в другой пьесе — «Счастливый день»[1], шедшей после «Чайки». Так нередко практиковалось в те времена.

Чем больше я вглядывалась в эту чопорную, расфранченную, холодную петербургскую публику, тем сильнее овладевало мной беспокойство, и я вспоминала слова брата из письма, что здесь «все злы, мелочны, фальшивы».

Начался первый акт. С первых же минут я почувствовала невнимательность публики и ироническое отношение к происходящему на сцене. Но когда по ходу действия открылся занавес на второй сцене-эстраде и появилась обернутая в простыню Комиссаржевская, как-то неуверенно игравшая в этот вечер, и начала известный монолог: «Люди, львы, орлы и куропатки...» — в публике послышался явный смех, громкие переговоры, местами раздавалось шиканье. Я почувствовала, как внутри меня все похолодело. Чем дальше шло действие, тем сильнее нарастал шум в зале. В конце концов в театре разразился целый скандал. По окончании первого действия жидкие аплодисменты потонули в шиканье, свисте, в обидных репликах по адресу автора и исполнителей. Стал очевиден явный провал. Следующие акты шли в такой же атмосфере враждебного отноше-

---

[1] Комедия в 3-х действиях А. Н. Островского и Н. Соловьева.

ния публики к пьесе. Совершенно убитая, с тяжелым чувством, но не подавая вида, досидела я в своей ложе до конца. По окончании спектакля я уехала к себе в гостиницу.

Молча, подавленные, сидели мы с Ликой в своем номере, ожидая приезда Антона Павловича ужинать, как мы уговорились утром. Я пыталась собрать свои мысли и объяснить себе причины такого неуспеха у публики. Вспоминала, с каким удовольствием все мы слушали «Чайку» однажды у нас дома. Мы тогда живо переживали пьесу, а тут... никто ничего не понял... этот ядовитый смех, колкости, оскорбительные выкрики.

Было уже за полночь, а Антон Павлович все не появлялся. Наконец звонит из редакции «Нового времени» старший брат Александр и спрашивает:

— Где Антоний, нет ли его у тебя? У Суворина его тоже нет!

Я забеспокоилась еще больше и попросила Александра попытаться разыскать его. Спустя некоторое время я сама позвонила Александру Павловичу, Антона Павловича нигде не нашли: ни в театре, ни у Потапенко, ни у Левкеевой, где собирались на ужин актеры. Тогда, уже во втором часу ночи, я сама поехала к Сувориным.

Помню, как, войдя в огромную квартиру Сувориных, я ощутила состояние потерянности. В квартире было темно, и лишь далеко, далеко в глубине через анфиладу комнат в открытые двери светился огонек. Я пошла на этот огонек. Там я увидела Анну Ивановну, жену Суворина, сидевшую в одиночестве, с распущенными волосами. Вся эта обстановка, темнота, пустая квартира — все это еще более удручающе подействовало на мое настроение.

— Анна Ивановна, где может быть брат? — обратилась я к ней.

Желая, видимо, развлечь и успокоить меня, она начала болтать о пустяках, об артистах, о писателях. Через некоторое время появился сам Суворин и начал говорить мне о тех изменениях и переделках, которые, по его мнению, нужно сделать в пьесе, чтобы в дальнейшем она имела успех. Но я совсем не расположена была слушать об этом и только просила разыскать брата. Затем Суворин куда-то ушел и вскоре же вернулся веселым.

— Ну, можете успокоиться. Братец ваш уже дома, лежит под одеялом, только никого не хочет видеть и со мной не пожелал разговаривать. Гулял, говорит, по улицам.

Я облегченно вздохнула и уехала к себе в гостиницу. Ужин наш так и не состоялся.

На другой день, приехав к Сувориным, я брата уже не застала. Он утром, ни с кем в доме не простившись, уехал товаро-пассажирским поездом домой в Москву, а мне от него была лишь передана следующая записочка:

«Я уезжаю в Мелихово; буду там завтра во втором часу дня. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я уже был подготовлен к нему репетициями, —и чувствую я себя не особенно скверно.

Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику».

Суворину он тоже оставил прощальную записку, заканчивавшуюся словами: «*Никогда* я не буду ни писать пьес, ни ставить».

В полночь того же дня и я уехала домой. В Мелихове брат встретил меня словами: «О спектакле — больше ни слова!»

В каком состоянии Антон Павлович возвращался домой — можно судить по тому, что, всегда аккуратный и внимательный, он при выходе из вагона поезда забыл взять свои вещи и потом давал телеграмму поездному оберкондуктору с просьбой выслать их в Лопасню.

Жестокий провал «Чайки», свидетельницей которого я была, надолго остался в моей памяти кошмарным воспоминанием. Но еще большее огорчение и тяжесть он оставил в душе Антона Павловича и, без сомнения, ускорил ухудшение его здоровья. Всего лишь несколько месяцев спустя Антон Павлович попал в клинику Остроумова в связи с легочным кровотечением...

XV. В ПАЛАТЕ № 16

Я хорошо помню этот весенний солнечный день в Москве в конце марта 1897 года, когда я в первый раз пришла к брату в клинику профессора Остроумова на Девичьем поле. Он лежал в палате № 16. Перед этим у него было сильное легочное кровотечение. На столе я увидела сделанный врачами рисунок его легких. Они

были нарисованы синим карандашом, а верхушки их заштрихованы красным. Я поняла, что это были отмечены пораженные места. Впервые была названа та болезнь, которая, как оказалось, уже давно была у брата — туберкулез легких.

События перед этим развивались так. Утром в субботу 22 марта я, как обычно, приехала на несколько дней из Москвы домой. На станции Лопасня я встретила Антона Павловича, уезжавшего в Москву. Оттуда он потом собирался в Петербург, чтобы позировать художнику И. Э. Бразу, который должен был писать портрет Антона Павловича по заказу П. М. Третьякова для его галереи. Антон Павлович на станции все время покашливал, как-то отворачивался от меня, и лицо его мне показалось не совсем здоровым.

Дома мать тоже озабоченно сказала мне, что все последние дни и ночи Антоша сильно кашлял.

Когда я вернулась в Москву, меня, против обыкновения, на вокзале встретил брат Иван Павлович.

— Слушай, Маша, Антон лежит в клинике профессора Остроумова, — сказал он мне, — у него было кровотечение горлом. Вот тебе пропуск в клинику, сходи к нему, только не говори с ним много, это ему вредно. Ну и, конечно, постарайся ничем его не волновать.

Ваня передал мне конвертик с приготовленным пропуском в клинику. Он рассказал, что Антон Павлович, приехав в Москву, как всегда, остановился в Большой Московской гостинице, в номере пятом. В первый же день, в субботу 22 марта, он поехал вместе с Сувориным, бывшим в то время в Москве, сбедать в ресторан «Эрмитаж». И только они сели за стол, как у Антона Павловича сильно пошла горлом кровь. Началось обильное легочное кровотечение. Суворин сейчас же отвез брата к себе в номер, в гостиницу «Славянский базар», куда был вызван наш постоянный доктор Н. Н. Оболонский. Только под утро удалось остановить кровь. Антон Павлович пролежал у Суворина больше суток и затем 24 утром уехал к себе в Большую Московскую, где его Оболонский тоже навещал несколько раз. Так как кровотечение из легких то прекращалось, то возобновлялось, Антон Павлович 25 марта был помещен Оболонским в Остроумовскую клинику, где и был наконец поставлен настоящий диагноз его заболевания.

— Понимаешь, как это я мог прозевать притупление? — сказал мне брат в клинике.

Он, видимо, сам тоже был поражен диагнозом — и как врач, и как больной... Я же свое волнение старалась подавить и не показывать брату.

Каждый день я стала навещать его в клинике. Когда ему стало легче, доктора разрешили приходить ненадолго посетителям-друзьям. Между прочим, на четвертый день пребывания Антона Павловича в клинике его посетил Лев Николаевич Толстой, дом которого в Хамовниках был недалеко. Брат был очень тронут этим вниманием и рад приходу Льва Николаевича. Они долго беседовали, что брату было запрещено, и у него в ночь опять началось кровотечение.

Все наши друзья приняли близко к сердцу болезнь Антона Павловича и старались оказывать ему всяческое внимание: приходили сами, посылали ему сладости, закуски, вино. Цветов же было столько, что врачи не разрешали все держать в палате. Стояли на столе у Антона Павловича только цветы, принесенные ему писательницей Лидией Алексеевной Авиловой, которая дважды навещала его в клинике. Я сделаю здесь отступление и скажу о ней несколько слов.

* * *

Лидия Алексеевна жила в Петербурге. Муж ее был чиновником одного из департаментов. Антон Павлович познакомился с ней через редактора-издателя «Петербургской газеты» С. Н. Худекова, у которого бывал, когда приезжал в Петербург. Авилова была сестрой его жены.

Антон Павлович ценил литературные способности Авиловой и принимал участие в ее писательской деятельности: оказывал содействие в опубликовании ее произведений, давал ей много литературных советов и критических указаний. Лидия Алексеевна испытала особые чувства к Антону Павловичу, о которых она сама рассказала в своих известных воспоминаниях «А. П. Чехов в моей жизни»[1]. Эти воспоминания, живо и интересно

---

[1] Сборник «Чехов в воспоминаниях современников», изд. 2-е, М., 1954, стр. 186—254.

написанные, правдивы в описании многих фактов, таких, например, как подарок Авиловой Антону Павловичу брелока в форме книги, на котором были выгравированы цифры, обозначающие порядковые страницы и строки в одной из его книг. Раскрыв эту книгу и найдя указанные строки, можно было прочитать такую многозначительную фразу: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Как известно, этот эпизод (подарок брелока и эта фраза) был использован Антоном Павловичем в его пьесе «Чайка», только цифры страницы и строк он действительно, как и пишет Л. А. Авилова, переменил. Это был как бы ответ со сцены на вопрос Авиловой, заданный ему когда-то на маскараде в Петербурге.

Все это правильно. И правильно, видимо, Лидия Алексеевна сообщает о тех больших чувствах к Антону Павловичу, которые она когда-то пережила. Но вот когда она пытается раскрыть чувства к ней со стороны Антона Павловича, тут у нее получается слишком «субъективно». В ее мемуарах появляются уже элементы творчества, художественного — вольного или невольного — домысла писательницы. Из этой части воспоминаний вытекает, что Антон Павлович любил ее, что их отношения стояли на грани романа, что он сам говорил ей об этом. Этого не было. Ведь Лидия Алексеевна сама писала мне о том, что не знает, как относился к ней Антон Павлович, и ей это тяжело.

В 1904 году, через одиннадцать дней после похорон Антона Павловича, она написала мне письмо, которое привожу здесь полностью и впервые:

«Многоуважаемая Мария Павловна, мне очень трудно писать, потому что я не знаю Вас. Не знаю, как Вы отнесетесь к моему письму. Но я не могу иначе. Ведь получаете же Вы отовсюду письма, телеграммы, соболезнования, и должно же это быть Вам приятно.

Я пишу *только вам,* а не для публики, даже не для окружающих Вас. У меня именно к Вам личное чувство, и я думаю о Вас, потому что не могу больше думать о том, кого нет. Как я надеялась встретить Вас на могиле! Нет! Когда я была там, я видела только какую-то старушку и мальчика. Теперь я вернулась в деревню и опять все думаю о Вас и не могу отделаться от этой мысли.

Я видела Вас однажды, мельком, около клиники, когда он заболел в Москве, лет семь тому назад.

О, если бы мне знать, рассердит ли Вас то, что я решилась написать Вам? Поймете ли, почему мне это так нужно было?

Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь, я ему так многим обязана. Не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое. Не до фраз...

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу Ваше горе. Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам. У меня много его писем. Я не знаю, почему он звал меня «матушка». Я не видела его пять лет.

И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять и, когда поймешь, как безотрадно, скучно жить. Без этих «чувств изящных и красивых, как цветы».

Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело.

Не до фраз. А может быть, если бы я постаралась написать Вам и выразила бы все свои чувства покрасивее и потрогательнее — для меня было бы лучше. Но я хочу быть только искренней, и что бы Вы ни думали обо мне, я буду думать о Вас как о его любимой сестре. И если бы когда-нибудь я могла бы быть Вам чем-нибудь полезной, как я была бы счастлива! Запомните это на всякий случай.

Л. Авилова.

Клекотки, Тульской губ., 20 июля».

Письмо говорит о том, что у Лидии Алексеевны были глубокие чувства к Антону Павловичу, оставившие след в ее жизни. И вместе с тем, повторяю, она признается в том, что не знала, как же Антон Павлович к ней относился.

Я не была знакома с Л. А. Авиловой до того, как начала собирать письма Антона Павловича для издания

его эпистолярного наследия. Лидия Алексеевна передала мне все письма к ней брата и, в свою очередь, попросила меня вернуть ей ее письма к Антону Павловичу, что я и сделала. По поводу публикаций некоторых писем у нас произошли разногласия, и я с ней после того больше не виделась.

Прошло ровно четверть века. И вот как-то в апреле 1939 года я вдруг получила от Авиловой письмо, написанное уже нетвердым почерком постаревшего человека. Это письмо взволновало меня. В нем Лидия Алексеевна еще раз сказала о бывшем в ее жизни единственном чувстве и совершенно неожиданно напомнила мне и о моем прошлом. Вот это ее последнее письмо ко мне:

«14 апреля 1939 г.

Дорогая Мария Павловна.

Не сердитесь, что я называю Вас «дорогой». Поверьте, что иного обращения к Вам я в душе своей найти бы не могла.

Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами когда-то в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до слез. С тех пор я считала, что Вы не хотите больше иметь со мной никаких отношений. Даже не решилась зайти к Вам, когда была в Ялте. А я до сих пор горячо благодарна Вам за то, что Вы дали мне случай поцеловать руку Евгении Яковлевны.

Сегодня был у меня Ал. Р. Эйгес. Я спросила его, как бы Вы отнеслись, если бы я написала Вам? Он меня поощрил. Сваливаю свою вину, если она есть, на него.

А знаете, что мне хотелось сообщить Вам? Несколько лет тому назад я жила летом и осенью на даче под Полтавой и познакомилась с Ал. Ив. Смагиным. Он был мне чрезвычайно симпатичен, тем более что он постоянно говорил о Вашей семье. И вот он признался, что любил Вас всю жизнь. Любил только Вас. А один раз он сказал: «Не только любил, а люблю. И теперь люблю». И если бы Вы видели его лицо при этом признании!

Теперь он умер. Пусть Вы вспомните лишний раз о его большой любви и преданности. И пусть это будет ему наградой. А на меня Вы не рассердитесь за то, что

я напоминаю Вам о нем? Нет, пожалуйста, не сердитесь на меня! Я старая, больная, слабая. Надеюсь, что скоро я умру. И так мне хочется от Вас хотя бы одно ласковое слово!

Ведь и у меня тоже, как у Смагина, всю жизнь была одна любовь. Можно мне Вас поцеловать?

Сердечно любящая Вас

Л. Авилова».

Повторяю, что письмо это очень взволновало меня. При очередной моей поездке из Ялты в Москву, летом 1939 года, я зашла сама к Авиловой на квартиру. Она жила тогда на улице Воровского в доме № 10. Я увидела старую, больную, опустившуюся женщину. На столе лежала груда окурков от папирос.

Свидание наше было грустным и — последним. В 1943 году Лидия Алексеевна умерла.

* * *

Возвращаясь от брата из клиники домой, я много думала. Я чувствовала, что наша жизнь теперь должна перемениться. Если раньше все мои мысли были посвящены тому, чтобы создавать брату наиболее благоприятную обстановку для его творчества, то теперь на первый план вставали заботы о лечении брата, о восстановлении его здоровья. Мне было очень тяжело сознавать, что никто из нас не знал раньше о болезни брата и поэтому никаких мер не предпринималось. Как потом сказал сам Антон Павлович, у него кровохарканье началось еще в 1884 году, и он фактически болел уже тринадцать лет, не подозревая о туберкулезном процессе. Сколько раз за эти годы он говорил, что кашель его раздражает лишь механически, что «до чахотки еще далеко»! Как ужасно было сознание, что и в 1890 году свою тяжелейшую поездку на Сахалин, свое путешествие в тарантасе по Сибири в дождь, ветер, холод он совершал больным...

Из клиники Антон Павлович вернулся домой с категорическим предписанием врачей изменить образ жизни. Он обязан был прекратить напряженную работу, следить за своим здоровьем и лучше питаться, на зиму уезжать жить в теплые края, куда-нибудь на южные курорты.

По поручению брата я объявила крестьянам о прекращении у нас медицинских приемов и вообще деятельности Антона Павловича как врача. Это очень опечалило крестьян, да и самого Антона Павловича. Ему нужна была медицина. Он писал в эти дни в одном из писем, что прекращение в деревне медицинской практики «...будет для меня и облегчением и крупным лишением».

Лето началось у нас невесело. Меньше стало шуток, смеха. Гостей было уж не так много, да и приезжавшие старались держаться так, чтобы меньше беспокоить и утомлять брата. «По предписанию уважаемых товарищей, веду скучную, трезвую, добродетельную жизнь, и если эта история продлится еще месяц-другой, то я обращусь в гуся», — жаловался Антон Павлович в письме Н. М. Линтваревой.

Но к середине лета настроение у всех стало улучшаться: Антон Павлович стал чувствовать себя значительно лучше и почти уже не кашлял. Кстати, он никогда не был похож на больного человека, и, как бы плохо другой раз себя ни чувствовал, он никогда не жаловался, никогда не подавал вида. Никто ни из родных, ни из знакомых никогда не знал по-настоящему, когда Антон Павлович чувствовал себя больным. Это было особенностью Антона Павловича до конца его жизни.

В июле у нас опять появилось множество гостей, вновь зазвучали в усадьбе смех, музыка, пение. «У меня гостей — хоть пруд пруди, — писал Антон Павлович Лейкину в начале июля. — Не хватает ни места, ни постельного белья, ни настроения, чтобы с ними разговаривать и казаться любезным хозяином. Я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, то есть я уже не имею права уходить от гостей когда хочу и мне уже не запрещено много разговаривать».

В это же время к нам приехал художник Иосиф Эммануилович Браз писать портрет Антона Павловича, не дождавшись его приезда в Петербург. Стояла жаркая погода, и Антону Павловичу тяжело было позировать в своем кабинете. Браз писал ежедневно и сделал около десяти сеансов. Портрет ему явно не удавался, и поэтому он долго возился с ним. Как известно, этот

портрет не удовлетворил и самого художника, и он отказался дать его П. М. Третьякову для галереи. Он потом писал Третьякову: «Условия, при которых мне пришлось работать в усадьбе А. П. Чехова, принимая во внимание и следы, оставленные в нем болезнью, препятствовали в сильной мере успешному ходу моей работы».

С приближением осени Антон Павлович стал готовиться к отъезду на юг. Врачи посоветовали ему перезимовать во Франции, в Ницце — популярном в то время климатическом курорте для легочных больных. В начале сентября Антон Павлович и уехал туда.

XVI. ЗИМА БЕЗ БРАТА

Впервые на всю долгую зиму мы остались жить одни, без Антона Павловича. Мне пришлось одной вести хозяйство Мелихова. Нелегко было делить свое время между Москвой и деревней, успевать с делами там и тут. Брат Михаил Павлович к тому времени уже давно не жил с нами, у него была своя семья.

В отсутствие брата я затеяла большой ремонт флигеля. Дело в том, что зимой в нем было довольно прохладно. Ветер выдувал все тепло. Я занялась утеплением комнат, предполагая, что на следующую зиму брат будет жить дома, и тогда для удобства и покоя он мог бы поселиться во флигеле.

Стены комнат с внутренней стороны были обиты шведским картоном и оклеены новыми обоями, парадная дверь в прихожей обита войлоком и клеенкой, и на ней повешен на кольцах большой ковер. На окна, тоже на кольцах, были сделаны тяжелые занавеси. Заново была переложена печка. Одним словом, флигель получился очень хорошеньким и уютным, «похожим на бомбоньерку», — как я сообщала в своем письме брату во Францию. Но, к сожалению, как будет видно из дальнейшего, Антон Павлович зимою так и не жил в нем ни одного дня.

В последние перед этим годы я стала серьезно заниматься живописью. Я посещала вечерние классы Строгановского художественного училища. Там я познакомилась и потом подружилась с художницами Дроздовой

и Хотяинцевой. Марья Тимофеевна Дроздова частенько приезжала со мной в Мелихово. Мы вместе писали этюды. Антон Павлович в шутку переделал ее фамилию на другую — тоже «птичью» — и звал ее Удодовой, а иногда еще называл Гургулей. Настоящей художницы из нее так и не получилось. Александра Александровна Хотяинцева была художницей особого склада. Она бесспорно была талантливым человеком, но недостаточно цельной натурой, слишком много распылялась по мелочам и только поэтому не создала ничего значительного. Она была к тому же очень способным и тонким карикатуристом, ее рисунки публиковались в журналах и газетах.

Хотяинцева тоже часто бывала у нас в Мелихове и гостила иной раз по многу дней. Когда Антон Павлович уехал зимовать в Ниццу, она тоже вскоре поехала туда же. «Здесь одна русская художница, рисующая меня в карикатуре раз по десять — пятнадцать в день», — писал из Ниццы Антон Павлович. Кстати, эти карикатуры были довольно удачны. В другом письме Антон Павлович так обрисовал мне Хотяинцеву в Ницце: «Вчера возил я А. А. Хотяинцеву в Монте-Карло и показывал ей рулетку, но она, как вообще женщины, лишена того хорошего любопытства, которое так двигает мужчин, и на нее ничего не производит впечатления. Одета она в то же платье, в каком была в Мелихове. Среди русских, обедающих в Pension russe, она самая интеллигентная, даже сравнивать нельзя».

Спустя года два А. А. Хотяинцева открыла совместно с художницей Елизаветой Николаевной Званцевой художественную мастерскую. Они привлекли в качестве учителей известных художников Серова и Коровина. Лепку преподавала скульптор Анна Семеновна Голубкина. Мастерская пользовалась большой популярностью у молодых художников. Занималась в этой мастерской и я. Некоторые мои работы там, как, например, картину «Балерина», поправлял сам Серов.

В конце 1897 года я получила в Мелихове письмо от художника И. Э. Браза с просьбой прислать ему в Петербург тот портрет Антона Павловича, который он писал в Мелихове и которым не был удовлетворен. Он сообщал мне, что, надеясь на приезд брата из-за границы в Петербург, он собирается еще поработать над

этим портретом. Портрет Бразу я отослала, но предупредила его, что Антон Павлович раньше лета в Россию не вернется. Тогда Браз предложил П. М. Третьякову оплатить ему расходы по поездке в Ниццу, где он попытается написать новый портрет Антона Павловича. Третьяков согласился на это, — ему, видимо, очень хотелось иметь портрет Чехова в своей галерее.

В марте 1898 года И. Э. Браз приехал в Ниццу и написал там новый портрет Антона Павловича. Так появился известный портрет Чехова, находящийся и посейчас в Третьяковской галерее, на котором после подписи Браза стоит: «Ницца, 98 г.».

Самому Антону Павловичу портрет опять не нравился, и он писал мне: «Говорят, что я очень похож, но портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нем не мое, и нет чего-то моего». А в письме к Хотяинцевой он пожаловался на то, что «выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену». Позднее это дало повод А. А. Хотяинцевой нарисовать карикатуру на Антона Павловича. Она изобразила его стоящим перед своим потретом в Третьяковской галерее. Рисунок этот был опубликован в газете «Новое время».

И. И. Левитану, однако, этот портрет нравился.

В Ницце Антон Павлович написал несколько рассказов, среди них «В родном углу», «Печенег», «На подводе», «У знакомых». Я прочитала их в газете «Русские ведомости», и мне они очень понравились, особенно «В родном углу», о котором много говорилось и в литературных кругах Москвы. Я не удержалась и тогда же сообщила об этом брату в своем письме.

Но Антону Павловичу в Ницце работалось плохо. Его творческое самочувствие за границей было значительно хуже, чем дома. «Работать хочется, но для работы нет подходящей обстановки», — писал он мне оттуда; или еще в другом письме: «Работаю, к великой моей досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно; чувствуешь себя так, точно подвешен за одну ногу вниз головой». Зато его писем к нам из-за границы приходило значительно больше, чем из других его путешествий. В этих письмах он проявлял заботы и о доме, и о мелиховских крестьянах, и о школьниках. Присылал

он также нам и нашим работникам подарки. Это внимание, конечно, всех трогало.

В дни пребывания Антона Павловича в Ницце во Франции гремело известное «дело Дрейфуса». Суть его такова. Еще в 1894 году военным судом был осужден на пожизненную ссылку офицер французской армии Альфред Дрейфус — еврей по национальности, по ложному обвинению в шпионаже.

В конце 1897 года под давлением французского общественного мнения был назначен пересмотр приговора по делу Дрейфуса. Однако военный суд оставил приговор в силе.

Спустя несколько дней после этого суда известный французский писатель Эмиль Золя опубликовал в газете «Аврора» статью — открытое письмо к президенту Франции Фору. Это письмо было озаглавлено «J'accuse» («Я обвиняю»). В нем писатель во всеуслышание, открыто обвинил французское военное министерство, генеральный штаб в шантаже и грязном подлоге, назвал полностью имена тех лиц, которые совершили государственные преступления, связанные с «делом Дрейфуса».

Антон Павлович, для которого справедливость была выше всего на свете, очень близко к сердцу принял все это дело и стал на сторону Дрейфуса и Золя. Интересно, что именно Суворину, занявшему тогда вместе со своей газетой «Новое время» резко отрицательную, реакционную позицию по отношению к Дрейфусу и Золя, брат писал: «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Золя благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) [1] в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные».

Суворинская газета до конца была верна себе и продолжала помещать на своих страницах телеграммы, информации, статьи по делу Дрейфуса с злобными клеветническими и антисемитскими выпадами как против Дрейфуса и Золя, так и против всех, кто имел мужество защищать их. Антона Павловича все это очень

---

[1] Иронический намек Антона Павловича на то, что реакционные и шовинистически настроенные газеты, в том числе «Новое время» Суворина, писали на своих страницах, будто все, кто стоял на стороне Дрейфуса или Золя, подкуплены каким-то еврейским «синдикатом».

возмущало, и в письме к профессору Ф. Д. Батюшкову он писал, что «Новое время» просто отвратительно». Теперь он окончательно понял, что нельзя отделять Суворина от его газеты. Именно теперь в личных дружеских отношениях брата к Суворину наступил переломный момент. «В деле Золя «Новое время» вело себя просто гнусно, — писал Антон Павлович брату Александру. — По сему поводу мы со старцем обменялись письмами... и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем...»

Так закончились отношения Антона Павловича с Сувориным. Правда, как я уже упоминала выше, редкая переписка и встречи между ними происходили и позднее, но это было уже совсем не то, что прежде.

В Ницце Антон Павлович познакомился и часто встречался с известным русским профессором М. М. Ковалевским, когда-то читавшим лекции в Московском университете, но отстраненным от преподавания в конце 80-х годов за прогрессивный образ мыслей. Брат писал мне из Ниццы о знакомстве с ним: «Это тот самый Максим Ковалевский, который был уволен из университета за вольнодумство». В другом письме к Хотяинцевой он назвал Ковалевского «большим человеком во всех смыслах и интересным».

Встречался брат в Ницце также с И. Н. Потапенко, с писателем Вас. И. Немировичем-Данченко, артистом и режиссером Малого театра А. И. Сумбатовым-Южиным, или, как мы прозвали его в своей среде, Сашечкой Филе. Это прозвище он у нас получил за то, что во время ужинов в ресторане, когда мы бывали вместе, он всегда заказывал приготовить себе «филе с мозжечком». Жена его Мария Николаевна у нас называлась соответственно — Машечкой Филе.

Талантливый артист, режиссер и драматург, Александр Иванович Южин был очень дружен с Антоном Павловичем и любил его. Антон Павлович платил ему тем же и, так же как с Вл. И. Немировичем-Данченко, был с ним на «ты». Ряд отзывов А. И. Южина о произведениях брата, как, например, о рассказе «Мужики», говорит, что он оценивал творчество Антона Павловича исключительно высоко.

Нельзя не упомянуть еще об одном знакомстве Антона Павловича во Франции — это с известным скульптором М. М. Антокольским. В Таганроге на берегу

Азовского моря по сей день стоит великолепный памятник Петру Первому работы Антокольского. Этот памятник появился в Таганроге благодаря переговорам Антона Павловича в Париже со скульптором. Дело в том, что осенью 1898 года исполнялось двухсотлетие со дня основания Таганрога. Город был основан, как известно, Петром Первым. Городское самоуправление собрало деньги на сооружение памятника основателю города. Городской голова Иорданов попросил Антона Павловича повидаться с жившим в Париже русским скульптором М. М. Антокольским и поговорить с ним об изготовлении точно такой же статуи Петра, какая им была раньше сделана для Петергофа. Антон Павлович, всегда заботившийся о родном городе, поручение выполнил, и памятник Петру в Таганроге появился.

* * *

Весной 1898 года наша семья, все друзья и знакомые с нетерпением ждали возвращения Антона Павловича домой. Но, как назло, погода стояла все время холодная: весна была затяжной и снег долго не сходил. Брат по нашей просьбе задерживался в Париже и ждал нашего сообщения, когда можно выезжать. Лишь 2 мая он покинул Францию и 5-го числа приехал в Мелихово после восьмимесячного отсутствия.

XVII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ОТЦА

У нашего отца, Павла Егоровича, в мелиховском доме была своя небольшая комнатка, расположенная рядом со столовой. Он жил в то время уже на полном покое и занимался чем хотел. Летом он любил возиться в саду, следить за дорожками, подчищать их, ухаживать за деревьями. Зимой он обычно расчищал от снега тропинку во флигель, подметал около дома снег.

Отец полностью признавал в Антоне Павловиче хозяина и главу дома, во всем ему подчинялся. В последние годы своей жизни он был необычайно кротким. Брат очень внимательно и заботливо относился к отцу, хотя иногда безобидно и подтрунивал над его слабостями и привычками. Отец до конца жизни оставался верен

религии и выполнял все религиозные обряды. По праздникам он посещал церковь в соседнем селе, куда нужно было специально ездить на лошади. Так как часто делать такие поездки, особенно вечером ко всенощной, было нелегко, то отец порой совершал у себя в комнатке в одиночестве свои собственные богослужения: зажигал лампаду, свечи, читал евангелие, тихонько подпевал, кадил ладаном. Никто ему в этом не мешал.

Было у отца еще одно занятие в Мелихове, свойственное его педантичной и аккуратной натуре, — это ведение дневника. Каждый день он заносил в него события мелиховского дня. Эти лаконичные записи порой были трогательны и наивны: кто приезжал к нам, кто обедал, кто из членов семьи куда уехал, какие цветы в саду расцвели, какое настроение у Антоши и т. д. [1]. Приведу для примера ряд отцовских записей из его дневника.

29 июня 1892 г.	На именинах собрание было полное гостей.
3 марта 1893 г.	Снег тает. Парники наклали навозом.
18 марта »	Мамаша говела.
22 апреля »	Антоша болен.
20 августа 1894 г.	За эти двадцать дней ничего нельзя было делать. Убыток громадный сельскому хозяйству. Отчаяние и упадок духа.
31 декабря »	Гостей не было никого. Новый год не встречали, после ужина легли спать в 10 часов.
2 января 1895 г.	Антоша ездил обедать к священнику. Т. Л. Щепкина-Куперник и И. И. Левитан приехали, когда мы ужинали.
7 апреля »	Антоша, Левитан и Маша пошли в лес. Гуляли до 10 часов вечера.
6 мая »	Приехал художник. Вечером приехали: мать, Соня с Володькой и нянькой, Семашко и Иваненко.

[1] Правда, теперь этот дневник отца оказался полезен, и литературоведы пользуются им для уточнения тех или иных обстоятельств биографии писателя.

1 января	*1896 г.*	Были князь и княгиня Шаховские. Женщины и мальчики были с поздравлением. Савельев уехал в Таганрог. Были Семенкович с женой. Батюшка.
24 февраля	»	Батюшка и псаломщик обедали. Приехали Лидия и Маша. Был ветеринар и ночевал.
6 марта	»	Гости ночевали в флигеле и дома.
20 марта	»	Антоша проехал мимо ст. Лопасни на курьерском поезде на юг.
19 октября	»	Антоша, Маша и Мизинова приехали из Петербурга. Забытые вещи в вагоне возвращены в Лопасню целыми.
28 декабря	»	Наряженные поехали к Семенковичу в гости.
31 декабря	»	Новый год встретили в 12 ч. ночи, своя семья и гости: Лика, Саша Селиванова и художник. Они у нас ночевали.
17 января	*1897 г.*	Антоше 37 лет. О. Николай с псаломщиком были. Маша приехала.
5 февраля	»	Антоша закончил народную перепись.
23 апреля	»	Антоша в саду занимается.
3 июня	»	Антоша и Иваненко рыбы наловили в большом пруде.
22 июля	»	Антоша, Лидия и художник уехали. Браз писал портрет 17 дней и не кончил.
20 августа	»	Теперь у нас обедали две художницы и 1 худ. Левитан. Маша уехала в Москву.
31 августа	»	Антоша уехал из Мелихова в Биарриц в 8 ч. утра.
5 мая	*1898 г.*	Антоша приехал из Франции. Привез подарков много.
15 июля	»	Ходили в лес за грибами — Маша, Анюта, Роман, Иван и Антоша.
30 июля	»	Французы были, ужинали и чай пили.

15 августа 1898 г.	Приехала Н. М. Линтварева. Приехали Гольцев и Коновицер. Были Семенковичи. 7 душ ночевали посторонних.
3 сентября »	Землекопы копают в саду ямки под наблюдением Антоши, сажают деревья и т. д.

Помимо этого, каждый день записывалась температура воздуха и какая была погода: солнечно, пасмурно, дождь, снег.

Когда отец куда-нибудь уезжал из Мелихова (в Москву к Ивану Павловичу, в Петербург к Александру Павловичу), Антон Павлович за него сам делал записи в дневнике, причем приспосабливался к тому стилю, который завел отец. Иногда он не выдерживал серьезного тона и начинал делать шутливые записи в том же отцовском «стиле», например:

15—16 марта 1893 г.	Баран прыгает. Марьюшка радуется.
18 марта »	Идет снег. Слава богу, все уехали и остались только двое: я и M-me Чехова.
20 марта »	Ясный день. Парники готовы. Мамаше снилась коза на горшке.
23 марта »	Мамаше снился гусь в камилавке. Это к добру. Больна животом Машка. Зарезали свинью.
13 мая 1895 г.	По этому дневнику Саша справлялся для Антоши и Маши, скоро ли будет дождь. Облака есть, дождем пахнет, а Саша хоть и умный, а все-таки — дурак...

* * *

Последнюю запись в этом отцовском дневнике пришлось сделать мне. Вот как это случилось.

В половине сентября 1898 года Антон Павлович уехал в Ялту. Я опять осталась одна с родителями, причем, как всегда, большую часть времени вынуждена

была жить в Москве из-за работы в гимназии. Я жила тогда на Садовой Сухаревской, в доме Кирхгоф.

В пятницу 9 октября 1898 года вечером у меня в гостях был художник И. Э. Браз. Сидим мы, весело беседуем, смеемся, как вдруг приносят телеграмму из Лопасни, адресованную на мое имя. Телеграмма была без подписи и содержала несколько слов: «Поезжай клиники Левшина, там больной отец». Сначала я ничего не могла понять: чей отец, почему больной и почему в Москве в клиниках Левшина? Своего отца, Павла Егоровича, я оставила в Мелихове всего несколько дней назад совершенно здоровым.

В это время ко мне пришел брат Иван Павлович. Прочитав телеграмму, он тоже решил, что тут какое-то недоразумение и путаница. Но я все же начала волноваться, ибо телеграмма адресована мне и все-таки из Лопасни. Я решила поехать в клиники. Браз любезно предложил мне поехать вместе.

Мы не знали адреса клиник Левшина и заехали вначале в первую попавшуюся аптеку. Это было уже около половины десятого вечера. Узнав адрес профессора Левшина, я позвонила по телефону к нему на квартиру. Там мне ответили, что профессора дома нет, что его вызвали по телефону в клиники, так как туда был привезен из Серпухова больной с ущемлением грыжи. Тогда мне стало ясно, что это отец. Невыносимо мучаясь, подъезжала я к хирургическим клиникам.

Первое, на что я обратила внимание, когда мы подъехали, — это огромное окно, через которое была видна комната, залитая электрическим светом, и там вокруг стола двигались белые фигуры. Каким-то чутьем я сразу поняла, что это делают операцию отцу.

Я не помню, как я вбежала в парадное клиники. На мой вопрос швейцар подтвердил мне, что действительно несколько времени назад из Серпухова привезли старика Чехова с ущемлением грыжи, что он был достаточно бодр и сам взошел по лестнице. Дальше он сообщил, что недавно приехал профессор и сейчас будет делать операцию. Я узнала также, что отца привез земский врач Е. П. Григорьев, живший в селе Угрюмове, недалеко от Мелихова.

Меня в клинику, конечно, не пустили, и я осталась ждать внизу в вестибюле. Нетрудно представить, что

я переживала в тот момент, когда отцу делали операцию... Мимо меня проходили в белых халатах какие-то мужчины, женщины, которые мне, конечно, ничего не могли сказать.

Шли минуты и часы. Браз не оставлял меня. Он и швейцар, как могли, успокаивали и утешали меня. Был уже четвертый час ночи, когда ко мне спустился профессор Левшин. Вид его был утомленный, волосы прилипли к вискам, руки, как мне показалось, были еще в крови. Ему уже раньше сообщили о моем приезде, и он прямо направился ко мне и буквально накинулся на меня:

— Как вам не стыдно. Бросили старика одного. Операция была трудной и длительной, и только такой здоровый старик, как ваш отец, мог ее вынести. Пришлось вырезать почти три четверти аршина омертвевшей кишки.

— Профессор, я оставила дома отца три дня назад совершенно здоровым. Я в Москве служу в гимназии и завтра должна была ехать домой. Телеграмма о том, что отца привезли к вам в клинику, свалилась на меня как снег на голову, — чуть не плача, ответила я ему.

Левшин, видимо, пожалел меня и более мягко стал говорить, что операция в общем прошла удачно, что больной уже пришел в себя и я, если хочу, могу услышать его голос. Он провел меня наверх в операционную, и я услышала довольно бодрый голос отца. Он меня не видел, так как был загорожен ординаторами.

Уведя меня из комнаты, Левшин вновь сказал мне:

— Повторяю, это была трудная операция, потому что прошло слишком много времени, пока больного доставили в клинику, и через час он мог бы умереть. Сейчас пока все благополучно, но все еще нельзя рассчитывать на полный успех. Уезжайте домой, а завтра в восемь утра снова приезжайте.

Дома я, конечно, ни на одну минуту не сомкнула глаз. Наутро я приехала в клинику уже с Иваном Павловичем. Все еще спали, и отец и врач, который был при нем всю ночь. Мы стали ждать.

Позднее приехал Левшин и провел нас в свой кабинет. Нужно сказать, что за все это время я не плакала, а тут, у профессора, меня как прорвало...

Отец спал долго и проснулся только к часу дня. Заходившие к нам врачи сообщили, что пульс и темпера-

тура нормальные. Наконец в сопровождении доктора Зыкова мы поднялись к отцу. Он обрадовался нашему приходу. Слабым голосом он рассказал нам, что совершенно не слыхал, как ему сделали операцию, и что он доволен, потому что вчера ему невыносимо тяжело было ехать от Мелихова до станции Лопасня на санях по кочкам. Нам не позволили долго быть у больного, но разрешили прийти еще раз к концу дня.

Вечером я нашла отца в значительно лучшем состоянии. Он был заметно бодрее и сказал, что уход за ним очень хороший, все внимательны и ему все нравится тут. Жаловался только на боль в животе. Попросил также, чтобы я привела к нему мать. Отцом в клинике действительно интересовались все — и врачи, и студенты-практиканты, и обслуживающий персонал. Все удивлялись, что отцу уже 74 года, а он так здоров и крепок. Видимо, им интересовались еще и потому, что он — отец писателя Чехова.

На другой день, 11 октября, я опять навестила отца вместе с приехавшей из Мелихова матерью. Он был попрежнему в хорошем состоянии, всем был доволен, но продолжал жаловаться на боль в животе и на неприятную отрыжку. Я немного успокоилась. Как будто все шло хорошо.

Но вот 12 октября отцу стало вдруг хуже и выяснилась необходимость делать повторную операцию. Она была произведена во второй половине дня. Эту операцию отец уже не мог вынести и скончался. Это для всех нас было совершенной неожиданностью и тяжелым ударом.

* * *

Так появилась в мелиховском дневнике отца последняя запись, сделанная мною в 1898 году:

«12 октября П. Е. Чехов умер в Москве в 5 часов дня».

* * *

Трудно передать горе нашей семьи. Я не знала, как сообщить о смерти отца Антону Павловичу в Ялту. Он отца любил, а в последнее время был особенно заботлив и внимателен к нему, и я боялась, что такое известие произведет на больного брата тяжелое впечатление и

может обострить его болезнь. Я не нашла в себе силы сообщить брату грустную весть и думала, что он сам узнает из каких-либо других источников или из газет. Я послала лишь в Ялту на имя И. А. Синани, владельца небольшого книжно-табачного магазина, где часто бывал брат, такую телеграмму: «Не откажите сообщить, как принял Антон Павлович Чехов известие о кончине его отца. Как его здоровье».

Как потом выяснилось, И. А. Синани был смущен этой телеграммой и думал, что ему нужно скрывать от Антона Павловича смерть отца и лишь вечером 13 октября показал ему мою телеграмму. Антон Павлович сейчас же телеграфировал нам: «Отцу царство небесное, вечный покой. Грустно, глубоко жаль. Пишите подробности. Здоров совершенно, не беспокойтесь, берегите мать».

Позднее, когда брат узнал причину смерти отца, он глубоко переживал, что его не было в это время в Мелихове.

— Будь я дома, я никогда бы не допустил омертвения, отца не пришлось бы везти в Москву и он долго бы еще жил, — говорил Антон Павлович.

Мы похоронили отца на кладбище Новодевичьего монастыря. Через несколько дней я получила от Антона Павловича и письмо. Он писал в нем: «Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас; сознание, что вам всем приходится переживать в Москве такую передрягу, в то время как я живу в Ялте, в покое, — это сознание не покидает и угнетает меня все время... Не пожелает ли мамаша приехать ко мне в Ялту, чтобы отдохнуть здесь? Кстати бы она огляделась здесь, и если бы ей понравилось, то мы поселились бы здесь навсегда... А если бы и ты могла взять отпуск и приехать хоть на неделю, то для меня это была бы большая радость. Кстати бы поговорили, как теперь быть. Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни...»

В дальнейшем именно так и получилось: «течение мелиховской жизни» у нас прекратилось. Мы в Мелихове уже больше не жили по-настоящему, а лишь наезжали туда, пока не продали совсем, переехав на жительство в Ялту.

XVIII. ОПЯТЬ «ЧАЙКА»

Весной 1898 года я как-то мельком услыхала, что в Москве создается новый театр и что готовится к постановке трагедия А. К. Толстого «Царь Федор». Но я не обратила на это внимания и даже не знала, что одним из главных организаторов нового театра был Владимир Иванович Немирович-Данченко, старый знакомый нашей семьи.

Правда, раньше, когда я встречалась с ним, приблизительно в конце 1897 года, он всякий раз почему-то начинал говорить мне о «Чайке», о ее литературных и сценических достоинствах, но я сейчас же переводила разговор на другую тему: в памяти вставал Петербург. Я уже только впоследствии поняла, что это был «дипломатический» подход Владимира Ивановича, знавшего мою дружбу с братом и, видимо, решившего, что я могла бы повлиять на брата в смысле разрешения на постановку «Чайки» в новом театре.

Осенью 1898 года, после смерти нашего отца, когда Антон Павлович зимовал в Ялте, я перевезла мать в Москву и наняла квартиру на Малой Дмитровке, на углу Успенского переулка. На другом конце этого переулка, в Каретном ряду, в Эрмитаже, как потом оказалось, был расположен тогда еще не известный мне Московский Художественно-общедоступный театр. В нем шла пьеса «Царь Федор». Исаак Ильич Левитан не раз говорил мне об этом спектакле как о чем-то выдающемся и все звал меня сходить посмотреть его. Но я никак не могла собраться.

И вот как-то однажды ко мне явился брат Иван Павлович и сказал, что меня разыскивает Вл. И. Немирович-Данченко, чтобы передать мне билет на премьеру «Чайки», которая идет 17 декабря в Московском Художественно-общедоступном театре. Тут я впервые узнала о причастности Владимира Ивановича к этому театру (а К. С. Станиславского я тогда еще не знала). Сердце мое болезненно сжалось. Опять «Чайка»! Я боялась повторения петербургского провала.

Приблизительно за неделю до премьеры «Чайки» я пошла в театр посмотреть «Царя Федора». Удивительная постановка и игра актеров привели меня в восторг. Чтобы успокоить Антона Павловича, я написала ему об

этом и добавила, что, конечно, и «Чайка» пойдет хорошо. Я знала, что в день премьеры брат в Ялте будет нервничать, и поэтому сообщила ему, что на спектакле я буду непременно и что уверена в успехе. На самом же деле я боялась идти на премьеру и отказалась от присланного билета, предложив брату Ивану Павловичу идти со своей семьей.

Вечером 17 декабря мимо окон моей квартиры шумно проезжали извозчики, экипажи, кареты, направлявшиеся к Эрмитажу. Потом наступила тишина... Я мучительно волновалась. И в конце концов не выдержала, накинула на себя меховую тальму и пошла узнать, что делается в театре. Открыла ложу, где сидел брат, и тихо присела у самых дверей. Тишина и внимание публики меня поразили. Совсем непохоже на Петербург. Я шепотом спросила у брата:

— Ну как?

Он сказал также тихо:

— Замечательно.

Я стала смотреть пьесу и увидела чудесную игру незнакомых мне артистов. Я еще не знала ни Книппер, ни Лилину, ни Вишневского, ни других артистов. Публика принимала спектакль восторженно, слышались вызовы автора на сцену. Мне было бесконечно жаль, что брата нет в театре и он не может видеть такую шумную реабилитацию своей пьесы. Как известно, в конце спектакля, по требованию публики, Антону Павловичу в Ялту была послана поздравительная телеграмма.

На другой день и я написала брату восторженное письмо. Антон Павлович сохранил все мои письма, и теперь я с интересом иной раз прочитываю то, что писала ему пятьдесят — шестьдесят лет назад. Вот это письмо о первой постановке «Чайки» в Художественном театре.

«Вчера шла «Чайка». Поставлена она прекрасно. Первое действие прошло вполне понятно и интересно. Актрису, мать Треплева, играла очень, очень милая артистка Книппер, талантливая удивительно, просто наслаждение было ее видеть и слышать. Доктор, Треплев, учитель и Маша были превосходны. Не особенно мне понравились Тригорин и сама Чайка. Тригорина играл Станиславский вяло, и Чайку плохая актриса, но, в

общем, поставлено так жизненно, что положительно забываешь, что это сцена. В театре была тишина, слушали внимательно. После первого акта стали вызывать тебя, и когда Немирович объявил, что тебя в театре нет, то все, особенно в партере, закричали: «Так надо ему послать телеграмму!» После третьего действия опять шум и овации артистам и вызовы автора. Тогда Немирович произнес: «В таком случае позвольте мне послать автору телеграмму». Из публики: «Просим, просим». Знакомых было очень много, я немного волновалась, но было весело, все поздравляли с успехом, говорили приятные слова по твоему адресу и т. д. ...»

Почему-то и К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях упорно заявляют, что перед постановкой «Чайки» я приходила якобы в театр и просила отменить спектакль, чем еще больше создавала нервозность всей труппы перед премьерой «Чайки». Но я уже рассказала выше, что до присылки мне Немировичем-Данченко билета на премьеру «Чайки» я даже и не знала, что он возглавляет этот театр. Вероятно, мои дорогие, незабвенные друзья, и Константин Сергеевич и Владимир Иванович, впоследствии немножко пофантазировали для того, чтобы подчеркнуть трудности постановки «Чайки» (а с их легкой руки об этом стали в дальнейшем повторять в своих трудах и некоторые наши уважаемые современные писатели-чеховеды).

Чем дальше шла «Чайка», тем больше закреплялся ее успех. Спустя две недели после премьеры я писала брату: «Чайка» производит фурор, только и говорят, что о ней. Билетов достать нельзя, на афишах печатают каждый раз: «Билеты все проданы». Мы живем около Эрмитажа-театра, и когда идет «Чайка» или «Царь Федор», то мимо наших окон извозчики медленно едут непрерывным гуськом, городовые кричат. В час ночи пешеходы громко говорят о «Чайке», и я, лежа в постели, слышу все это».

Вскоре я перезнакомилась со всеми артистами Художественного театра, и между нами началось сближение. Вот что я писала брату 5 февраля 1899 года, после того как в третий раз посмотрела «Чайку»:

«Была я вчера в третий раз на «Чайке». Смотрела еще с большим удовольствием, чем в первый и во

второй разы. Очень, очень хорошо играли, даже Роксанова была хороша. Вишневский, который был у нас в гостях недавно, пригласил меня на сцену и перезнакомил со всеми артистами. Если бы ты знал, как они обрадовались!.. Алексеева, которая играет Машу, просила передать тебе, что лучше по ней ты роли не мог написать, она тебя очень благодарит. Кланяются все тебе. С какой любовью они играют твою «Чайку»!! Была Федотова, плакала все время и говорила: «Передайте ему, голубчику, что старуха очарована пьесой и шлет ему глубокий поклон». При этом она мне поклонилась очень низко. В каждом антракте она требовала меня к себе и все плакала... Был Южин, но он ничего не сказал. Я от души пожалела, что ты не можешь посмотреть свою пьесу при такой художественной игре...»

Так мне пришлось быть свидетельницей двух постановок «Чайки». Одной — трагической, жестокой «Чайки», не признавшей новаторство драматурга, оттолкнувшей его от театра, и другой «Чайки» — утвердившей новую, реалистическую драматургию, вдохнувшей в автора веру, творческую радость, той «Чайки», что навсегда увековечила себя, оставшись эмблемой театра, признанного сейчас лучшим в мире.

XIX. ПЕРЕЕЗД В ЯЛТУ

Вернувшись в мае 1898 года из Франции, Антон Павлович все лето прожил в Мелихове. Осенью, по настоянию врачей, он должен был вновь уехать куда-нибудь в теплые края. За границу ему больше не хотелось ехать, оторванность на долгое время от России на него действовала угнетающе, да и работалось ему там плохо. Брат решил поехать в Крым. Сначала он хотел пожить в Ялте, а позднее, если в Крыму зимой оказалось бы холодно, собирался переехать на Кавказ.

Расставался Антон Павлович с Мелиховым и Москвой с большой неохотой. Он писал Лике Мизиновой: «Из Москвы не хотелось уезжать, очень не хотелось, но нужно было уезжать, так как я все еще пребываю в незаконной связи с бациллами».

В Ялте стояла хорошая, теплая осень, и Антону Павловичу южный берег Крыма понравился. У него появи-

лась даже мысль купить где-нибудь на побережье небольшое и недорогое именьице, с тем чтобы иметь его для лета и осени как крымскую дачу. О постоянной жизни в Крыму брат тогда еще не думал, «ибо мы, то есть вся наша семья, имеем уже непоборимое тяготение к северу», — как он писал мне в письме из Ялты. Такое именьице, очень дешевое, всего лишь за две тысячи рублей, брат и нашел около деревушки Кучукой, невдалеке от Кекинеиза, по дороге из Ялты в Севастополь (между Симеизом и Байдарскими воротами). В письмах ко мне он обрисовал все прелести Кучукоя и спрашивал моего совета, стоит ли покупать его. Мне понравилась идея иметь в Крыму свою дачку, хотя бы и на крохотном кусочке земли из трех десятин, но на которых были и виноградник, и табачная плантация, и домик в два этажа на четыре комнаты, и даже флигелек на две комнаты. К тому же продажная цена была явно дешевой. В своем ответном письме я порекомендовала брату купить имение и предложила, если нужно, приехать самой в Ялту и посмотреть его во время рождественских каникул.

Эти наши переговоры были прерваны неожиданной смертью отца. Все пошло по-иному. Семья наша как-то сразу распалась. Мать осталась в Мелихове в одиночестве, и ей это было очень тяжело. Я в Москве жила одна. Антон Павлович в Ялте — тоже один. Со смертью отца, как писал брат из Ялты одному из своих знакомых, «выскочила главная шестерня из мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утеряла теперь всякую прелесть и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо». И вот теперь он стал думать уже не о летней дачке в Крыму, а о переезде туда всей семьей на постоянное жительство.

Я ответила согласием на предложение брата приехать к нему в Ялту для того, чтобы посоветоваться, как устроить дальнейшую жизнь нашей семьи. Попросив отпуск в гимназии, я в двадцатых числах октября выехала к брату в Ялту.

В Крыму стояла тихая, теплая погода, и я из Севастополя поехала в Ялту пароходом. Антон Павлович встретил меня на пристани. Когда мы сели на извозчика и поехали, брат сказал мне:

— А знаешь, я купил участок земли. Высоко над городом. Вид изумительный! Завтра пойдем смотреть.

Я поняла, что вопрос о переселении в Крым уже решен, и сердце мое тоскливо сжалось: мне стало жаль наше поэтическое, милое Мелихово, на благоустройство которого все мы, и я в особенности, отдали столько своих трудов, где нами было пережито так много интересного... Во мне зашевелилось ревнивое чувство.

Антон Павлович жил в то время в Ялте на Аутской улице, на даче Иловайской «Омюр» [1], а меня устроил тут же неподалеку, в Лавровом переулке, у неких Яхненко, сдававших комнаты.

Вечером я сидела у брата, и мы долго беседовали. Я рассказывала ему о подробностях смерти отца, о наших тяжелых переживаниях. Говорили и о судьбе Мелихова, о том, как мы привыкли к нему и как тяжело было бы с ним расстаться. Мы решили тогда Мелихова пока не продавать, предполагая, что зиму, осень и весну будем жить в Ялте, лето в Мелихове. У Антона Павловича была, видно, еще тайная мысль, что ему удастся когда-нибудь и зимой пожить в Москве и Мелихове.

На другой день утром мы пошли с Антоном Павловичем в Аутку смотреть купленный им участок. Идти пришлось долго и все в гору. Я была раздосадована, что брат выбрал участок так далеко от моря, но, как потом мне стало ясно, это было вызвано материальными соображениями. Дело в том, что участки в центре города стоили дорого и доходили до двадцати пяти рублей за квадратную сажень. Владельцами их обычно были или великосветские аристократы, или коммерсанты-предприниматели. А этот участок за чертой города был куплен всего лишь по пяти рублей за квадратную сажень, да еще на льготных условиях расчета. Эта финансовая сторона имела немаловажное значение для Антона Павловича, ибо денег у него было очень мало, а на строительство дома средств вообще пока еще не было, их нужно было где-то доставать.

Когда мы пришли на место и я посмотрела на участок, настроение у меня совсем испортилось. Я увидела нечто невероятное: участок представлял собой часть кру-

---

[1] Ныне дом № 28 по улице Кирова.

того косогора, спускавшегося прямо от шоссейной дороги вниз, на нем не было никакой постройки, ни дерева, ни кустика, лишь старый, заброшенный корявый виноградник торчал из сухой, твердой, как камень, земли. Он был обнесен плетнем, за которым лежало татарское кладбище. На нем, как нарочно, в это время происходили похороны. Невольно перед глазами у меня встало наше Мелихово с его аллеями, большими деревьями, фруктовым садом, аккуратными дорожками. И все это мы должны променять на этот дикий косогор...

Я не сумела, видимо, скрыть от брата своего первого неприятного впечатления и этим расстроила и огорчила его. Мне стало досадно на себя. Я постаралась внушить себе, что все-таки это прославленный Крым и вот сейчас, несмотря на октябрь, тут тепло, так красиво кругом... И правда, над нами расстилалось безоблачное синее небо, светило яркое солнце, и открывавшийся с участка вид на море, Ялту и на раскинутые вокруг горы был замечательный. Ялта лежала как на ладони. Тогда еще был виден мол, подходившие к нему парусные суда, пароходы. Теперь ничего этого уже не видно из-за сильно разросшегося сада. И, наконец, самое главное — брату нужно здесь жить ради здоровья.

Вечером на квартире у Антона Павловича мы вместе занялись составлением плана участка: где должен стоять будущий дом, как распланировать сад, намечали дорожки в саду. Набросали также и черновой план расположения комнат в доме, проект которого взялся составить приглашенный Антоном Павловичем молодой архитектор Лев Николаевич Шаповалов. Мы так увлеклись и размечтались, что планировали даже гроты и фонтаны, позабыв, что пока еще нет денег на постройку и дома.

Я прожила в Ялте у брата около десяти дней. Вместе с ним я ходила в гости к начальнице ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкеевич, в радушной семье которой брат частенько бывал (в своих письмах он обычно называл Варвару Константиновну «гимназией»). Я настолько серьезно настроилась на переезд в Ялту, что вела даже переговоры с Харкеевич о переводе меня на работу в ялтинскую гимназию.

В начале ноября я уехала в Москву, а Антон Павлович в Ялте развернул строительную деятельность. Он заложил в банке участок, получил под него деньги, нанял подрядчика Бабакая Осиповича Кальфа. В середине ноября начались земляные работы по планировке участка, а сам Антон Павлович занялся посадкой деревьев в будущем саду.

В организационных и хозяйственных делах по строительству брату много помогал упоминавшийся уже раньше Исаак Абрамович Синани. Это был милейший человек, пользовавшийся популярностью и уважением у всех бывавших в Ялте писателей, артистов и художников. Его книжно-табачный магазинчик на набережной, носивший название «Русская избушка», был в своем роде клубом, где встречались все жившие или приезжавшие в Ялту деятели литературы и искусства. Синани очень любил Антона Павловича и оказывал ему много различных услуг. Во время строительства дома он был консультантом и советчиком брата. Иногда Антон Павлович устраивал заседания по делам постройки, в которых принимали участие он сам, архитектор Шаповалов, подрядчик Кальфа и Синани. Чем дальше шло строительство, тем больше Антон Павлович увлекался созданием своей новой ялтинской дачи и сада вокруг нее.

* * *

Антон Павлович и в Ялте остался верен себе, попрежнему стремясь участвовать в общественной жизни, быть активным, полезным обществу.

Летом 1898 года Самарскую губернию постиг большой неурожай. Там начался голод. Особенно тяжелым было положение крестьянских детей.

Антон Павлович по просьбе распорядительного комитета самарского кружка для помощи голодающим детям развернул в Ялте широкую деятельность по сбору пожертвований в пользу голодающих. Он напечатал в ялтинской газете заметку о голодающих детях с призывом помочь им. У брата была квитанционная книжка, он принимал по ней взносы пожертвований, а потом регулярно публиковал в газете сведения о поступающих средствах. С этими же целями он устраивал в Ялте и любительские спектакли.



М. П. Чехова.
Начало 90-х годов.

В начале зимы ялтинский комитет Российского общества Красного Креста выбрал Антона Павловича действительным членом общества. Он стал членом попечительного совета женской гимназии. В связи со столетием со дня рождения Пушкина в Ялте образовалась комиссия по проведению юбилея. Антона Павловича избрали и в эту комиссию. Он принимал самое деятельное участие в организации пушкинских любительских спектаклей, живых картин, народных чтений и т. д. В общем, к зиме у Антона Павловича появился ряд общественных обязанностей, которые немного заполнили его жизнь и несколько отвлекли от ощущения одиночества. К тому же, несмотря на то что он жил на частной квартире, он начал понемногу заниматься и врачебной деятельностью, стал принимать больных. По его просьбе я выслала ему из Мелихова медицинские инструменты: молоточек, плессиметр и трубочку.

В эту первую ялтинскую зиму брат написал три своих известных произведения: «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка».

Удивил меня однажды Антон Павлович своим сообщением в письме (декабрь 1898 года) о том, что он «не удержался, размахнулся» и все же купил Кучукой и стал «отныне владельцем одного из самых красивых и курьезных имений в Крыму». В письме к брату Ивану он объяснил это так: «Заплатил я за Кучукой ровно 2 тысячи, и мне казалось, что будет глупо и дико, если я не куплю. Ведь дешевизна удивительная». Я знала, что у брата не было суммы денег, необходимой для постройки ялтинского дома. Поэтому я так поразилась тогда этой покупке. Но вскоре денежная проблема была решена, правда не так уж блестяще, как это нам, никогда не имевшим больших денег, на первых порах показалось.

* * *

В начале января 1899 года до меня в Москве стали доходить слухи о том, что Антон Павлович собирается вести переговоры с издателем «Нивы» А. Ф. Марксом о продаже в полную его собственность всех своих сочинений. Я не была знатоком издательских дел, но как-то инстинктивно чувствовала, что лучше бы брату не делать этого. Правда, с другой стороны, я знала, что Ан-

тон Павлович был не очень доволен качеством книг, которые до тех пор обычно издавал А. С. Суворин (кстати, он в это время собирался издавать полное собрание сочинений Чехова). Кроме того, и финансовые расчеты с суворинским магазином у брата всегда были сложными и путаными.

Как-то в январе я получила письмо от Антона Павловича, в котором он писал мне: «Если ты возьмешься вести мои книжные дела, то я буду платить тебе 40 р. в месяц — и мне будет выгодно, а то теперь мы терпим громадные убытки. Это между прочим, á propos. Живи, как хочешь, и это будет лучшее, чем можешь придумать.

Кстати о книгах. Суворин печатает уже полное собрание сочинений; читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствуя, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года. С Марксом переговоры, кажется, уже начались».

Я ответила, что «была бы бесконечно рада, если бы могла помочь тебе в твоих книжных делах. Мне кажется, это было бы для меня совсем не трудно. Не гений же Софья Андреевна Толстая...» В последних словах я имела в виду, что жена Л. Н. Толстого Софья Андреевна самостоятельно, без издателей, издавала книги Льва Николаевича и сама вела все дела и расчеты.

Однажды я была в гостях у Вл. И. Немировича-Данченко. Там был также писатель П. А. Сергеенко. Улучив момент, он таинственно отвел меня в сторону и сказал:

— Мария Павловна, я хочу помочь вашему брату продать все свои произведения Марксу. Я могу взять на себя переговоры с издателем. Я уже писал Антону в Ялту, напишите и вы со своей стороны.

— А вы считаете, что так будет лучше для брата?

— Да. Антон должен просить у Маркса за все свои сочинения сто тысяч.

Эта сумма меня поразила — сто тысяч! Но я не считала для себя удобным вмешиваться в эти дела брата и ничего ему тогда не написала. Но после того, как брат сам сообщил мне о том, что переговоры с Марксом уже начались, я написала ему о разговоре с Сергеенко и добавила, что «сто не сто, а все-таки ты знай цену своим

произведениям». В этом же письме я написала брату: «Вот моя просьба: пожалуйста, не отдавай дешево Марксу твоих сочинений. Ты теперь стал очень популярен, прямо знаменитостью, только и говорят, что о тебе. Теперь ты можешь не завидовать Южину!.. Конечно, гораздо лучше бы совсем не продавать. Впрочем, это твое дело, ты сам лучше знаешь».

Брат ответил мне на это так: «Ты пишешь: «не продавай Марксу», а из Петербурга телеграмма: «Договор нотариально подписан». Продажа, учиненная мною, может показаться невыгодной и наверное покажется таковою в будущем, но она тем хороша, что развязала мне руки и я до конца дней моих не буду иметь дела с издателями и типографиями. К тому же Маркс издает великолепно. Это будет солидное издание, а не мизерабельное. Мне заплатят 75 тысяч в три срока; впрочем, это, как и остальные условия, тебе известно. Значит, тебе уже не придется распоряжаться моими произведениями, быть Софьей Андреевной в миниатюре».

В другом письме Антон Павлович еще раз сообщал мне свои соображения по поводу положительных сторон договора с Марксом: «Во-1-х, произведения мои будут издаваться образцово, во-2-х, я не буду знаться с типографией и с книжным магазином, меня не будут обкрадывать и не будут делать мне одолжений, 3) я могу работать спокойно, не боясь будущего, 4) доход не велик, но постоянен...»

За произведения, которые Антон Павлович написал бы в будущем, Маркс должен был платить так: в течение первых пяти лет после подписания договора по 250 рублей за печатный лист, в последующие пять лет по 450 рублей и т. д., то есть каждые пять лет делалась прибавка по 200 рублей за лист. По поводу этого пункта с условиями оплаты будущих произведений произошел такой курьез в процессе переговоров с Марксом. Когда П. А. Сергеенко сообщил Антону Павловичу проект договора, брат, подтверждая свое согласие в телеграмме Марксу, вставил шутливую фразу о том, что дает слово не жить более восьмидесяти лет. Издатель принял это всерьез, и его как коммерсанта это испугало настолько, что он едва не отказался от заключения договора! Суворин потом телеграфировал Антону Павловичу: «Маркс ужасно испугался вашей угрозы прожить до восьмиде-

сяти лет, когда ценность ваших произведений так возрастет. Вот сюжет для комического рассказа» [1].

Договор был заключен 26 января 1899 года. Подписал его «по доверенности врача Антона Павловича Чехова славяносербский мещанин Петр Алексеевич Сергеенко».

Потом оказалось, что договор был очень выгоден издателю и совсем невыгоден писателю. Настолько невыгоден, что в литературных кругах этот договор считался для Антона Павловича прямо кабальным. Я помню, как А. М. Горький однажды был в моей комнате в ялтинском доме и, прохаживаясь из угла в угол, убеждал меня в том, что Антон Павлович должен непременно расторгнуть такой кабальный для него договор.

В 1904 году группа писателей, артистов, общественных деятелей собиралась обратиться к Марксу с серьезной и обоснованной просьбой о расторжении договора. Было написано письмо, начался сбор подписей. Но об этом узнал Антон Павлович, категорически воспротивился и попросил не делать этого. Так договор остался действительным до конца жизни Антона Павловича.

Но так или иначе, полученные по договору деньги помогли Антону Павловичу расплатиться с долгами и закончить постройку ялтинской дачи.

* * *

В апреле 1899 года, когда наступила весна, Антон Павлович приехал в Москву и остановился в моей квартире на углу М. Дмитровки и Успенского переулка. Через несколько дней мы переехали в новую, более удобную, квартиру, там же, на М. Дмитровке в доме Шешкова.

С приездом Антона Павловича у нас в квартире вновь стало шумно. Буквально не было дня, чтобы не приходил кто-нибудь из старых знакомых, друзей, писателей, артистов. Приходили повидаться после долгой разлуки, узнать о здоровье, поговорить о новостях в ли-

---

[1] П. А. Сергеенко тоже писал Антону Павловичу по этому поводу: «Твоя фраза в телеграмме о том, что ты даешь слово не жить более 80 лет, была принята Марксом чистоганом и едва ли не испортила сделку».

тературе и театре. Однажды в конце апреля в этой квартире у меня произошла знаменательная встреча.

Как-то днем, когда у Антона Павловича в гостях было несколько знакомых, среди них артисты А. Л. Вишневский и А. И. Сумбатов-Южин, раздался звонок. Я пошла открывать. И вдруг вижу небольшого роста старичка в легком пальто. Я обомлела — передо мной стоял Лев Николаевич Толстой. Я его узнала сразу же, только по портрету Репина он представлялся мне человеком крупным, высокого роста.

— Ох, Лев Николаевич... это вы?! — смущенно встретила я его.

Он ласково ответил:

— А это сестра Чехова, Мария Павловна?

Он вошел в прихожую. Я хотела взять его пальто, но Лев Николаевич отстранил мою руку.

— Нет, нет, я сам.

Я повела Льва Николаевича в кабинет к брату. С порога я не удержалась многозначительно сказать:

— Антоша, знаешь, кто к нам пришел?!

В кабинете брата в это время шел громкий разговор. Вишневский всегда имел обыкновение громко говорить, чуть не кричать. Брат был смущен обстановкой, в которой ему пришлось принимать Л. Н. Толстого. Им так и не удалось как следует поговорить. Лев Николаевич пробыл недолго и ушел. Он приходил, видимо, просто навестить Чехова, услышав о его приезде в Москву, тем более что после встречи в клинике Остроумова весной 1897 года они больше не видались.

На другой день к нам на Дмитровку зашла дочь Толстого Татьяна Львовна. Меня не было дома. Татьяна Львовна передала мне через брата приглашение побывать у них. Как все это было и как я реагировала на приглашение, Антон Павлович рассказал в письме к журналисту Михаилу Осиповичу Меньшикову. Приведу это письмо:

«Был у меня Л. Н. Толстой, но поговорить с ним не удалось, так как было у меня много всякого народу, в том числе два актера, глубоко убежденные, что выше театра нет ничего на свете. На другой день я был у Льва Николаевича, обедал там. Татьяна Львовна была у меня до обеда, сестры не застала дома. Она сказала мне: «Михаил Осипович писал мне, чтобы я познакоми-

лась с вашей сестрой. Он говорил, что мы многому можем научиться друг у друга».

Вернувшись после обеда домой, я передал эти слова сестре. Она пришла в ужас, замахала руками. «Нет, ни за что не поеду! Ни за что!»

То, что Татьяна Львовна может у нее поучиться, так испугало ее, что до сих пор я все никак не могу уговорить ее поехать к Татьяне Львовне — и мне неловко. И, как нарочно, сестра все время не в духе, хандрит, утомлена, и настроение у нас вообще неважное».

Через несколько дней я все же по настоянию Антона Павловича поехала к Толстым в Хамовники. Я попала к ним в то время, когда вся семья обедала. Не желая мешать им, я не стала входить в дом и подождала во дворе. Помню, как мимо меня все время проходили какие-то люди с пачками книг и куда-то уходили. Наконец вышла Татьяна Львовна и пригласила меня пройти в сад. В саду была искусственная горка, какие раньше устраивались в старинных садах, со скамейками. Там я встретила Льва Николаевича и еще кого-то. Лев Николаевич был таким же приветливым, как и тогда, когда был у нас. Вскоре пришла с большими садовыми ножницами в руках Софья Андреевна.

Лев Николаевич посадил меня на скамейку рядом с собой. Кто-то из гостей, продолжая, очевидно, ранее начатый разговор, говорил о том, как странно, что гусар ушел в монахи. Тогда я рассказала о нашем знакомом студенте Степане Алексеевиче Петрове, веселом молодом человеке, который бывал и танцевал на наших вечеринках, а после окончания университета постригся в монахи и принял имя отца Сергия и теперь стал архиереем. Помню, Лев Николаевич как-то забавно подскочил на скамейке и стал расспрашивать подробности.

Когда я стала собираться домой, Татьяна Львовна предложила пойти проводить меня до извозчика, но Лев Николаевич сказал:

— Нет, я провожу Марию Павловну.

Мы пошли по Хамовническому переулку. Толстой все продолжал расспрашивать меня о С. А. Петрове. Дойдя до извозчичьей стоянки, Лев Николаевич усадил меня в экипаж, и мы простились.

Позднее, узнав о повести Толстого «Отец Сергий» и вспомнив расспросы Льва Николаевича, я в первый мо-

мент подумала, нет ли тут связи с тем, что я тогда ему рассказывала. Но когда я прочла повесть и узнала, что она писалась в 1890—1895 годах, я поняла, что связи никакой нет, а лишь интересное совпадение имен и событий, и что, может быть, именно поэтому Лев Николаевич и проявил такой повышенный интерес к моему рассказу.

Больше я с Л. Н. Толстым не встречалась.

* * *

В мае мы переехали из Москвы в Мелихово. Началось наше последнее там лето. Без отца жизнь в имении стала уже не такой, как раньше. Все как-то потускнело. В планах Антона Павловича по поводу устройства будущей жизни опять появились колебания. Он писал в это время в одном из писем в Таганрог: «Я не знаю, что с собой делать. Строю дачу в Ялте, но приехал в Москву, тут мне вдруг понравилось, несмотря на вонь, и я нанял квартиру на целый год, теперь я в деревне, квартира заперта, дачу строят без меня — и выходит какая-то белиберда...»

В самом деле, к осени должна была закончиться постройка дачи в Ялте, в Москве имелась обширная удобная квартира, нанятая на год, в Мелихове — дом, усадьба, хозяйство. Не могли же мы, да и ни к чему было, пользоваться всем этим одновременно. И вот после долгих раздумий и разговоров мы окончательно решились расстаться с Мелиховым — продать.

Сделали объявление в газетах и в комиссионной конторе Виноградова. К нам стали ездить покупатели. Переговоры с ними Антон Павлович поручил вести мне. С тяжелым сердцем водила я покупателей по нашему имению, показывая дом, службы, сад, поля, лес... Хотя решение о продаже и было принято уже твердо, но все еще как-то не верилось, что мы расстаемся со всем тем, что так любили, где все было таким близким, родным. Среди покупателей находились и такие, которые интересовались только лесом, с целью вырубки его и продажи. Один такой покупатель после осмотра выразил недовольство тем, что в комиссионной конторе его якобы обманули насчет возраста леса. С горечью я писала об этом брату: «Покупатель в чуйке и занимается истреблением лесов. Вот бы кто вырубил липовую аллею!»

В конце концов имение купил лесопромышленник Коншин с рассрочкой платежа. Прожив в нем около трех лет, Коншин не мог окончательно расплатиться, и Мелихово было вторично нами продано барону Стюарту, который и владел им до самой революции.

Все лето мы с Антоном Павловичем занимались упаковкой вещей для отправки в Ялту. Свою огромную библиотеку, занимавшую в его кабинете полки во всю стену, Антон Павлович отправлял в дар нашему родному городу Таганрогу. В Ялту же паковались только книги некоторых классиков, особенно любимых братом (Пушкин, Гоголь, Толстой, Некрасов и др.) и почти все книги о медицине.

В июне Антон Павлович съездил на несколько дней в Петербург по делам, связанным с изданием А. Ф. Марксом полного собрания его сочинений, а в конце августа уехал в Ялту совсем. Ялтинский дом окончательно еще не был готов, и брат временно поселился во флигеле, который уже был закончен. Во флигеле помещались кухня и две комнаты, предназначавшиеся для дворника, кухарки и горничной.

Через две недели, обойдя в последний раз нашу мелиховскую усадьбу, лес, поля, сад, дом, с которым было связано столько воспоминаний, простившись со всеми, и я двинулась в Крым. В тот день я видела Мелихово в последний раз, с тех пор я больше в нем не бывала.

В Ялту со мной приехали мать и наша старейшая кухарка Марьюшка, жившая у нас уже на покое. 9 сентября 1899 года мы въехали в наш новый дом, и начался ялтинский период жизни нашей семьи.

Дом мне понравился и показался большим, хотя комнаты по своему размеру были невелики. Для меня было неожиданностью, что в нижнем цокольном этаже вышло столько же комнат и с таким же расположением, как и в основном этаже. Это архитектор вместо предполагавшегося полуподвала сделал, в сущности, полный первый этаж, который только одной стороной, северной, мог считаться полуподвальным. И прав был Антон Павлович, когда раньше сообщал мне, что моя комната в мезонине, большая, с чудесным балконом-террасой, выходившим на южную сторону в сад, одна из лучших в доме. Вид с балкона на Ялту и горы открывался изумительный. Это «не вид, а рахат-лукум!» — говорил

Антон Павлович. В северной стене комнаты было большое квадратное окно специально для моих занятий живописью, эта комната должна была одновременно служить мне и мастерской.

Словом, все в этом доме было сделано по заказу хозяев. Кабинет брата имел традиционный камин. Большое венецианское окно выходило на южную сторону в сад. Верхнюю часть этого окна, так называемую фрамугу, по желанию Антона Павловича застеклили разноцветными стеклами: красными, синими, желтыми, зелеными. В солнечные дни, особенно зимой, когда солнце стоит низко, кабинет освещался мягкими, нарядными разноцветными красками. Рядом с кабинетом располагалась небольшая спальня брата. В нее из кабинета вела ажурная резная дверь. Гостиной у нас в ялтинском доме не было, а столовая служила одновременно и приемной. Впрочем, для приема гостей больше служил кабинет брата, куда гости обычно и проходили. На этом же этаже была и светлая, уютная комнатка матери.

В нижнем цокольном этаже находилась дополнительная столовая, где мы иногда летом в жаркие дни обедали. Остальные комнаты внизу предназначались для приема приезжавших родственников и друзей. И хотя их в Ялте бывало и меньше, чем в прежние годы в Мелихове, но все же эти комнаты видели многих близких нам людей, о которых речь будет впереди.

* * *

После распланирования бывшего косогора и постройки дома наш участок уже не представлял той безотрадной картины, которую я увидела годом раньше на этом месте, когда приезжала к брату. Вокруг дома начал создаваться сад, были уже проложены аккуратные, посыпанные гравием дорожки, установлены скамейки. Посаженные братом деревца принялись, и он продолжал сажать все новые и новые. Так же, как, бывало, в Мелихове, брат часами молча возился в саду, копал землю, сажал деревья, кустарники, цветы, подрезал, поливал их. Ему всегда нравилось что-нибудь выращивать, создавать и потом наблюдать за результатами своих трудов. Кстати, поливка сада была очень тяжелым делом. На

нашем участке водопровода в то время еще не было. Ходить вниз к речушке с ведрами и оттуда носить воду к нам на гору было нелегко, да ведь и требовалось ее для сада много. Поэтому мы страшно дорожили водой, собирали ее во время дождей в специальные чаны и даже воду после умыванья использовали на поливку сада.

Антон Павлович очень серьезно и, можно сказать, даже по-научному относился к ведению садового хозяйства. Он установил связи со многими садоводствами. Ему отовсюду присылали каталоги, проспекты, семена, саженцы и прочие материалы. Русские и латинские названия тех растений, которые Антон Павлович сажал в саду, он записывал в особую тетрадочку, а на саженцы прикреплял специальные цинковые пластинки-ярлычки с теми же названиями.

Брат всю жизнь страстно любил розы. Какие только сорта их он не посадил в ялтинском саду! Около ста названий. Благо здесь не было с ними такой возни, как в Мелихове, их не нужно было на зиму укутывать. Из Мелихова мы привезли также клубни многолетних красных пионов. Они принялись в Ялте и великолепно цвели при жизни брата и продолжают цвести до сего времени.

Многие мысли о природе, климате, о садах и лесах, окружающих человека, вложенные Антоном Павловичем в уста героев и персонажей его произведений, — это мысли и убеждения самого Антона Павловича. Он очень тонко чувствовал и понимал природу. Эту любовь к природе, к каждому цветочку, кустику, деревцу брат привил и мне. Когда года через три ветер сломал росшую в нашем саду березку, я была очень расстроена и плакала по ней.

Прожив полтора месяца в Ялте, пока новая жизнь семьи не вошла в привычную колею, я уехала в Москву, чтобы приступить к своим занятиям в гимназии. В дальнейшем вся моя жизнь делилась между Ялтой и Москвой. На каждые каникулы — рождественские, пасхальные — я уезжала домой в Ялту, стараясь так устроить расписание своих уроков, чтобы прихватить к этим каникулам еще недельку-полторы. Нечего и говорить, что летние каникулы я проводила целиком с семьей в Ялте.

XX. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Мое знакомство с труппой Московского Художественного театра началось через артиста Александра Леонидовича Вишневского. Он был тоже таганрожцем и учился в гимназии одновременно с Антоном Павловичем, хотя и в разных классах, будучи на три года моложе брата. Но я раньше Александра Леонидовича не знала и впервые увидела его в «Чайке», где он великолепно исполнял роль Дорна. Я до сих пор помню, как удивительно просто, но сильно он заканчивал четвертый акт «Чайки», когда сообщал о самоубийстве Треплева. В начале января 1899 года меня познакомили с Вишневским, и он, как земляк, стал заходить к нам в гости.

В одно из посещений Художественного театра, когда я смотрела «Чайку» уже в третий раз, Вишневский пригласил меня за кулисы на сцену и познакомил со всеми участниками спектакля. Произошло это все очень трогательно. Антона Павловича к тому времени в театре уже знали лично и успели горячо полюбить. Поэтому, когда Александр Леонидович представил им меня как сестру Чехова, все их чувства к Антону Павловичу вылились на меня. Все артисты обрадовались мне, обнимали, говорили самые ласковые слова.

Тогда же я впервые познакомилась с Ольгой Леонардовной Книппер, которая своей игрой и обаянием производила на меня чарующее впечатление. Ольга Леонардовна всегда была впечатлительной, живой и, знакомясь со мной, запрыгала от радости. С Антоном Павловичем она, как и все артисты, была уже знакома по посещению им театра осенью 1898 года. Именно после этой первой нашей с ней встречи я шутливо писала Антону Павловичу в Ялту: «Я тебе советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна...» Это первое знакомство послужило и началом нашей с ней более чем полувековой дружбы.

Познакомилась я тогда и со Станиславскими — Константином Сергеевичем и Марией Петровной. Нежная дружба с этими чудесными людьми у меня продолжалась до конца их жизни. С Немировичем-Данченко мы встретились как старые знакомые. На мой восторженный отзыв о художественности постановки и игры актеров он сказал, что «еще лучше можно сыграть». Замеча-

тельны были эти два режиссера, создатели Художественного театра — Станиславский и Немирович-Данченко — в их постоянной неудовлетворенности достигнутым, в их творческих стремлениях, в их непрерывных поисках все лучшего и лучшего театрального искусства. Эту высокую требовательность к своему творчеству они передавали и всем актерам, и в этом была огромная творческая коллективная сила труппы Художественного театра того времени.

После личного знакомства с актерами и режиссерами театра у меня со всеми установились дружеские отношения. Я стала часто бывать в театре, хотя и стеснялась просить места, так как почти всегда бывали аншлаги. Правда, Владимир Иванович Немирович-Данченко не раз настаивал, чтобы я обращалась к нему за билетами, когда захочу смотреть спектакль, но я частенько устраивалась «зайцем» где-нибудь в оркестре или в другом месте. Ко мне все продолжали относиться с большой теплотой и вниманием. Многие стали запросто бывать у меня в московской квартире.

Как-то постепенно сложилось так, что я стала «полпредом» Антона Павловича в Художественном театре. Через меня узнавали о его здоровье, передавали приветы, пожелания и даже просьбы.

Однажды после одного из спектаклей я была вместе с актерами театра в ресторане «Эрмитаж». Это было в последний день масленицы перед закрытием театра на первую неделю великого поста. Вот как я описала на другой день брату все происходившее там:

«Было очень приятно. В этом же зале был юбилей «Русской мысли», где мухи дохли от скуки, от скучных речей.

Директора и артисты Художественного театра ведут себя иначе. Речи вот в таком роде, например. Встает Немирович и говорит:

— Хотите, господа, чтобы моя речь имела успех? — и произносит: — За здоровье Чехова!

Поднялся шум, крик, прыганье. Немирович скомандовал: «Аллаверды к Марии Павловне», — и все побежали ко мне чокаться. Обнимались, целовались, говорили глупости, аплодировали...»

Все актеры театра уже горячо и трогательно любили в то время Антона Павловича.

Зная мои хорошие отношения с братом, Немирович-Данченко иногда действовал через меня, когда ему нужно было уговаривать в чем-нибудь Антона Павловича. Помню, как однажды весной 1899 года пришел ко мне Владимир Иванович и завел разговор о том, что Антон Павлович очень огорчает театр тем, что не соглашается дать ему для постановки свою пьесу «Дядя Ваня». Дело заключалось в том, что Антон Павлович еще до постановки в Художественном театре «Чайки» обещал «Дядю Ваню» Малому театру. В феврале этого года в письме режиссеру А. М. Кондратьеву он подтвердил, что отдает пьесу в его распоряжение. Со свойственной ему деликатностью он считал, что брать пьесу из Малого театра и передавать Художественному теперь уже неудобно. На письмо-просьбу Немировича-Данченко Антон Павлович писал, что это будет «похоже, будто я обегаю Малый театр», и обещал написать для Художественного театра другую пьесу. Но театр, конечно, мало устраивало ждать новую пьесу Чехова, когда имелась уже готовая, причем высоко ценившаяся Немировичем-Данченко.

В. И. Немирович-Данченко узнал, что Театрально-литературный комитет, который утверждал пьесы, ставившиеся на сценах казенных императорских театров, соглашался принять «Дядю Ваню» лишь при условии переделки автором третьего акта (якобы неправдоподобно, что Войницкий может стрелять в Серебрякова, имеются длинноты, которые необходимо устранить, и т. д.), а после этого автор должен был вторично представить пьесу в комитет. Пользуясь этим, Немирович-Данченко начал меня уговаривать написать письмо Антону Павловичу.

— Напишите, чтобы Антон Павлович не соглашался ни на какую переделку пьесы. Пусть заберет ее из комитета и передаст нам. Мы поставим ее без всяких изменений. Помогите нам получить «Дядю Ваню»!

— Но вы же сами, Владимир Иванович, можете написать. Вы дружны с Антоном Павловичем, он очень уважает вас. Почему непременно я должна писать об этом?

— Напишите, дорогая. Я прошу вас. Мне думается, что так будет успешнее, — продолжал настаивать Владимир Иванович.

Я пожала плечами и дала согласие в тот же день написать брату. Вот это письмо от 25 марта 1899 года:

«Сейчас у меня был Владимир Иванович Немирович-Данченко по делу, вот по какому. Он хотя и состоит членом Театрального комитета, но давно уже там не был. Он слышал от Веселовского и Ив. Ив. Иванова, что твою пьесу «Дядя Ваня» одобрили для представления на Малой сцене, но с тем, чтобы ты ее изменил, то есть некоторые места в пьесе, и тогда снова отдал бы ее на утверждение. Так как Художественный театр был огорчен, что пьеса пойдет на Малой сцене, то Немирович и решил так: переделывать ты пьесу не станешь, а он в своем театре поставит ее без переделки, потому что находит ее великолепной. Станиславскому она нравится больше «Чайки».

Протокол насчет переделки «Дяди Вани» ты получишь еще не скоро, поэтому Владимир Иванович тебя просит сделать запрос телеграммой в комитет: одобрена ли пьеса и как? И потом, если ты согласен дать ее в Художественный театр, то тоже скорее телеграфировать Вл. Ивановичу, так как репертуар и распределение ролей должны составить весной.

Насколько все артисты Художественного театра грустили, что пьеса пойдет не у них, я видела, когда была у Федотовой на вечере.

Меня Немирович очень просил, чтобы я тебе сейчас же написала, почему-то он думает, что это будет успешнее. Ответь ему, пожалуйста. Он очень взволнован».

Сначала Антон Павлович ответил мне, что ни писать, ни телеграфировать в комитет он не будет. Но когда в середине апреля он приехал в Москву и убедился в правильности того, что сообщал тогда Немирович-Данченко, он пьесу из Малого театра забрал и передал Художественному. Актеры были несказанно рады этому и с огромным подъемом подготовили спектакль и сыграли его в первый раз на сцене 26 октября 1899 года, когда Антон Павлович снова был в Ялте.

Мне тоже не пришлось быть на премьере «Дяди Вани». Я в этот день находилась в поезде на пути из Ялты в Москву и об успехе пьесы узнала в вагоне из газет. Антон Павлович на этот раз нервничал в Ялте значительно меньше, чем год назад перед премьерой

«Чайки». К тому же он в Ялте точно и не знал о дне премьеры «Дяди Вани». Об этом он сам писал в шутливом тоне Ольге Леонардовне:

«Вы спрашиваете, буду ли я волноваться. Но ведь о том, что «Дядя Ваня» идет 26-го, я узнал как следует только из Вашего письма, которое получил 27-го. Телеграммы стали приходить 27-го вечером, когда я был уже в постели. Их мне передают по телефону. Я просыпался всякий раз и бегал к телефону в потемках, босиком, озяб очень; потом едва засыпал, как опять и опять звонок. Первый случай, когда мне не давала спать моя собственная слава. На другой день, ложась, я положил около постели туфли и халат, но телеграмм уже не было».

Приехав в Москву, я повидалась с Ольгой Леонардовной и Вишневским. Рассказывая мне о премьере «Дяди Вани», оба они были очень взволнованы. По их словам, первое представление «Дяди Вани» прошло хуже генеральной репетиции. Они объясняли это тем, что все актеры в день спектакля страшно волновались и трусили, как никогда, поэтому играли все с большим напряжением.

Я посмотрела «Дядю Ваню» на втором его представлении. Спектакль произвел на меня совершенно исключительное впечатление. Такой бесподобной игры актеров я еще не видала нигде. Войницкого играл А. Л. Вишневский, Елену Андреевну — О. Л. Книппер, Соню — жена К. С. Станиславского М. П. Лилина, Вафлю — чудеснейший А. Р. Артем (Артемьев), Астрова — К. С. Станиславский. Последний был так великолепен, что трудно было себе представить лучшего Астрова.

На другой день после этого спектакля я писала брату: «...Играли так удивительно, что я вполне согласна с твоей симпатией Катечкой Немирович[1], которая обратилась к актерам с такими словами: «Вы играли сегодня, как маленькие боги». Первое и второе действие я чувствовала умиление и плакала от удовольствия.

Прислали за мной, чтобы шла на сцену. Встретил меня сияющий Немирович, а потом и остальные вышли из своих норок-уборных, и пошли самые теплые приветствия. Я не могла, конечно, не выразить своего удоволь-

---

[1] Жена Вл. И. Немировича-Данченко — Екатерина Николаевна.

ствия по поводу их великолепной игры, особенно Алексеева (Станиславского), который лучше всех...

Третье действие мне понравилось меньше, хотя всем нравится, суеты слишком много. Посмотрю еще раз. Четвертое — опять производит сильное впечатление. Одним словом, успех огромный. На третье представление, то есть на сегодняшнее, билетов уже ни одного. Только и говорят везде о твоей пьесе. Непременно тебе нужно написать еще пьесу.

Не особенно хорош, по-моему, Лужский. Он неприятен, противного профессора играет. Большинство с ним согласны. Все кланяются тебе и говорят, что если бы ты был с ними, то они не боялись бы».

Чем дальше я смотрела этот спектакль в Художественном театре, тем больше он нравился мне. С каждым разом актеры играли все лучше и лучше. В одном из писем я писала брату, что «даже жалеешь, что только четыре действия, можно было бы и десять таких с большим удовольствием прослушать».

В последнем действии, когда все разъезжаются и в комнате остаются только дядя Ваня и Соня, слышался сверчок, от которого на душе становилось скучно, тоскливо... И вот штрих, правда довольно курьезный, говорящий о том, с какой тщательностью Художественный театр подходил к постановке спектакля: я узнала и потом сообщила Антону Павловичу, что А. Л. Вишневский, чтобы изучить верещание сверчка, в продолжение целого месяца каждый день ходил в баню! В результате сверчок верещал в «Дяде Ване», как настоящий.

Спектакль в течение всего сезона продолжал пользоваться огромным успехом. Билеты почти всегда были распроданы, и многие мои знакомые осаждали меня просьбами оказать протекцию при покупке билетов. Мне не хватало для этого моих визитных карточек!

В конце ноября на спектакль вдруг приехал московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович Романов с женой. По тем временам это означало, что театру оказана «честь», и К. С. Станиславский прислал за мной на квартиру, чтобы я пришла в театр и представилась «их высочествам». Меня это рассмешило: почему это вдруг я должна была представляться «высочествам»?! Потому что я сестра автора пьесы? Никуда я, конечно, представляться не пошла,

а ушла на именины к сестре режиссера Художественного театра А. А. Шенберга-Санина (будущего мужа Лики Мизиновой) Кате Шенберг.

Но спустя два месяца, 24 января 1900 года, в Художественном театре произошло действительно многозначительное событие — посещение спектакля «Дядя Ваня» Львом Николаевичем Толстым. Великий писатель имел в ту пору огромнейшую популярность, в театры ходил очень редко, и его неожиданный приход наделал в театре страшный переполох. Все были взволнованы, «очумели», как я писала потом брату.

Толстому была предоставлена губернаторская ложа, которая обязательно имелась во всех театрах. Александр Акимович Шенберг-Санин два раза прибегал в этот вечер ко мне на квартиру, чтобы рассказать о приходе Л. Н. Толстого и как Толстой смотрит «Дядю Ваню». В. И. Немирович-Данченко тоже был взволнован присутствием Льва Николаевича, а Вишневский, как мне потом рассказывали, при вызовах кланялся все время только в губернаторскую ложу! Такова была слава Толстого.

«Дядя Ваня» Л. Н. Толстому тогда не понравился. Как известно, Лев Николаевич очень любил и ценил творчество Антона Павловича, но к драматургии его относился отрицательно.

Видя, каким успехом пользуются «Чайка» и «Дядя Ваня», я нередко в своих письмах советовала Антону Павловичу непременно написать еще пьесу. Об этом же писали и просили руководители Художественного театра и все актеры. Теперь уже без чеховских пьес репертуар театра был немыслим. Вот тут-то Антон Павлович и заговорил о том, что он «не знает Художественного театра»! Дело в том, что в зимнее время он не мог бывать в Москве, а когда приезжал летом, то театральный сезон был уже закончен. Поэтому он и не видел в полной сценической обстановке ни «Чайку», ни «Дядю Ваню». Правда, весной 1899 года в Москве специально для него в пустом театральном зале, без декораций, показывали «Чайку», но цельное впечатление от такого спектакля трудно было получить.

В письмах Антона Павловича к руководителям театра стали появляться просьбы организовать весной или летом гастроли и приехать в Крым. Он даже

в шутку угрожал, что, пока не увидит спектаклей Художественного театра, не будет писать никаких пьес.

И вот постепенно в Художественном театре стало созревать решение поехать весной на гастроли в Ялту. Уже в середине января 1900 года Немирович-Данченко и Станиславский сообщили мне, что в первых числах мая театр предполагает ехать в Ялту с двумя пьесами Антона Павловича, чтобы показать их ему. Потом было много всяких других решений, пока наконец твердо не определилось, что Художественный театр поедет в Крым в апреле и повезет с собой четыре пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Эдда Габлер» Ибсена.

* * *

В начале апреля 1900 года я выехала на пасхальные каникулы домой в Ялту. Вместе со мной поехала Ольга Леонардовна Книппер, с которой я к этому времени уже очень подружилась. Гастроли театра должны были начаться лишь на пасхальной неделе сначала в Севастополе, а потом в Ялте. На страстной неделе в те времена всякие зрелищные предприятия не работали, все театры были закрыты, поэтому Ольга Леонардовна эту неделю была свободна и поехала со мной, чтобы отдохнуть у нас несколько дней.

Перед началом гастролей Ольга Леонардовна уехала в Севастополь. Через два дня туда же поехал Антон Павлович, чтобы посмотреть там спектакли, но, плохо чувствуя себя, быстро вернулся домой.

Театр с 10 по 13 апреля показал в Севастополе все четыре пьесы и в пятницу 14 апреля прибыл в Ялту.

* * *

Никогда не забыть мне те чудесные весенние дни, когда Художественный театр был в Ялте у Антона Павловича. Как весело, празднично было тогда у нас. Двери нашего дома в эти дни не закрывались. Вся труппа театра во главе с Немировичем-Данченко и Станиславским целые дни проводила у нас. Мы с матерью едва успевали накрывать и убирать стол: завтраки сменялись обедами, обеды — чаем, и так до вечера, пока все не уезжали на спектакль в театр. Много помогала нам по

приему гостей Ольга Леонардовна, после возвращения из Севастополя опять остановившаяся у нас.

Помимо артистов, у нас бывали еще писатели, собравшиеся к этому времени в Ялту, среди них: А. М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куприн, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Елпатьевский и др. Брат очень любил такое оживление в своем доме и ходил довольный, радостный, как именинник.

Сколько интереснейших разговоров о литературе, искусстве, театре я наслышалась в те дни! Не было, кажется, местечка в нашем доме и саду, где бы не раздавались порой шумные, порой приглушенные серьезные беседы. Одни соберутся в кабинете вокруг Антона Павловича, другие — в уголке столовой, третья группа на веранде слушает Горького; из сада доносятся взрывы смеха, вызываемого остротами И. М. Москвина или шутками и рассказами И. А. Бунина, Д. Н. Мамина-Сибиряка. Содержательные, незабываемые дни, окончательно сблизившие Антона Павловича со всей труппой Художественного театра! Я вряд ли ошибусь, если назову эти дни пребывания Художественного театра в Ялте лучшим временем из всей ялтинской жизни Антона Павловича. Как бывало когда-то в Мелихове, Антон Павлович был жизнерадостен, весел, остроумен, шутлив, и совсем забывалось даже о той болезни, которая заставила его жить в Крыму.

Большое удовольствие ему, конечно, доставляли и спектакли театра. Пьесы его шли с прежним успехом, и единственная неприятность для Антона Павловича была — это выходить на сцену на вызовы публики. Всю свою жизнь брат боялся публичности, речей, выступлений и т. п. Ему просто как-то физически тяжело было выходить при аплодисментах на сцену, раскланиваться, и он стал в конце спектаклей удирать из театра или же прятаться в артистических уборных. Со сцены прибегают ко мне в ложу, спрашивают: где Антон Павлович, куда ушел? А я и сама не знаю.

Но чествования его в заключительный день гастролей Художественного театра в Ялте, когда шла «Чайка», Антон Павлович избежать уже не мог. Ему пришлось несколько раз выходить на вызовы публики. Я еще никогда не видала такого подъема в зрительном зале. Все аплодировали, кричали, бесновались. Тогда же брату

поднесли пальмовые ветви с красной лентой и надписью: «Глубокому истолкователю русской действительности» и большой адрес с массой подписей. Это был первый случай в жизни брата, когда он сам был свидетелем, что его драматургическое творчество получило такое шумное, публичное признание.

Алексей Максимович Горький не случайно приезжал в Ялту в дни пребывания Художественного театра, а по совету Антона Павловича. Брату хотелось познакомить Горького с руководителями и труппой Художественного театра, с его постановками, чтобы заинтересовать Алексея Максимовича театром и чтобы он написал для театра пьесу. Перед приездом Художественного театра Антон Павлович несколько раз писал Горькому, что ему стоит приехать в Ялту, изучить сцену, театральные условия и написать пьесу, «которую он приветствовал бы радостно, от всей души».

В результате все получилось так, как хотел брат: Художественный театр произвел на Горького огромное впечатление. Он увлекся им и тогда же дал обещание написать пьесу. В дальнейшем «Мещане», а затем «На дне» и были этими пьесами, написанными Горьким специально для Художественного театра.

* * *

В заключение пребывания Художественного театра в Ялте был дал банкет, устроенный Ф. К. Татариновой на плоской крыше своего дома. Фанни Карловна Татаринова была богатой ялтинской домовладелицей и большой поклонницей таланта Антона Павловича, а также и Художественного театра. Банкет происходил днем. Сам Антон Павлович на этом банкете не присутствовал, не была и я.

В понедельник 24 апреля мы тепло проводили труппу Художественного театра на пароход в Севастополь, откуда она в тот же день выехала поездом домой, в Москву. Об этом приезде в Ялту Художественного театра нам долго напоминали оставленные в нашем саду качели и скамейка из декораций «Дяди Вани».

Вскоре и я уехала в Москву и приступила к своим занятиям в гимназии с большим опозданием, за что мне от начальства основательно досталось. В самом деле,

какое дело было гимназии до того, что в Ялте этой весной происходило такое интереснейшее историческое событие, как приезд Московского Художественного театра в полном своем составе к писателю Чехову!..

Для Антона Павловича знакомство с Художественным театром и с его постановками имело большое значение. Если он раньше только слышал или читал в газетах восторженные отзывы о новом необычном сценическом искусстве труппы Художественного театра, то теперь он сам убедился в том. Он начал писать давно задуманную им пьесу «Три сестры» уже специально для труппы Художественного театра, учитывая творческие и сценические особенности каждого артиста. Он писал, например, А. Л. Вишневскому: «Для Вас приготовляю роль инспектора гимназии, мужа одной из сестер. Вы будете в форменном сюртуке и с орденом на шее». А Ольге Леонардовне сообщал в шутливом тоне: «Ах, какая тебе роль в «Трех сестрах»! Какая роль! Если дашь десять рублей, то получишь роль, а то отдам другой актрисе...»

В октябре 1900 года пьеса была уже готова, и Антон Павлович, приехав в Москву, передал ее театру. В половине декабря он уехал в Ниццу и там еще кое-что изменял и добавлял в тексте и отсылал в Москву.

Находясь во Франции, Антон Павлович премьеру «Трех сестер» в Художественном театре опять не видел. И, конечно, опять очень волновался за постановку. Он спрашивал меня в письме из Ниццы: «Была ли ты на репетиции моей пьесы и как идет? Боюсь, что скверно».

В первый раз я посмотрела уже сразу генеральную репетицию «Трех сестер». Постановка произвела на меня большое впечатление. Я совершенно искренно писала брату: «Поставили твою пьесу и играют ее превосходно. Три сестры играют очень хорошо, нельзя ни к чему положительно придраться. Сцены между ними бывают удивительно трогательны. Савицкая страшно симпатична. Не удовлетворяет меня только Лилина; мне кажется, она несколько утрирует... Если бы ты знал, как интересно и весело идет первый акт! Мне больших трудов стоило вчера уговорить Олю снять рыжий парик, который к ней положительно не идет и делает голову огромной. Теперь она будет играть со своими волосами. Думаю и чувствую, что пьеса будет иметь огромный успех.

Полковник Петров бывает на репетициях каждый день, делает свои замечания, как режиссер. Его называют очередным режиссером, смеются над ним, но вежливы и деликатны с ним».

Сестер играли артистки: Савицкая — Ольгу, Книппер — Машу, Андреева — Ирину, Лилина играла Наташу.

О «режиссерских» замечаниях полковника Петрова нужно пояснить следующее. Полковник Виктор Александрович Петров приходился нам родственником через жену брата Ивана Павловича Софью Владимировну. Поскольку в «Трех сестрах» среди персонажей было много военных, Антон Павлович попросил Петрова проконсультировать постановку пьесы с точки зрения военного специалиста, чтобы все были одеты по-настоящему, по-военному, чтобы держались на сцене, как подобает офицерам, и т. п. Но к Виктору Александровичу «пришел аппетит во время еды», и он перестал довольствоваться чисто военной консультацией и делал замечания режиссерского порядка и даже писал Антону Павловичу в Ниццу письмо, в котором жаловался на игру некоторых актеров. Ему не нравилось, что Вершинин в пьесе ведет себя безнравственно,—совращает с пути чужую жену.

Восторженный отзыв я дала Антону Павловичу и о премьере, прошедшей в Художественном театре 31 января 1901 года: «Очень, очень интересно. Пьеса прелесть. Поставлена хорошо, хотя местами можно было бы и лучше для Художественного театра... Второе представление выделило пьесу в совершенстве. «Три сестры» гораздо лучше «Дяди Вани» и даже, пожалуй, «Чайки». Уже нет ни одного билета на все шесть будущих представлений...»

К моей восторженной оценке спектакля Антон Павлович отнесся весьма осторожно, думая, вероятно, что я это делаю ради его покоя. Вернувшись в Ялту, он писал Ольге Леонардовне: «Насчет «Трех сестер» я узнал только здесь, в Ялте, в Италию же дошло до меня только чуть-чуть, еле-еле. Похоже на неуспех, потому что все, кто читал газеты, помалкивают и потому что Маша в своих письмах очень хвалит. Ну да все равно».

Антон Павлович увидел «Трех сестер» на сцене Художественного театра лишь в сентябре 1901 года, когда приезжал в Москву. Он писал тогда в одном из своих

писем: «Три сестры» идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон».

* * *

После успеха «Трех сестер» я не раз говорила брату, что хорошо бы ему написать еще пьесу и, как писала в одном из писем, «если бы веселую, как первое действие «Трех сестер». И вот как-то однажды в Ялте сидим мы с ним и о чем-то говорим. Вдруг он берет маленькую бумажку, что-то пишет на ней и, улыбаясь прищуренными глазами, показывает мне. Я читаю: «Вишневый сад». На мой вопросительный взгляд брат отвечает:

— Так будет называться новая пьеса...

Я была очень обрадована и тем, что Антон Павлович приступает к работе над новой пьесой, и ее поэтическим названием.

В январе 1902 года Антон Павлович в письме к Ольге Леонардовне сообщал о будущей пьесе, что «она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет, и я еще сам не понимаю, какая она, что из нее выйдет, и меняется она каждый день». В середине июня, когда Антон Павлович жил в Москве, он собирался уже по-настоящему приступить к работе над пьесой, и я по его просьбе послала из Ялты лежавший у него на письменном столе листочек бумажки, мелко исписанный различными набросками и фамилиями для будущей пьесы. Правда, ему не удалось тогда поработать, и он начал писать «Вишневый сад» только в конце года.

Так же, как и «Три сестры», Антон Павлович писал «Вишневый сад» специально для Художественного театра, имея в виду определенных артистов и артисток труппы для исполнения тех или иных ролей. Работу над пьесой брат продолжал до октября 1903 года. Немирович-Данченко, Станиславский и все актеры театра с необычайным подъемом встретили новую пьесу Антона Павловича и после прочтения ее труппе прислали восторженные телеграммы.

В первых числах декабря Антон Павлович сам приехал в Москву и оставался там до 15 февраля. Он

бывал на репетициях «Вишневого сада», делал свои авторские замечания, правда всегда очень короткие и скупые.

Премьера «Вишневого сада» была назначена на 17 января 1904 года. Впервые Антон Павлович должен был присутствовать в Художественном театре на премьере своей пьесы. Я уже теперь не знаю, случайно или нет назначили премьеру на этот день, но только 17 января было днем рождения брата. Кто-то подсчитал, что в 1904 году исполняется 25-летие литературной деятельности Антона Павловича, и вот решено было организовать в театре во время премьеры чествование писателя.

Нужно сказать, что с большим трудом удалось уговорить Антона Павловича приехать в театр, так как он понимал, что вынужден будет выходить на сцену на вызовы публики. О предполагавшемся чествовании его он не подозревал. За ним заехали из театра с запиской от Вл. Немировича-Данченко, когда уже начался третий акт — такая хитрость была применена. И вот между третьим и четвертым актом на сцену вышла вся труппа Художественного театра во главе с Немировичем-Данченко и Станиславским, представители литературной и театральной общественности столицы. Под бурю аплодисментов вышел бледный Антон Павлович. Помимо того что этот выход на сцену тяготил его, он еще плохо себя чувствовал и физически — в эти дни у него было обострение болезни. Слабость Антона Павловича была настолько заметна, что из зала раздавались голоса: «Сядьте!» Но Антон Павлович продолжал стоя выслушивать приветствия и адреса.

Об этом чествовании Антона Павловича много писалось. Я не буду повторять известные вещи. Скажу лишь, что это был единственный случай в моей жизни, когда я так остро переживала чувство гордости за брата. Сколько искренней, горячей любви было высказано всеми выступавшими по адресу Антона Павловича и его творчества! От каких только огранизаций, газет, журналов, кружков не было приветствий или телеграмм! Сколько счастливых слез пролила я за этот вечер! Разве могла я равнодушно слышать проникновенный голос Владимира Ивановича Немировича-Данченко, говорившего Антону Павловичу: «Приветствия утомили

тебя, но ты должен найти утешение в том, что хотя отчасти видишь, какую беспредельную привязанность питает к тебе все русское грамотное общество. Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: это мой театр...»

Много было также и различных подношений, среди которых были, например, и старинные ларцы, и модель древнерусского городка, и старинная парчовая материя. По поводу них Антон Павлович потом шутил в письме к В. К. Харкеевич: «Привезу с собой много всяких вещей, полученных мной 17 января в театре. Кто-то (какая-то каналья) распустил слух, что я будто бы любитель старины, и вот меня завалили старинными вещами, недешево стоящими». Но, во всяком случае, все это было сделано от чистого сердца, с искренней любовью к Антону Павловичу.

Спустя тридцать лет после этого я как-то попросила Константина Сергеевича Станиславского напомнить мне, при каких обстоятельствах он передал Антону Павловичу две свои фотографии с такими надписями: «Искренно любимому и чтимому А. П. Чехову, создателю нового театра, от благодарного режиссера и актера К. С. Алексеева (Станиславского). Москва, 10 февраля 1902 года», а на другой: «Дорогому Антону Павловичу Чехову от душевно преданного К. Алексеева (Станиславского). 1904, 17/I». Станиславский ответил мне на это так:

«Припомнить не могу. Попробую сообщить Вам коекакие соображения.

Я покраснел, когда прочел в Вашей записке переписанные мои надписи на поднесенных фотографиях. Сухие, формальные фразы. Теперь, когда память о дорогом Антоне Павловиче стала для всех нас культом, холодный тон моих посвящений представляется мне недопустимым.

Чем объяснить его?

Одна из фотографий датирована 17 января 1904 г., то есть днем юбилея и первого спектакля «Вишневого сада».

Это был незабываемый и страшный день. Премьера, новая, чудесная пьеса, новая роль, новая постановка театра, юбилей и, наконец, здоровье Антона Павловича. Все это пугало.

Но, кроме всех этих забот, меня волновал еще подарок юбиляру. Что могло бы доставить удовольствие Антону Павловичу? Серебряное перо, как писателю, или старинная чернильница? Старинная материя, шитая золотом? На что она ему? Но ничего другого я найти не мог и поднес ее вместе с венком.

— Я же теперь без кабинета. Там же музей, послушайте, — жаловался мне Антон Павлович.

— А что же нужно было вам поднести? — поинтересовался я.

— Мышеловку. У нас же мыши. Вот Коровин прислал мне удочку. Послушайте, это же чудесный подарок.

Вот при каких обстоятельствах я подписывал свои карточки. Может быть, это извинит меня (1935, 3/I, Москва)».

* * *

В одном из поднесенных Антону Павловичу на чествовании старинных деревянных ларцов находились портреты актеров Художественного театра с дарственными надписями, датированными днем премьеры «Вишневого сада». Среди них, помимо уже упомянутой фотографии Станиславского, были карточки Вл. И. Немировича-Данченко, В. И. Качалова, М. Ф. Андреевой, А. Р. Артема, Н. С. Бутовой, А. Л. Вишневского, И. М. Москвина, А. А. Стаховича и др.

Антон Павлович очень ценил талантливейших актеров и актрис Художественного театра, называл их «по-настоящему интеллигентными актерами» и, в свою очередь, тоже почти всем преподнес свои фотографические карточки, книги с дарственными автографами. А после пребывания Художественного театра в Ялте брат сделал ценные и оригинальные подарки всем артистам, принимавшим участие в исполнении ролей в его пьесах «Чайка» и «Дядя Ваня». Он заказал маленькие золотые жетоны-брелоки в форме книжечки, на которой было выгравировано: «Ан. Чехов. Пьесы. Чайка. Дядя Ваня». На оборотной стороне книжечки стояла фамилия артиста, кому предназначался брелок. Книжечка раскрывалась, внутри ее на левой стороне были выгравированы названия ролей, которые исполнялись этим артистом в пьесах «Чайка» и «Дядя Ваня», а с правой стороны была вделана миниатюрная фотография, изображающая

чтение Антоном Павловичем «Чайки» в кругу артистов Художественного театра. Такие жетоны-брелоки были поднесены всем артистам и артисткам, участвовавшим в указанных пьесах брата, причем на брелоке Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко Антон Павлович вместо указания исполняемых ролей сделал такую надпись: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо!»

Дружеские и творческие связи Антона Павловича и Московского Художественного театра, начавшиеся по инициативе Вл. И. Немировича-Данченко, сыграли историческую роль в деле развития русского театрального искусства. Новаторские, реалистические пьесы Антона Павловича помогли Художественному театру окрепнуть, встать на ноги и утвердить свое такое же новое в ту пору реалистическое сценическое искусство. Но вместе с тем и Художественный театр, реабилитировав «Чайку», блестяще поставив «Дядю Ваню», помог утвердиться драматургии Антона Павловича, в результате чего он мог в дальнейшем создать свои пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад» — самые глубокие по своему идейному содержанию и примечательные призывами к новой, лучшей жизни, которыми характеризовались последние произведения Антона Павловича.

* * *

Мои личные связи с Художественным театром продолжались и после смерти Антона Павловича. Долгое время я была пайщиком театра, жила его жизнью, его интересами, переживала все его радости и печали.

Самые близкие, дружеские отношения у меня оставались с моими незабвенными, дорогими друзьями Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко до самых последних дней их жизни.

Спустя тридцать лет после создания Художественного театра Константин Сергеевич Станиславский, поднося мне книгу «Моя жизнь в искусстве», сделал такую надпись, тронувшую меня до глубины души: «Дорогой, любимой, родной Марии Павловне Чеховой, с которой пережили лучшие времена нашего театра и жизни, от искренно и навсегда преданного К. Станиславского. 15—VII—1928».

XXI. ЖЕНИТЬБА БРАТА

Когда в феврале 1899 года после знакомства с артистами Московского Художественного театра я писала Антону Павловичу в Ялту, что советую ему поухаживать за Книппер, я, конечно, не предполагала, что за этой невинной шуткой в будущем встанет что-то серьезное, большое... Но, впрочем, как стало известно уже позднее, брат и не нуждался в этом моем совете — он еще при первом знакомстве с О. Л. Книппер обратил на нее внимание. Посмотрев впервые репетицию пьесы «Царь Федор Иоаннович», где Ольга Леонардовна играла Ирину, Антон Павлович писал Суворину, что если бы он остался в Москве, то «влюбился бы в Ирину»! В общем, вышло, что вкусы наши с братом совпали.

После первого знакомства на спектакле «Чайка» я начала встречаться с Ольгой Леонардовной в Москве и помимо театра. Весной 1899 года, когда Антон Павлович вернулся из Ялты, мы поехали в Мелихово и пригласили погостить к нам О. Л. Книппер. Она три дня прожила у нас, оживляя наше тихое Мелихово своим звонким голосом и веселым смехом.

У Антона Павловича начинается переписка с Ольгой Леонардовной. Летом этого же года, заранее списавшись, Антон Павлович встречает Ольгу Леонардовну в Новороссийске (он ездил тогда по делам в Таганрог). Оттуда они вместе едут на пароходе в Ялту. Там в течение двух недель они часто встречаются, совершают прогулки и вместе возвращаются в Москву.

В 1900 году Ольга Леонардовна дважды была гостьей в нашем доме в Ялте: во время гастролей Художественного театра и в июле во время театральных каникул.

К этому времени я очень подружилась с Ольгой Леонардовной. Мы постоянно встречались, бывали в театрах, в клубах, иногда она у меня ночевала, часто я бывала у нее в доме. Словом, она стала моей первой и лучшей подругой. В письмах к Антону Павловичу я не скрывала своей восторженной оценки Ольги Леонардовны как талантливой актрисы и как человека. Например, я была однажды вместе с Ольгой Леонардовной в клубе Литературного кружка и потом писала брату: «Книппер в первый раз была в клубе, имела успех, ею

любовались, говорили приятные вещи и т. д. А какой она прекрасный человек, в этом я убеждаюсь каждый день. Большая труженица и, по-моему, весьма талантлива». Зная интерес друг к другу брата и Ольги Леонардовны, я иногда в своих письмах невинно подшучивала над ними: «С Книппер видаемся очень часто, я обедала у нее несколько раз и хорошо познакомилась с мамашей, то есть твоей тещей... Твоя Книппер имеет большой успех, Коновицер уже влюблен в нее». В редком письме брату я не упоминала имени Оли, Книппуши, Книпшиц — моего самого близкого друга в то время.

Я как-то никогда не задумывалась, чем могут закончиться отношения между Олей и братом, хотя иногда где-то вдалеке и мелькала мысль о возможном их браке.

В мае 1901 года Антон Павлович уехал в Москву, чтобы показаться там врачу, а потом поехать полечиться на кумыс. И вот получаю я от него из Москвы письмо, в котором он сообщает, что доктор Щуровский велел ему немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию. «Ехать одному скучно, — писал он, — жить на кумысе скучно, а везти с собой кого-нибудь было бы эгоистично и потому неприятно. Женился бы, да нет при мне документа, все в Ялте в столе». Так впервые, неожиданно для меня брат заговорил о своей женитьбе. Как все это я восприняла и пережила, я расскажу своими письмами, которые я писала в те дни Антону Павловичу.

На это письмо брата я ответила ему так: «Позволь мне высказать свое мнение насчет твоей женитьбы. Для меня лично свадебная процедура ужасна! Да и для тебя эти лишние волнения ни к чему. Если тебя любят, то тебя не бросят, и жертвы тут никакой нет, эгоизма с твоей стороны тоже нет ни малейшего. Как это тебе могло прийти в голову? Какой эгоизм? Окрутиться же всегда успеешь. Так и передай твоей Книпшиц. Прежде всего нужно думать о том, чтобы ты был здоров. Ты, ради бога, не думай, что мною руководит эгоизм. Ты для меня был всегда самым близким и дорогим человеком, и, кроме счастья, я для тебя ничего другого не желаю. Был бы ты здоров и счастлив — для меня больше

ничего не надо. Во всяком случае, действуй по своему усмотрению, быть может, я и пристрастна в данном случае. Ты же сам воспитал меня быть без предрассудков!»

Через день мы в Ялте получили такую телеграмму: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».

Эта телеграмма о совершившемся факте подействовала на меня и на мать ошеломляюще. Мы не сразу пришли в себя. Через два дня я писала брату: «Хожу я и все думаю, думаю без конца. Мысли у меня толкают одна другую. Так мне жутко, что ты вдруг женат! Конечно, я знала, что Оля рано или поздно сделается для тебя близким человеком, но факт, что ты повенчан, как-то сразу взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих отношениях с Олей. И вдруг они изменятся к худшему, как я этого боюсь... Я чувствую себя одинокой более, чем когда-либо. Ты не думай, тут нет никакой с моей стороны злобы или чего-нибудь подобного, нет, я люблю тебя еще больше, чем прежде, и желаю тебе от всей души всего хорошего, и Олю тоже, хотя и не знаю, как у нас с ней будет, и теперь пока не могу отдать себе отчета в своем чувстве к ней. Я немного сердита на нее, почему она мне ровно ничего не сказала, что будет свадьба, не могло же это случиться экспромтом. Знаешь, Антоша, я очень грущу, и настроение плохое... Видеть хочу только вас и никого больше, а между тем все у всех на глазах, уйти некуда.

Пока я еще никому не говорю, хотя по городу слухи уже носятся. Конечно, скрывать уже нечего. Когда получили от тебя телеграмму, мать от неожиданности как-то остолбенела... Но вскоре она совершенно оправилась и теперь удивляет меня своим спокойствием...

Напиши, умоляю тебя, о себе... Будь здоров и счастлив, кланяйся Оле. Попроси Олю написать мне».

Не получая писем и очень волнуясь, я телеграфировала брату в Аксеново 4 июня: «Умоляю написать. Маша». На другой день я получила телеграфный ответ: «Чеки получил. Спасибо. Посылаю письмо, в котором предлагаю проехаться вместе по Волге. Здоров.

Напрасно волнуешься. Все остается по-старому. Привет мамаше. Пиши. Антон» [1].

Наконец 6 июня я получила от брата первое письмо из Аксенова, написанное 2 июня:

«Здравствуй, милая Маша! Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и, конечно, мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор...»

Это письмо и телеграмма помогли разрядиться моему напряженному состоянию, и мне стало легче. Я написала в Аксеново:

«Ну, у меня вдвойне праздник: получила от вас письма и дождик пошел, хороший, крупный, идет со вчерашнего вечера. А уж письмам обрадовалась несказанно! Вчера получила сразу три и сегодня утром одно от тебя.

В «Новостях дня», полученных сегодня, помещены ваши портреты. Да, и наделали же шуму вы вашей свадьбой! Кто из вас знаменитей, ты или Книпшиц? Ее изобразили в костюме из «Дяди Вани», а тебя в пенсне. За телеграмму очень и очень благодарю, буду ждать письма. Может быть, я вас побеспокоила, но мне так тяжело было не знать про вас ровно ничего целых две недели».

Нужно сказать несколько слов о том, как Антон Павлович обставил свою свадьбу в Москве. Дело в том, что, как я уже не раз здесь упоминала, брат всегда боялся всяких публичных выступлений. Пышная, торжественная процедура свадебного обряда, связанные с ним традиции его буквально пугали. Он еще за месяц до свадьбы писал Ольге Леонардовне:

«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день при-

---

[1] Эта телеграмма Антона Павловича ко мне публикуется в печати впервые. До сих пор я считала ее утерянной и лишь недавно обнаружила в своем архиве.

езда. Ужасно почему-то боюсь венчания, и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться».

Поэтому Антон Павлович попросил артиста Художественного театра Александра Леонидовича Вишневского устроить в день свадьбы торжественный обед и пригласить на него всех родных его и Ольги Леонардовны. А. Л. Вишневский это выполнил. В назначенный час все собрались, ждут Антона Павловича и Ольгу Леонардовну. Их все нет и нет. Начали уже волноваться. Наконец откуда-то стало известно, что Антон Павлович и Ольга Леонардовна только что обвенчались, заехали из церкви к Анне Ивановне Книппер, матери Ольги Леонардовны, и оттуда проехали на вокзал и сейчас... уже едут в поезде в Нижний-Новгород!

Пусть читатели сами представят себе то забавное положение, в котором оказались гости на званом обеде, когда пригласившие их на этот обед хозяева... сбежали.

С такой тактической хитростью Антон Павлович разрешил этот «тяжелый» для него вопрос. На венчании же в церкви присутствовали только требовавшиеся законом того времени четыре свидетеля, называвшиеся шаферами, — брат и дядя Ольги Леонардовны и еще два знакомых студента.

* * *

Моими письмами, в которых я писала брату о своих переживаниях, связанных с его неожиданной женитьбой, я, конечно, невольно доставила им обоим огорчение, о чем мне позднее Ольга Леонардовна откровенно и сообщила. На это я написала Антону Павловичу письмо, в котором рассказала, почему это все так у меня получилось:

«Милый Антоша, Оля пишет мне, что ты очень огорчился моим письмом. Прости меня, что я не сумела сдержать своего тревожного настроения. Мне казалось, что ты поймешь меня и простишь. Это первый раз, что я дала волю своей откровенности, и теперь каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книпшиц, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела бы твою жену. Но тут совсем другое: твоя супруга была мне другом, к которому я успела привязаться и пережить уже многое. Вот и



Ялтинский дом в 1900 году.

закопошились во мне разные сомнения и тревоги, быть может напрасные и преувеличенные, но зато я искренно писала все, что думала. Оля мне сама рассказывала, как ей трудно было пережить женитьбу своего старшего брата, и мне кажется, она скорее всего могла понять мое состояние и не бранить меня. Во всяком случае, мне очень неприятно, что огорчила вас, больше никогда, никогда не буду.

Теперь я чувствую себя хорошо. В доме все благополучно, и все веселы, ждут вас...

...Очень рада, что кумыс действует на тебя благотворно, пей, не спеши, авось совсем выздоровеешь. Мое тревожное состояние зависело еще от слов твоего доктора Щуровского. Так не сердись же на меня и знай, что тебя и Олю я люблю больше всех на свете».

Вскоре Антон Павлович и Ольга Леонардовна вернулись из Аксенова, и мы дружно и весело прожили вместе все лето в Ялте. Никогда никаких разговоров или объяснений больше у нас не возникало.

В дальнейшем мы в Москве жили с Ольгой Леонардовной вместе на одной квартире и делили с ней все радости и горести. Дружба наша никогда и ничем не омрачалась. С тех пор прошло более полувека, и по сей день Ольга Леонардовна всегда была и остается моей любимой невесткой и самым близким и дорогим мне человеком.

XXII. ЯЛТИНСКАЯ ЖИЗНЬ

Как относился Антон Павлович к Ялте?

Некоторые авторы, пишущие о Чехове, ссылаясь на письма Антона Павловича и воспоминания современников, утверждают, что Чехов не любил Ялты и южного берега Крыма. Это не совсем так. Отношение Антона Павловича к Ялте нужно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, отрицательным было отношение его к Ялте провинциальной, мещанской, обывательской, к Ялте — курорту для богачей, титулованной знати, к Ялте, где Антон Павлович жил в одиночестве, вдали от друзей, от редакций, от театров, от Москвы, по которой он постоянно скучал («...скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так любил», — писал он). Но, с другой стороны, Антон

Павлович считал Ялту великолепным морским климатическим курортом, с его неповторимыми красотами, с его изумительной южной природой.

Еще в первое знакомство с Ялтой Антон Павлович в письме ко мне так описывал ее: «Коробкообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные чахоточные... эти рожи бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают...» Но вместе с тем брат находил, что Ялта значительно лучше и чище Ниццы. Как врач, он считал, что климат Ялты целителен для туберкулезных больных и говорил, что знал многих, которые выздоровели оттого, что жили в Ялте. «Из всех русских теплых мест самое лучшее пока — южный берег Крыма, это несомненно, что бы там ни говорили про кавказскую природу. Я недавно был в Гурзуфе около Пушкинской скалы и залюбовался видом, несмотря на дождь», — писал однажды Антон Павлович в одном из писем Соболевскому. А в другом письме ему же писал, что «Ялта растет с каждым днем все шире и шире. Здесь водопровод, канализация, электрическое освещение in spe (в надежде), пройдет железная дорога, одним словом чудеса культуры, но скучно, и без газет можно было бы впасть в мрачную меланхолию и даже жениться». Ему нравилась крымская природа, и он посадил в своем саду много различных деревьев, растущих только в южных широтах, особенно из хвойных пород. Но, страстно любя природу среднерусской полосы, он стремился также сажать и лиственные деревья с опадающей на зиму листвой. Он как-то говорил, что жесткие блестящие листья вечнозеленых деревьев похожи на сделанные из жести. Брат посадил, например, в саду даже северную березку, которые в Крыму не росли, и долго заботливо ухаживал за ней, пока она все же не погибла.

Однажды в одной телеграмме Антон Павлович назвал Ялту «Чертовым островом». Иногда ссылаются на это как на свидетельство нелюбви Чехова к Ялте. Но ведь нужно учесть, как и в связи с чем это было сказано. 17 декабря 1898 года в Московском Художественном театре шла премьера «Чайки» впервые после петербург-

ского провала. Каждый может понять, как волновался, что переживал Антон Павлович в этот вечер в своем ялтинском одиночестве! И вот к нему стали поступать поздравительные телеграммы, сообщавшие о триумфальном успехе спектакля. Все радовались, поздравляли, жалели, что он не в Москве... Мне думается, что должно быть понятно то настроение, в котором Антон Павлович, отвечая Вл. И. Немировичу-Данченко, сравнил свое вынужденное пребывание в Ялте с положением Дрейфуса, сосланного на остров Диавола.

В общем, у брата было недовольство не столько Крымом, сколько своим одиночеством в Крыму, своей оторванностью от Москвы, от близкого ему общества, отсутствием активной деятельности.

* * *

В конце 1899 года Антон Павлович занялся организацией в Ялте общедоступного санатория для туберкулезных больных. С первых дней своей жизни в Ялте он столкнулся с тяжелым положением туберкулезных больных-бедняков, приезжавших лечиться в Крым со всех концов России, но не имевших средств жить в дорогих частных лечебницах и пансионатах. Многие из них обращались к Антону Павловичу за помощью, и он помогал, чем мог. Но одному человеку не под силу было сделать в этом направлении что-либо существенное. Антон Павлович решил начать сбор средств на организацию в Ялте такого санатория-пансионата, в котором за небольшую, доступную плату мог бы жить и лечиться простой трудовой народ.

От имени ялтинского благотворительного общества «Попечительство о приезжих больных» Антон Павлович написал воззвание, в котором, обрисовав тяжелое положение больных, приезжающих в Крым с весьма ограниченными средствами, обращался ко всем «истинно добрым русским людям, где бы они ни проживали», с просьбой о пожертвовании в пользу неимущих больных. «Всякое малейшее пожертвование, хотя бы и в копейках, будет принято с глубокой благодарностью», — подчеркивалось в этом воззвании.

Воззвание было напечатано в ряде газет, а также отдельным оттиском, экземпляры которого Антон

Павлович разослал своим друзьям и знакомым. Многие из них были его уполномоченными, имели квитанционные книжки и принимали по ним пожертвования. Другие собирали просто, без книжек, и собранные средства присылали в Ялту в адрес Антона Павловича, и он сейчас же высылал им квитанцию в приеме денег.

Поручил брат и мне собирать пожертвования в Москве. Там мне, в свою очередь, помогали Ольга Леонардовна, Александра Александровна Хотяинцева, муж моей старой приятельницы Дуни Эфрос Ефим Зиновьевич Коновицер и др. На это гуманное дело давали охотно, особенно когда узнавали, что организатором его являлся писатель Чехов. Я отсылала и привозила брату немало денег, собранных мною и моими друзьями в Москве.

В результате на пожертвованные средства ялтинское благотворительное общество, состоявшее преимущественно из ялтинских врачей-общественников, организовало в Ялте, в Аутке, где была и наша дача, пансионат, названный «Яузларом». В нем было 20 мест, которые предоставлялись за минимальную плату беднякам, болевшим туберкулезом. Известность этого пансионата была настолько велика, что всегда имелась очередь желающих попасть в него.

Позднее стало ясно, что такого маленького пансионата для Ялты совершенно недостаточно. Антон Павлович написал новое воззвание, в котором говорил уже об организации настоящего санатория на сорок — пятьдесят больных. И вновь на это дело средства были собраны. На окраине города, на горе, где был прекрасный воздух и откуда открывался великолепный вид на море, появился санаторий, также названный «Яузларом». Это был в то время один из первых в Ялте общедоступных санаториев для неимущих туберкулезных больных. Он существует в Ялте и поныне и носит имя Антона Павловича, так много сделавшего для его создания.

* * *

В день своего сорокалетия, 17 января 1900 года, Антон Павлович получил неожиданное для него известие об избрании его в почетные академики Российской Академии наук по только что организованному тогда

разряду изящной словесности. Вместе с ним в академики были избраны Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. Ф. Кони, А. М. Жемчужников и др.

Признание Антона Павловича Академией наук выдающимся писателем было, конечно, для него приятным событием, но все-таки брат серьезно академиком себя не считал и относился к своему званию большей частью иронически. «Действительных академиков из писателей не будет, — писал он в письме к Суворину. — Писателей-художников будут делать почетными академиками, обер-академиками, архиакадемиками, но просто академиками — никогда или нескоро. Они никогда не введут в свой ковчег людей, которых они не знают и которым не верят».

Жившая у нас на покое наша старая кухарка Марья Дормидонтовна иногда объясняла приходившим гостям, что Антон Павлович теперь стал «енералом», над чем брат весело смеялся. А однажды в письме ко мне сообщил о таком курьезе: «Вчера у нас был важный человек, швейцар из Ливадии [1], дядя Марфуши [2], приходивший ко мне лечиться. Он по крайней мере раз сто назвал меня вашим превосходительством, так как бабушка его предупредила, что я теперь «енерал», то есть академик».

Еще в одном из писем, говоря, что званию академика вообще рад, Антон Павлович вместе с тем писал: «Но еще более буду рад, когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдет непременно, так как ученые академики очень боятся, что мы будем их шокировать». Его предсказание точно исполнилось: ровно через два года «недоразумение» произошло — в 1902 году в почетные академики был избран Максим Горький, а затем эти выборы по указанию царя аннулировали, ввиду «политической неблагонадежности» Горького. Как я упоминала уже раньше, Антон Павлович вместе с В. Г. Короленко в знак протеста против творящегося в Академии наук произвола вышел из состава академиков. Кстати, в мае 1902 года Короленко приезжал к Антону Павловичу в Ялту специально для того, чтобы договориться о совместных действиях по выходу из Академии.

---

[1] Ливадия была царской резиденцией.

[2] Наша горничная.

Так около двух с половиной лет Антон Павлович пробыл «академикусом», как он шутливо подписывался в некоторых своих письмах.

В январе 1900 года я получила от Антона Павловича письмо, в котором прочитала неожиданную для меня новость: «Я купил кусочек берега с купаньем и с Пушкинской скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево — шелковица». Когда я потом познакомилась с этой нашей новой гурзуфской дачкой, она мне очень понравилась, и что особенно там было привлекательно — это наш собственный прекрасный пляж. Небольшой домик был самой обыкновенной деревенской хатой с низким потолком, но там было удивительно уютно и спокойно. Антон Павлович посадил на участке несколько новых деревьев. Мы рассчитывали, что летом, когда в Ялте наступает жара и появляется пыль, мы будем уезжать в Гурзуф, как на дачу.

Теперь мы оказались владельцами трех усадеб, из которых Кучукой представлял для нас лишь некоторый экзотический интерес, так как жить мы в нем не собирались, особенно теперь, после покупки домика в Гурзуфе. Поэтому Кучукой было решено продать. В начале 1901 года через комиссионную контору Виноградова в Москве Кучукой был продан. Купила его некая Перфильева, без осмотра, несмотря на то что я этого требовала. Позднее, в конце этого же года, когда Перфильева познакомилась с Кучукоем, он ей не понравился и она написала Антону Павловичу письмо с выражением недовольства. Брат переслал мне это письмо и попросил немедленно вернуть Перфильевой деньги «без объяснений и без разговоров о чем бы то ни было». Мною все это было выполнено, и Кучукой опять стал наш. Больше мы не пытались продавать его.

После смерти Антона Павловича, зная его расположение к брату Ивану Павловичу и заботы о нем, Кучукой отдали ему. Но Иван Павлович там тоже не жил. После революции этим имением никто из нас не интересовался. После смерти брата я там ни разу не бывала.

* * *

Много народа перебывало у нас в Ялте при жизни Антона Павловича — писатели, артисты, художники, музыканты, общественные деятели, академики. Приезжали и наши старые московские и мелиховские друзья, но большинство из ялтинского окружения Антона Павловича было уже из числа новых знакомых, сблизившихся с братом в ялтинский период его жизни.

Еще в первый год пребывания Антона Павловича в Ялте, пока наш дом только строился, к брату приезжал познакомиться входивший тогда в большую славу писатель Максим Горький — Алексей Максимович Пешков. Это было в марте 1899 года. Они часто встречались в те дни, говорили о литературе, о творчестве и произвели хорошее впечатление друг на друга. После этого между ними установились дружеские отношения и началась интересная и содержательная переписка.

Антон Павлович считал Горького талантливым человеком, из которого выйдет «большущий писателище». По просьбе самого Алексея Максимовича он давал ему много литературных советов, помогал критическими указаниями. В своих письмах Горький искренно благодарил Антона Павловича и потом посвятил ему свою повесть «Фома Гордеев».

Я встретилась впервые с А. М. Горьким, когда он приезжал в Ялту во время гастролей Художественного театра весной 1900 года. Его имя тогда было очень популярно. С удивлением и любопытством я присматривалась к нему. Удивлял он меня тем, что ходил всегда в длинных русских рубахах-косоворотках (летом в белых, зимой в черных), в сапогах с заложенными в голенища брюками, — вообще производил вид не столько писателя, сколько какого-нибудь мастерового. Но когда он начинал что-нибудь рассказывать, а рассказывал он большей частью о своей жизни, о своих скитаниях по России, то нельзя было не восхищаться красочными описаниями, интересными образными сравнениями и вообще мастерством изложения. На всех актеров Художественного театра он произвел тогда такое же сильное впечатление, и те всегда окружали его и без конца

слушали увлекательные рассказы. У Горького было природное дарование великолепного и интереснейшего рассказчика.

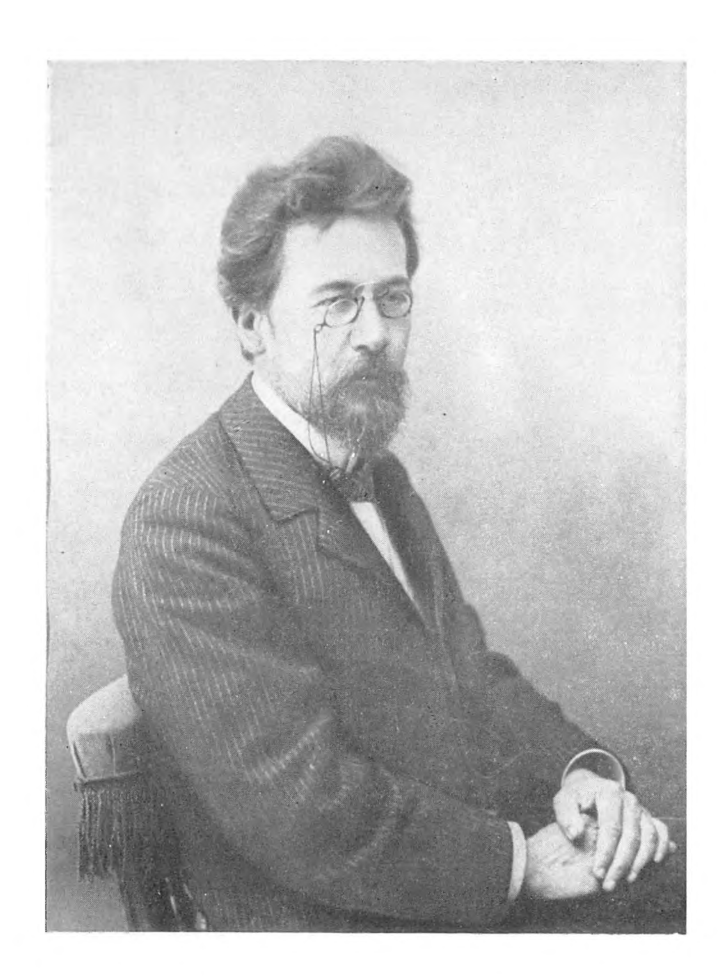
Приезжая в Крым, Горький всегда встречался с Антоном Павловичем и в дальнейшем стал в нашем доме своим человеком. Однажды, в 1901 году, он даже жил у нас несколько дней перед тем, как переехать в Олеиз. Он в то время находился под полицейским надзором за революционную деятельность. Ему было разрешено по состоянию здоровья прожить зиму 1901/02 года в Крыму, но за исключением Ялты, где он не имел права останавливаться. Но так как наш дом был не в городе, а в деревне Аутке, то Антон Павлович и прописал Горького у себя. Правда, полицейский пристав почти ежедневно справлялся у брата, у него ли находится Горький... В эту зиму писатели много встречались или в Ялте, или у Горького на даче «Нюра» в Олеизе. Иногда они ездили вместе к Льву Николаевичу Толстому, тоже проживавшему в тот год на южном берегу Крыма, в Гаспре, в имении Паниной.

Бывал Алексей Максимович у нас в Ялте и вместе с женой Екатериной Павловной и детишками — мальчиком Максимкой и девочкой Катей. Как сейчас помню две маленькие фигурки, бегавшие в высокой траве нашего сада и оживлявшие его тишину своими детскими голосами. У Антона Павловича и Горького была своя излюбленная скамеечка в нашем саду, куда они обычно уединялись для разговоров, чтобы никто им не мешал. Я уже всегда знала, что если их в доме нигде нет, то, значит, они там, и, когда нужно было садиться за стол к обеду или чаю, я выходила на балкон своей комнаты и кричала через весь сад:

— Антоша, Алексей Максимович, идите обедать...

Эта скамеечка сохранилась в саду до сих пор и носит теперь название «горьковской».

Однажды Горький предложил мне пойти вместе с ним на конспиративное собрание одного революционного кружка. Я знала, что в России есть революционные кружки, есть люди, которые посвятили всю свою деятельность и всю свою жизнь делу революции, но сама я стояла далеко от политической жизни. Возможно, Горькому захотелось возбудить во мне интерес к поли-



А. П. Чехов.

1902 год.

тическим вопросам, а может быть, даже и привлечь меня к революционной работе.

— Я познакомлю вас с хорошими людьми... Очень хорошими, — сказал он, сильно «окая» в слове «хорошими».

Не имея понятия о конспирации, я пригласила пойти вместе с нами отдыхавшего тогда в Ялте писателя И. А. Бунина. Горький не возражал против этого.

Помню, как темным вечером шли мы втроем по улицам Ялты. Дошли до Лаврового переулка и зашли в дом, принадлежавший неким Серебряковым. Поднялись на второй этаж. Там в довольно большой, сильно накуренной комнате происходило собрание. Несколько незнакомых мне очень просто одетых людей о чем-то спорили. Что они говорили, я плохо понимала. К тому же и Бунин, считая, очевидно, своим долгом развлекать меня, мешал мне слушать своими разговорами.

Я не помню теперь, выступал ли тогда на этом собрании А. М. Горький. У меня сохранилась в памяти только внешняя сторона этого эпизода, характерного для всего облика Алексея Максимовича того времени. Насколько я могу судить теперь, попытка его сблизить меня с революционными кружками не была успешной.

Встречалась я с Алексеем Максимовичем и в Москве. Он не раз приходил ко мне в гости.

А. М. Горький очень любил Антона Павловича и высоко ценил его как писателя. Об этом говорят его воспоминания о Чехове, письма и статьи.

* * *

С И. А. Буниным Антон Павлович познакомился еще в 1895 году, но начал встречаться с ним уже тогда, когда жил в Ялте. Бунин был на десять лет моложе Антона Павловича. Происходил он из обедневшей дворянской семьи и жил только на средства, получаемые от литературного труда.

Я познакомилась с Буниным, так же как и с Горьким, в Ялте во время гастролей Художественного театра в апреле 1900 года. Иван Алексеевич, воспитанный, остроумный, живой, веселый человек, произвел на меня очень приятное впечатление. В литературе он выступал тогда как поэт и как беллетрист. Он был большим мастером стихотворных экспромтов.

Антон Павлович чувствовал большое расположение к Ивану Алексеевичу, был очень ласков с ним и всегда просил, когда тот бывал в Ялте, каждый день, и пораньше, приезжать к нему. Целые дни они проводили вместе в беседах. Оба они любили тонкий юмор, шутку, часто придумывали вместе подробности, эпизоды какого-нибудь смешного рассказа, и порой из кабинета брата слышались взрывы громкого смеха. Бунин великолепно читал ранние юмористические произведения Антона Павловича. Обычно брат сначала старался слушать Бунина серьезно, но, сколько ни крепился, все-таки не мог удержаться от смеха, слушая свои собственные старые рассказы. Антон Павлович называл Ивана Алексеевича придуманным им прозвищем «Букишон», иногда добавлял к этому: «Господин французский депутат Букишон».

Однажды, в конце декабря 1900 года, Бунин приехал в Ялту и остановился по приглашению брата в нашем доме. Поселился в одной из комнат нижнего цокольного этажа. Я обычно во время рождественских каникул жила тоже в Ялте. Антона Павловича дома тогда не было, он уезжал в Ниццу. Нам с матерью тоскливо было проводить праздники без Антона Павловича, и приезд И. А. Бунина был очень кстати. Он вносил большое оживление в нашу жизнь, скрасив наше одиночество.

Одно из своих писем брату в Ниццу (от 28 декабря 1900 года) я начала таким бунинским шутливым экспромтом:

«Позабывши снег и вьюгу,
Я помчалась прямо к югу.
Здесь ужасно холодно́.
Целый день мы топим печки,
Глядим с Буниным в окно
И гуляем, как овечки.

По-моему, последняя строчка глупа, но Бунин, который сочинил мне сейчас эти стихи, находит, что эта строчка самая лучшая! Напиши свое мнение. Бунин приехал и остановился у нас внизу...»

На встрече Нового года Иван Алексеевич написал мне такой экспромт:

Гуляй, гуляй, Маша,
Пока воля наша, —
Когда замуж отдадут,
Такой воли не дадут!

За те дни, что Иван Алексеевич прожил у нас, я с ним очень подружилась. Он стал меня шутливо звать «Амаранта», а себя «Дон Зинзага», заимствуя эти имена из рассказа Антона Павловича «Жены артистов», когда-то опубликованного в первом сборнике его рассказов под названием «Сказки Мельпомены». Иногда он звал меня, копируя покойного Левитана, и Мафой.

После весело проведенных каникул я уехала в Москву, а Бунин продолжал жить в нашем доме, за что я была ему очень признательна, иначе наша мать осталась бы совсем одна. Мы думали, что если Антон Павлович не задержится за границей, то Бунин дождется его в Ялте.

Иван Алексеевич стал писать мне в Москву, и с этого времени началась наша дружеская с ним переписка, продолжавшаяся более десяти лет. Я приведу здесь те письма ко мне Ивана Алексеевича, в которых упоминается имя Антона Павловича или раскрывается отношение Бунина к Антону Павловичу, которого он любил тогда искренно, глубоко, нежно.

Вот эти письма И. А. Бунина в отрывках:

«Ялта, 22 января 1901 г.

Очень виноват перед Вами, милая и хорошая Амаранта, но, право, я не вижу дней. Они мелькают так, что их за хвост не поймаешь, благодаря моему трудолюбивому и аскетическому образу жизни. Читаю, думаю, мечтаю, иногда кое-что запишу, кушаю на доброе здоровьице, беседую за столом с милой и кроткой Евгенией Яковлевной, бегаю на почту... Евгения Яковлевна здорова, — немного было распухло у нее горло, теперь прошло. Удивляемся, что значит, что Антон Павлович не пишет Вам. Он опять повторяет, что скоро, очень скоро приедет...

Если бы Вы были здесь, я бы рассказал Вам много трогательного и красивого, что придумал и видел за последнее время. А сколько экспромтов пропало задаром!..

Опишите представление «Трех сестер», поклонитесь Книпперам. Прощайте, Амаранта.

Ваш *Дон Зинзага*».

«Ялта, 18 февраля 1901 г.

Дорогая Марья Павловна! 13-го февраля, во вторник, я выбыл из Аутки на пароход, но на набережной увидел чрезвычайное волнение моря и поэтому, дабы не докучать своей возней Евгении Яковлевне, отправился в гостиницу «Ялта», где живу и до сего времени. Во вторник же Варвара Константиновна[1] получила телеграмму из Одессы от Антона Павловича, что он едет. Значит, сложилось все чудесно, мы беспокоились только, что Антона Павловича будет качать.

В четверг ночью он приехал, а в пятницу утром позвонил мне в телефон и позвал к себе. Был у него и в пятницу, и в субботу, и сегодня — по целым дням; конечно, по его желанию, а не вследствие нахальства, присущего мне. Был он со мной очень ласков, а мне было очень приятно быть с ним. Он задержал меня здесь — этим и объясняется то, что я еще здесь. Но в Аутку не переезжаю, ибо я все-таки на отлете.

Антон Павлович имел сперва немного утомленный вид, но сегодня был хорош, дай ему бог тысячу лет здоровья! Милая Евгения Яковлевна счастлива и здорова. Что Вы, милая Мафа?

Многое поручил мне Антон Павлович написать Вам, но потом решил написать сам. Ну, пока до свиданья, милая Амаранта.

Ваш *Ив. Бунин.*

Поклон Книпперчику... Впрочем, она в Петербурге?»

«Одесса, 3 марта 1901 г.

Дорогая Марья Павловна, пожалуйста, не сердитесь за молчание. Мне самому очень неприятно, что я так долго не писал Вам...

Уезжая из Ялты или, кажется, с парохода писал Вам, как мил и сравнительно здоров и весел был дорогой Антон Павлович. Теперь больше ничего не могу сказать. Писем от него не получал. Успех Художественного театра меня искренно радует...

Ваш *Зинзага.*

---

[1] Варвара Константиновна Харкеевич — начальница ялтинской женской гимназии.

Антон Павлович все называл меня «Букишоном». Правда, хорошо?»

«Одесса, <середина марта> 1901 г.

Милая и дорогая Амаранта, очень крепко целую Ваши ручки за ласку и приглашение, но не знаю, приеду ли я в Ялту. Пора на покой, домой, а то что ж это— опять «вагоны, буфеты, отбивные котлеты», коридорные... Работать, конечно, в Ялте нельзя будет... то есть очень мало шансов на это. И, главное, долго ли Вы пробудете в Ялте? Не скрою, ей-богу, страшно хочется видеть Вас, видеть Ялту, Антона Павловича... Потом плыть с Вами по морю и держать путь в Россию уже по нежной весне. Очень хорошо! Но... ей-богу, не знаю... Одним словом, подумаю.

Относительно Антона Павловича Вы напрасно беспокоитесь. Я ничего не скрыл от Вас и сказал «сравнительно» просто потому, что ведь никогда же Антон Павлович не производит впечатления крепчайшего здоровья.

Олечку очень жалею [1]. Остальных нечего, вероятно, жалеть. Да и в общем ведь все-таки успех огромный.

Жду от Вас еще письма — как и что. А я подумаю. Только, пожалуйста, не думайте, милая, что у меня просто нет желания ехать [2].

Мальчик мой болен немного. Да и вообще много грустного [3]. Жену мельком как-то видел.

Ваш *Ив. Бунин».*

«Лукьяново, Тульск. губ., 28 апр. 1901 г.

Дорогая Амаранта, не припишите мое долгое молчание тому, что я не думал о Вас это время, — просто я жил в беспорядке. В Ялте Вы все что-то были не в духе, и, по правде сказать, мне жаль чего-то... эти

---

[1] Художественный театр в то время был на гастролях в Петербурге. В своих рецензиях петербургские газеты ругали спектакли театра; на Ольгу Леонардовну это действовало тяжело.

[2] Антон Павлович тоже писал в это время Бунину: «Непременно, обязательно приезжайте».

[3] У Бунина в это время были семейные неприятности. Он разводился с женой. Сын оставался с матерью. Иван Алексеевич приходил повидаться с ним через день.

полторы недели могли пройти лучше. Все же я опять с большой любовью вспоминаю Ялту и Вас, и Книпшиц, и «Антошу», и всё и вся [1].

Как здоровье Антона Павловича, и где он, и сколько он пробудет в Москве, если он уже в Москве. Я в родном гнезде чувствую себя недурно... Пишу много стихов — иногда хороших...

Ваш душой *Ив. Бунин*».

«Ефремово, 28 мая 1901 г.

Дорогая Амаранта, о которой я часто вспоминаю с большим удовольствием! Очень тружусь и потому долго не писал Вам. Вы мне прислали чудесное письмо — письма Вы пишете не хуже брата. Собираюсь в Москву и надеюсь увидеть там Олечку и Антона Павловича. Он мне писал, но письмо начал так: «Милый, душеспасительный Иван Алексеевич, господин Буки-

---

[1] И. А. Бунин в начале апреля все-таки в Ялту приезжал и прожил полторы недели. В эти же дни у нас гостила и Ольга Леонардовна. Мы все вместе весело проводили время, гуляли. Однажды мы ездили в Гурзуф, завтракали там в ресторане. После этой прогулки, на просьбу Ивана Алексеевича сказать, какая часть расхода приходится на его долю, Антон Павлович «выписал» ему такой шутливый счет:

«Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу)

Израсходовано на Вас:

1 переднее место у извозчика	5 р.
2 бычков а ля фам о натюрель	1 р. 50 коп.
1 бутылка вина экстра сек.	2 р. 75 коп.
4 рюмки водки	1 р. 20 коп.
1 филей	2 р.
2 шашлыка из барашка	2 р.
2 барашка	2 р.
Салад тирбушон	1 р.
Кофей	2 р.
Прочее	11 р.
	Итого: 27 р. 75 коп.

С почтением *Антон и Марья Чеховы,* домовладельцы».

14 апреля мы втроем выехали из Ялты: я и Ольга Леонардовна в Москву, Бунин — в Одессу.

шон!..» За «душеспасительного» я чуть не обиделся...[1] Напишите мне в Москву. Друзья меня любят — поеду в Москву, заверну на дачу к Телешову, а потом пишите так: Москва, Чистые пруды, дом Терехова, Н. Д. Телешову, для меня.

...кланяюсь Евгении Яковлевне и всем обитающим в милой и благородной Белой Даче.

Весь Ваш *Ив. Бунин.*

Видите ли Купришу?[2] Ему мои поцелуи».

«Москва, <начало июня> 1901 г.

Дорогая Марья Павловна! Что Вы замолчали? Каково Ваше настроение? Приехавши в Москву, получил совершенно неожиданное известие об Антоне Павловиче[3]. Был у Анны Ивановны[4], она говорит, что он поехал очень веселый. Мое желание Вы знаете — от всей души желаю, чтобы для всех вас это было и вышло хорошо во всех отношениях. Напишите мне о себе хоть что-нибудь и поклонитесь милой и уважаемой Евгении Яковлевне.

Ив. Бунин».

«Лукьяново, 7 июля 1901 г.

Дорогая Марья Павловна, давно не писал Вам, но опять-таки вследствие скудости внешней моей жизни. Сижу у родителей, по утрам купаюсь, после обеда сплю в кленовой аллее, читаю много... остальное время беседую с музой. Хочется мне Толстого за пояс заткнуть, да и только!

Вас, милая и хорошая Амаранта, от всего сердца жалел, прочтя Ваше грустное письмо[5]. Искал Вам жениха — ничего подходящего, — лето! Подождем зимы, которую я буду почти всю проводить в Москве. Ваш милый, знаменитый брат прислал мне письмо, по обык-

---

[1] Упоминаемое Буниным письмо к нему Антона Павловича неизвестно, в полное собрание писем А. П. Чехова оно не попало. Видимо, Бунин мне его в свое время не дал для публикации.

[2] «Куприша» — А. И. Куприн.

[3] Венчание Антона Павловича и Ольги Леонардовны в Москве 25 мая.

[4] Анна Ивановна Книппер — мать Ольги Леонардовны.

[5] Письмо мое было написано в период душевного смятения после первого известия о женитьбе брата.

новению ничего не пишет о здоровье. Что сделал кумыс? Напишите, пожалуйста, — я вас всех очень люблю. И побольше напишите о себе, как проводите ялтинские дни? Конечно, самый низкий поклон молодым, уважаемой Евгении Яковлевне, всему вашему дому и знакомым.

Ваш душой *Ив. Бунин*».

«2 июня 1902 г.

Дорогой друг, простите, что не писал. Сидел в деревне у своих и «творил». Теперь еду под Москву... Напишите, как живете, где Антон Павлович с женой. Пожалуйста, напишите, мне очень хочется о Вас знать хоть что-нибудь...

Ваш *Ив. Бунин*».

«Севастополь, 2 августа 1902 г.

Сижу на приморском бульваре, в Севастополе, на скамейке у самой воды, которая шумит и полощется, прямо против солнца, опускающегося к морю, против нестерпимо блестящей полосы по морю, в желтоватом вечернем освещении, обвеваемый ласковым ветром с моря.

Второй день, то есть с самого отъезда из Гурзуфа, до физической боли тоскую. Опять я в пути, в своем бесконечном пути, и так, как и вчера и сегодня, нет поблизости ни одного более или менее родного человека. Хочется плакать от одиночества. Впрочем, этих близких людей у меня на всем свете не более десяти. Вы одна из них, и вчера я даже хотел снова проехать к Вам в Гурзуф провести вечер, так как было страшно одиноко, а мне так грустно за последнее время...

Ваш *Ив. Бунин*».

«Лукьяново, 5 июля 1904 г.

Дорогая и милая Амаранта, напишите мне, пожалуйста, как здоровье Антона Павловича и где он? Я слышал, что он нездоров, и мне это очень, очень грустно...[1]

Преданный Вам *Ив. Бунин*».

---

[1] Когда писалось это письмо, Антона Павловича уже не было в живых.

«Лукьяново, 9 июля 1904 г.

Дорогой, горячо любимый друг, я буквально как громом поражен. А тут еще горе — у матери крупозное воспаление легких, а ей под семьдесят лет. Не мог и не могу поэтому приехать в Москву, прошу Вас только помнить, что все Ваши страдания в эти дни я переживаю с Вами с невыразимой болью...

Преданный Вам всей душой *Ив. Бунин».*

Позднее И. А. Бунин писал в своих воспоминаниях о том, как он узнал о смерти Антона Павловича: «Я поехал верхом в село на почту, забрал там газеты, письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...»

Спустя несколько лет после смерти Антона Павловича, когда я стала издавать письма брата, я просила И. А. Бунина написать предисловие. Он дал согласие. Дальнейшее объяснит его письмо мне от 25 сентября 1911 года:

«...Письма Антона Павловича брал у Сытина и, мгновенно перечитав, снова возвратил ему для набора. Письма восхитительны и могли бы дать материала на целую огромную статью. Но тем более берет меня сомнение: нужно ли мне писать вступление к ним? Крепко подумавши, прихожу к заключению, что не нужно. Ибо что я могу сказать во вступлении? Похвалить их? Но они не нуждаются в этом. Они — драгоценный материал для биографии, для характеристики Антона Павловича, для создания портрета его. Но уж если создавать портрет, так надо использовать не один том их, а все, да многое почерпнуть и из других источников. А какой смысл во вступительной заметке?

Пожалуйста, напишите мне Ваше мнение. Думаю, что Вы согласитесь со мной, тем более что ведь и выпускать письма надо поскорее.

Кланяюсь Евгении Яковлевне.

Искренно преданный Вам *Ив. Бунин».*

Я согласилась с Иваном Алексеевичем, и вместо вступительной статьи моим братом Михаилом Павловичем были написаны биографические очерки к каждому тому писем.

В последующие годы мы уже реже видались с И. А. Буниным. Он женился вторично и стал мало бывать в Крыму. Переписка тоже заглохла. А после революции мы и совсем расстались. Бунин не был ни капиталистом, ни помещиком, хотя у него и было небольшое старинное родительское имение в одной из деревень Тульской губернии. Жил он только своим литературным трудом и всегда был стеснен в деньгах. И тем не менее И. А. Бунин не мог понять Великую Октябрьскую социалистическую революцию и эмигрировал за границу. Там он прожил остаток своей жизни. Печально закончились дни этого талантливого человека, любившего свою родину, но не сумевшего отказаться от некоторых своих взглядов. Он умер за границей в 1953 году восьмидесяти трех лет от роду.

В заключение воспоминаний об Иване Алексеевиче могу добавить, что в июльской книжке журнала «Русская мысль» за 1902 год был опубликован рассказ Бунина «Свидание», посвященный мне.

* * *

Бывал у нас в ялтинском доме еще один талантливый писатель, к которому Антон Павлович тоже тепло относился и произведения которого хвалил, — Александр Иванович Куприн. Так же как и Бунин, он был на десять лет моложе Антона Павловича. Он прожил трудную жизнь: был офицером, актером, землемером...

Куприн бывал у нас с 1900 года. Он относился к Антону Павловичу с большой любовью и уважением. Он был уже довольно известным писателем, когда в 1901 году подарил Антону Павловичу свою книжку «Миниатюры» с такой надписью: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову с чувством большой робости. *Автор»*.

Как-то весной Александр Иванович жил в Ялте, но не в самом городе (у него тогда были плохи денежные дела), а в деревне Аутке, недалеко от нашего дома. В шумной квартире, где он снимал комнату, ему было

трудно писать, и Антон Павлович предложил ему работать у нас. Александр Иванович работал в столовой первого этажа, под кабинетом брата. Кстати, известный рассказ «В цирке» Куприн написал в этой комнате.

Куприн и Бунин были дружны между собой, вместе бывали в Ялте, и я иногда в шутку называла их «двумя Аяксами». У меня с Куприным, так же как и с Буниным, сложились дружеские отношения.

Вот, например, одно из писем Куприна ко мне:

«Вы помните, Бодлер как-то сказал:

«...каждый раз, когда я встречал чистую изящную женщину с нежной душой, мне хотелось носить ее на руках и плакать от умиления».

...нечто подобное я всегда испытывал к Вам. Я думаю о Вас часто, часто... Рад, что Вы позволяете мне это».

Бунин и Куприн в письмах ко мне подтрунивали друг над другом. Бунин писал: «Слышал с неудовольствием про Ваш флирт с Куприным. Надеюсь, этот демон уже уехал?» Куприн же писал: «Скажите Ваничке Бунину, что всякого другого на его месте я возненавидел бы, но ему великодушно прощаю...»

Я помню А. И. Куприна на похоронах Антона Павловича, когда слезы неудержимо текли по его лицу. Он искренно и глубоко любил Антона Павловича. Его воспоминания о моем брате исполнены большой душевной теплоты. Позднее он помогал мне доставать письма Антона Павловича у петербургских адресатов, когда я подготовляла издание эпистолярного наследия брата.

А. И. Куприн после революции тоже эмигрировал за границу. Но, тяжело переживая свою оторванность от родины и народа, он обратился к Советскому правительству с просьбой разрешить ему вернуться на родину. Он вернулся уже постаревшим, больным и вскоре, в 1938 году, умер в Москве.

Я с ним после революции не виделась ни разу.

* * *

Я упоминала выше, что наш старый друг дядя Гиляй бывал у нас в Ялте. Как-то в одно из посещений В. А. Гиляровский написал на косяке двери, выходившей из галерейки во двор, такой стихотворный экспромт:

Край, друзья, у вас премилый,
Наслаждайся и гуляй:
Шарик, Тузик косорылый [1]
И какой-то Бабакай... [2]

Антон Павлович искренно смеялся и шутил, что это — лучшее стихотворение того времени.

Я очень сожалела позднее, что не досмотрела, как во время очередной покраски галерейки это стихотворение Владимира Алексеевича было закрашено.

* * *

В конце 1899 года, во время рождественских праздников, к нам приезжал наш старый, дорогой друг И. И. Левитан. Он тогда был уже тяжело больным. Эта его встреча с Антоном Павловичем, в сущности, оказалась последней (если не считать кратковременного посещения Антоном Павловичем больного Левитана в мае 1900 года в Москве).

В эти последние дни 1899 года в нашем доме появилась еще одна картина Левитана — написанный маслом этюд «Стоги сена в лунную ночь». Появлению этого этюда предшествовал разговор Антона Павловича с Левитаном о русской природе. Левитан сидел в кабинете брата в кресле перед камином, а Антон Павлович, медленно прохаживаясь по комнате, говорил о том, что он соскучился по родному среднерусскому пейзажу, что крымская южная природа хотя и красивая, но холодная. Я сидела тут же в комнате. Вдруг Левитан обращается ко мне:

— Мафа, принесите мне, пожалуйста, картону.

---

[1] Дело в том, что у нас в Ялте, так же как и в Мелихове, всегда жило по нескольку собак. Некоторых мы сами заводили, другие просто приходили и приживались. Были у нас симпатичные собачки Каштан, Тузик, Шарик, потом был Шнап, которого я звала по-своему Фомой. Когда Антон Павлович выходил в сад, они всегда окружали его. Собаки удивительно чувствуют отношение к ним человека и на ласку отвечают своей трогательной собачьей лаской. Вот так наши дворовые собаки всегда ласкались и к Антону Павловичу.

[2] Бабакай Осипович Кальфа, подрядчик, производивший у нас строительные работы.

Я принесла. Исаак Ильич вырезал кусок по размеру ниши камина, вставил его туда, взял краски и начал писать. В каких-нибудь полчаса этюд был готов. На нем были изображены копны сена в поле во время сенокоса в лунную ночь, вдали лес. В нижнем правом углу он написал: *«И. Левитан — А. Чехову»*. Так этот подарок друга навсегда и остался в нише камина.

В кабинете брата были еще две картины Левитана: «Река Истра», написанная в 1885 году в Бабкине, когда мы жили там вместе с Левитаном, и «Дуб и березка». Обе эти картины Левитаном были подарены Антону Павловичу и всегда висели в его кабинете, где бы мы ни жили — в Москве, Мелихове, Ялте. Несколько левитановских картин и этюдов, подаренных им мне, находились в моей комнате.

* * *

Бывал у нас в Ялте Федор Иванович Шаляпин. Он любил Антона Павловича и очень высоко ценил его произведения. Обычно после просмотра в Художественном театра новой пьесы Антона Павловича Шаляпин посылал ему телеграмму с выражением восхищения и благодарности.

Брат любил слушать Шаляпина, и тот всегда много для него пел. Федор Иванович приходил к нам в Ялте запросто, аккомпаниатора для него у нас в доме не было, поэтому он сам садился за рояль и, аккомпанируя себе, пел русские народные песни. Они у него получались великолепно — и лирически-задушевные, и задорно-залихватские, и шуточно-комические. И было в его пении столько обаяния, красоты, столько эмоционального воздействия, что его можно было часами слушать и слушать... Антон Павлович любил неповторимый шаляпинский голос.

Из артистов бывали еще П. Н. Орленев, все просивший Антона Павловича написать для него пьесу, которую он исполнял бы во время гастролей за границей, первая исполнительница роли Нины в «Чайке» Комиссаржевская, бывший певец Московского Большого театра В. С. Миролюбов (по сцене Миров), издававший «Журнал для всех», в котором Антоном Павловичем были напечатаны рассказы «Архиерей» и «Невеста».

Изредка приезжали в Ялту и всегда к нам заходили писатели, с которыми Антон Павлович был знаком еще раньше и к которым относился с большой теплотой, — Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Д. Телешов, писатель-академик и прогрессивный судебный деятель А. Ф. Кони, а также и те писатели, с которыми брат познакомился уже в ялтинский период своей жизни: Л. Н. Андреев, В. В. Вересаев, С. Г. Скиталец, Н. Н. Чириков, поэт К. Д. Бальмонт, драматург С. А. Найденов, пьесы которого Антон Павлович очень хвалил.

Бывал у Антона Павловича симпатичный человек и писатель Н. Г. Гарин-Михайловский. Он был видным инженером-путейцем и в те времена проектировал строительство железной дороги по южному берегу Крыма в Ялту. Брат ценил произведения Гарина-Михайковского и считал его талантливым писателем. Бывали и такие литераторы, как Б. А. Лазаревский, которые утомляли Антона Павловича своими длинными разговорами, но которым он никогда не давал этого понять из-за своей щепетильной деликатности. Лишь после их ухода он жаловался нам, что у него разболелась голова, что ему не дали работать. К сожалению, таких посетителей и посетительниц было немало, и нам, домашним, трудно было уберечь Антона Павловича от них.

Я уже упоминала о том, что в осенне-зимний сезон 1901/02 года на южном берегу Крыма жил Лев Николаевич Толстой. Жил он в имении графини Паниной в Гаспре, верстах в двенадцати от Ялты[1]. Антон Павлович много раз виделся с Толстым в Гаспре. У нас в ялтинском доме Лев Николаевич не бывал.

Толстой в Гаспре тяжело заболел. Брат часто его навещал и сокрушался, что, сам больной, он не может принять участия в дежурстве у постели Толстого в качестве врача. Он очень любил Льва Николаевича. В дни тяжелой болезни Толстого Антон Павлович служил для Москвы источником правдивых сведений о положении больного, так как царское правительство скрывало тогда от народа правду о Толстом.

Постоянно посещал нас писатель и врач Сергей Яковлевич Елпатьевский, тоже построивший себе в Ялте

---

[1] Ныне санаторий «Ясная Поляна».

дом. Вместе с ним Антон Павлович трудился по оказанию помощи приезжавшим без средств туберкулезным больным и созданию для них общедоступного санатория.

Антон Павлович в Ялте по состоянию здоровья практической медицинской работой уже не занимался. Но к нему часто обращались больные из Аутки, а также приезжие студенты, и он никому не отказывал в бесплатной врачебной помощи. На его письменном столе всегда лежали медицинская трубочка, плессиметр и молоточек. Бывали и такие курьезные случаи. Пришел к нему однажды незнакомый человек и попросил принять его как пациента. Брат объяснил ему, что не занимается врачебной практикой, но тот просил, настаивал. Тогда Антон Павлович согласился, осмотрел его, выслушал. После этого посетитель положил на стол четыре золотых десятирублевых монеты. Брат с возмущением повторил ему, что он не практикует, и если согласился осмотреть его, то только в виде исключения, и что эти сорок рублей для него равносильны нанесенной ему обиде... Но потом передумал и, убедившись, что посетитель вполне обеспеченный человек, сказал:

— А впрочем, подождите...

Он вынул свою квитанционную книжку, по которой принимал пожертвования в пользу неимущих больных, и выписал квитанцию в получении от этого посетителя сорока рублей в фонд помощи нуждающимся больным. Тот сначала отказался взять квитанцию, но потом тоже сказал:

— А впрочем, это — автограф, — и взял.

* * *

В годы жизни Антона Павловича в Ялте популярность его как писателя была необычайно велика. На Волге, например, плавал пароход под названием «Антон Чехов». Издавались открытки с портретом Антона Павловича. Одесские газеты сообщали о приезде писателя Чехова, хотя в то время он никуда не выезжал. Где-то на каком-то пароходе неизвестный, назвавшись писателем Чеховым, просил взаймы денег, и ему дали не задумываясь. Какой-то субъект ухаживал за девушкой, назвавшись писателем Чеховым, и потом Антон Пав-

ловичь получил от ее родителей письмо: они упрекали его в том, что он кружит голову молоденьким девушкам... Одним словом, предприимчивые люди пользовались именем Чехова, потому что имя это вызывало у читателей симпатии...

В Ялте популярность Антона Павловича в те времена была особенно велика. Когда он прогуливался по набережной, за ним в некотором отдалении следовала целая толпа поклонников или, точнее сказать, поклонниц. Их в Ялте было очень много, и в нашей семье они получили специальное название: «антоновки». Эти «антоновки» были бесхитростными «обожательницами» Антона Павловича. Им хотелось увидеть писателя Чехова, перемолвиться с ним парой слов, помочь ему донести что-нибудь из города или проводить его и, наконец, просто подежурить у ограды дома и посмотреть на Чехова, прогуливающегося в своем саду. В иные дни можно было видеть по нескольку «антоновок», часами стоявших у белой фигурной ограды, окружавшей нашу усадьбу. Они ждали, не пойдет ли Чехов гулять в город, не выйдет ли в сад... Все это очень стесняло Антона Павловича, он старался ходить на прогулку в город в обществе кого-либо из друзей или близких знакомых.

Однажды произошел такой случай. В те времена на львиной террасе Воронцовского дворца в Алупке иногда устраивались концерты. Как-то летом мы поехали туда втроем: Антон Павлович, Ольга Леонардовна и я. В ожидании начала мы сидели за столиком и пили чай. Народу было много. Вдруг из-за одного столика поднимается кто-то, неизвестный, и громко произносит высокопарное слово по поводу «присутствующего среди нас» писателя Чехова и т. п. Все повернулись в нашу сторону. Антон Павлович страшно покраснел, встал и вышел. Не дождавшись, мы пошли разыскивать его и нашли его в парке. Он был очень расстроен, отказался идти слушать концерт, и мы уехали домой, не послушав концерта.

Попутно расскажу еще о таком эпизоде. Едем мы как-то с Антоном Павловичем вместе в поезде, не помню уж куда. С нами в купе едут двое мужчин. Сначала шел общий разговор о том и о сем. Коснулись литературной темы, и вдруг наши попутчики заговорили о писателе Чехове. Как раз перед этим на какой-то

станции один из них купил журнал, в котором был опубликован рассказ Антона Павловича (теперь не помню какой).

— Читали ли вы что-нибудь из произведений Чехова? Вот хороший писатель, рекомендую почитать! — обратился один из них к Антону Павловичу.

Второй пассажир поддержал его. Я была не в состоянии сдержать улыбки и исподтишка взглянула на брата. Он был невозмутим, и только прищуренные уголки его глаз говорили о том, что он сдерживает смех.

— Гм... да?.. Когда-то... — неопределенно отвечал Антон Павлович.

— Ну, и как находите? Это один из лучших современных писателей!

— Гм... Не знаю... Не разбираюсь... — опять отвечал Антон Павлович.

Те продолжали убеждать и рассказывать брату о достоинствах литературных произведений Чехова. Антон Павлович сидел, слушал и, покашливая, невнятно мычал: «Гм... гм...»

Меня страшно подмывало открыть им правду.

— Антоша, — шепчу я ему тихо, — ну, скажи им, кто ты...

— Гм... — ответил он и покачал головой.

— Ну, Антоша!.. — приставала я к брату.

Но он как будто не слышал меня. Я замолчала, но время от времени, слушая рассуждения попутчиков о творчестве Чехова, я легонько толкала брата в бок.

— Ну-у...

Скоро уже должно было кончиться наше совместное путешествие. Я сказала брату:

— Ну, позволь мне сказать им, что ты Чехов!

Он опять посмотрел на меня смеющимися глазами и отрицательно покачал головой. Я не посмела ослушаться. Мы расстались с нашими попутчиками. Они так и не узнали, что тогда в вагоне они пытались убедить самого Чехова в том, что в русской литературе есть хороший и интересный писатель А. П. Чехов, произведения которого ему стоит почитать!

Этот эпизод, видимо, развеселил Антона Павловича и не был ему неприятен, — он понимал, что собеседники говорят о нем просто и искренно, без всяких пышных слов.

* * *

В общем, все как будто шло хорошо. Жили мы всей семьей дружно, спокойно. Антон Павлович в литературе и драматургии давно уже был признан выдающимся художником. Каждое новое произведение, выходившее из-под его пера, воспринималось в литературном мире как событие. Так было с повестью «В овраге», рассказами «Дама с собачкой», «Невеста», пьесой «Вишневый сад».

Все было бы хорошо, если бы не здоровье Антона Павловича, которое становилось с каждым годом все хуже и хуже. Правда, нам, близким родным, это не так было заметно, как людям со стороны — нашим друзьям и знакомым, встречавшим Антона Павловича время от времени. Мы как-то даже несколько свыклись с тем, что Антон Павлович частенько прихварывал, потом снова поправлялся и чувствовал себя хорошо. Но все же, конечно, постоянной заботой у нас в семье всегда оставалось здоровье Антона Павловича. В последние годы болезнь стала распространяться и задела кишечник, брату не все можно было есть, и я по совету врачей составляла ему специальное меню, расписанное по дням. Я варила, например, ему особый бульон в бутылке, погруженной в кастрюлю с кипящей водой, и брату он нравился. Каждый из нас, и я, и наша мать, и Ольга Леонардовна, старались делать все, чтобы поддержать здоровье Антона Павловича.

XXIII. СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ БРАТА

Я жила еще в Москве, когда Антон Павлович 3 мая 1904 года приехал из Ялты. Он был совсем болен и сразу же слег в постель. Вообще он в эту весну много хворал. Здоровье его заметно ухудшалось.

Около десяти дней мы прожили в Москве вместе, а 14 мая, после роспуска гимназии на летние каникулы, я выехала в Ялту. Вид у Антона Павловича был очень плохой, и мне тяжело было оставлять его в таком состоянии. Но ехать нужно было, брат и так говорил уже мне:

— Почему ты не едешь? Мать одна в Ялте...

Все же у меня и в мыслях не было, что в этот день

я в последний раз вижусь с братом и мое прощанье с ним будет последним. Я думала, как это часто бывало в последние годы, что он полежит, полечится, снова поправится, и все пойдет по-прежнему. К тому же он собирался по совету лечившего его в Москве врача Таубе ехать опять на курорт за границу.

Но на этот раз болезнь брата затянулась, и он все продолжал лежать. Его письма из Москвы, где он сообщал, что ни разу не одевался и не выходил из дома, очень огорчали нас с матерью, тем более что в этот год в Крыму стояла чудная весна. Посаженный братом сад разросся, стал тенист, все цвело в нем, благоухало. Деревья уже начали плодоносить, и я в ту весну наварила много варенья из собственной вишни и черешни. Мне было досадно, что брат всего этого не видел. В своих письмах я советовала ему скорее поправляться и возвращаться из-за границы домой в Ялту.

Только 31 мая Антон Павлович в первый раз вышел в Москве на улицу, а 3 июня он вместе с Ольгой Леонардовной выехал из Москвы в Германию. Там они поселились в южном городке-курорте Баденвейлере, в Шварцвальде, на границе со Швейцарией.

Вскоре к нам в Ялту приехал брат Иван Павлович и рассказал, в каком ужасном виде, похудевшим, слабым, поехал за границу Антон Павлович. Я очень страдала, тяжело переживая все это.

Письма брата из-за границы были тем не менее самыми оптимистическими. Он писал, что поправляется, что «здоровье входит в него не золотниками, а пудами», жаловался лишь на скучную, монотонную жизнь в Баденвейлере: «Уж очень много здесь немецкой тишины и порядка». В общем, в положении Антона Павловича, судя по его письмам, ничего угрожающего не было.

Иван Павлович, видя мое тревожное состояние, предложил мне, чтобы рассеять и развлечь меня, проехаться пароходом на Кавказ до Батума и обратно. В Ялте в пароходстве в то время служил наш двоюродный брат Георгий Митрофанович Чехов, который устраивал мне скидку пятидесяти процентов стоимости пароходного билета. Предполагалось, что на эту поездку нам потребуется дней десять, в течение которых Георгий Митрофанович будет сообщать нам о здоровье Антона Павловича, пересылая поступающие из-за границы сведения.

29 июня я выехала с Иваном Павловичем пароходом на Кавказ. Поездка проходила хорошо, хотя я не переставала нервничать. Добрались мы до Батума. Оттуда поездом уехали в Боржом, сообщив об этом в Ялту двоюродному брату. Переночевав в гостинице, утром мы пошли осматривать город, но меня все время тянуло зайти прежде на почту, узнать, нет ли известий из Ялты. И вот там я получила эту ужасную телеграмму, которая для меня была таким ударом, какого я еще никогда в жизни не испытывала: «Антоша скончался».

Я не помню, как мы добрались до Батума. Мы спешили не опоздать на тот пароход, которым приехали и который должен был уходить обратно. Мы еще из Боржома дали телеграмму капитану с просьбой подождать нас. Но мы не знали, сможет ли он это сделать. Помню, как я соскочила с извозчика, привезшего нас с батумского вокзала в порт, и бегом, сколько было сил, побежала по пристани к пароходу. Еще издали, подъезжая, я видела, что пароход стоит. Капитан, увидев нас, закричал с парохода:

— Не торопитесь, не торопитесь, мы вас ждем!

Сразу же, как только я и Иван Павлович поднялись на борт, пароход отошел.

В Ялте без нас первым узнал о смерти Антона Павловича Георгий Митрофанович, узнал как раз в тот день, когда к нам должен был приехать погостить брат Михаил Павлович. Он и ему сообщил эту тяжелую новость. Нам с Иваном Павловичем была послана срочная телеграмма, матери же нашей не говорилось ни слова.

После нашего возвращения в Ялту мы получили телеграмму от Ольги Леонардовны, в которой говорилось, что она везет тело Антона Павловича в Москву через Петербург. Мы немедленно стали собираться в Москву. Нужно было наконец сказать нашей матери правду... Нет слов, чтобы описать горе матери, потерявшей самого любимого сына.

Мы поехали в Москву на похороны.

* * *

Как все это произошло? Почему так неожиданно случилась эта катастрофа?

Ведь за три дня до своей смерти, 28 июня, Антон Павлович написал мне письмо (которое я читала в Ялте,

когда его уже не было в живых). В этом письме брат писал о своих планах возвращения в Ялту, о том, что ему не хочется ехать по железной дороге, так как в вагонах жарко, душно, да и «приедешь домой скорей, чем нужно, а я еще не нагулялся». Он хотел плыть в Одессу морем из Триеста и просил сообщить ему расписание пароходов и удобны ли они. Писал, что Ольга Леонардовна в этот день поехала в Фрейбург заказывать ему летний фланелевый костюм. Словом, письмо было полно самых радужных надежд и конкретных планов человека, отнюдь не думающего о своих последних днях.

Правда, в этом письме были и такие строки: «Питаюсь я очень вкусно, но неважно, то и дело расстраиваю желудок. Масла здешнего есть мне нельзя. Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно, поправить его едва ли возможно чем-нибудь, кроме поста, то есть не есть ничего — и баста. А от одышки единственное лекарство — это не двигаться...

Ну, будь здорова и весела, поклон мамаше, Ване, Жоржу, бабушке и всем прочим. Пиши. Целую тебя, жму руку. Твой *А.*».

Так заканчивалось последнее письмо брата ко мне.

Как уже стало известно позднее, именно после отправления этого письма у Антона Павловича наступило неожиданное ослабление сердечной деятельности, ночами стали происходить припадки. Потом они проходили. Но в ночь на 2/15 июля у Антона Павловича вновь стало плохо с дыханием. Был вызван лечивший его немецкий врач Шверер. Теперь Антон Павлович, видимо, знал уже истинное положение...

По свидетельству самого врача, он сказал ему спокойно: «Скоро, доктор, умру...» Ольга Леонардовна тоже потом рассказывала, что Антон Павлович встретил врача словами, сказанными по-немецки: «Ich sterbe...» [1] Он выпил предложенного ему врачом шампанского, «тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда...»

Антон Павлович любил, чтобы в жизни и в литературном творчестве все было просто и понятно. Спокойной и простой была его смерть...

---

[1] Я умираю.

* * *

Наш поезд пришел в Москву утром 9 июля. Встретивший нас на Курском вокзале редактор «Журнала для всех» В. С. Миролюбов сказал, что гроб с телом Антона Павловича прибыл еще раньше на Николаевский вокзал и траурная процессия сейчас приближается уже к центру Москвы, направляясь на кладбище Новодевичьего монастыря. Мы поехали на извозчике в редакцию журнала «Русская мысль», помещавшуюся в Ваганьковском переулке, чтобы там встретиться с процессией.

Но ждать не хватило сил, и мы пошли навстречу. Нашим глазам предстали огромные толпы народа, провожавшие в последний путь Антона Павловича. Вот когда я увидела поистине народную любовь к моему брату-писателю. При таком огромном стечении народа царил полнейший порядок. Движение транспорта, в том числе и трамваев, по улицам, где проходила процессия, было прекращено, боковые улицы были перекрыты канатами. Но что было особенно трогательно — это то, как студенчество поддерживало порядок. Взявшись за руки и составив огромную цепь, студенты и молодежь Москвы охраняли траурную процессию и не давали любопытным протискиваться поближе к гробу и создавать беспорядок. Нас тоже не хотели пропускать к гробу и не слушали наших уверений, что мы родные. Я, не помня себя, рвалась со слезами вперед:

— Пустите, пустите меня к брату...

Наконец нас узнали и пропустили. Подошли мать и братья. Тяжелые это были минуты... Процессия остановилась.

Снова двинулись вперед. Весь путь от вокзала до монастыря гроб с телом брата несли на руках. У здания редакции «Русской мысли», в которой в последнее время много работал брат, остановились и отслужили литию. Дальше процессия шла по Знаменке, Волхонке, Пречистенке. Еще одна остановка с литией была у клиники около памятника Пирогову. В этой клинике брат лежал, когда у него открылось кровохарканье в 1897 году.

У Новодевичьего монастыря тоже стояла толпа народа, ожидавшая процессию. Там были многие театраль-

ные деятели, писатели, драматурги, профессора и врачи, среди них обогнавшие шествие А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин, а также приехавшие из Петербурга на похороны директор императорских казенных театров В. А. Теляковский, издатель «Петербургской газеты» С. Н. Худеков и др.

На самом кладбище монастыря порядок удержать уже было невозможно, так как вся огромная толпа хотела присутствовать при погребении Чехова. В результате на кладбище потом оказались сломанные кресты, памятники, ограды могил.

Мне не забыть, как при опускании гроба в могилу тысячная толпа запела: «Вечная память!..»

Более ста венков было принесено на могилу Антона Павловича при похоронах. Венки были от редакций газет, журналов, театров, от общественных организаций, друзей и почитателей Антона Павловича. Надписи на венках говорили о трогательной любви к Антону Павловичу во всех слоях русского народа. Вот несколько надписей:

«Антону Павловичу Чехову, лучшему другу русских народных учителей от Общества попечения об улучшении быта учащих в начальных школах г. Москвы».

«Дорогому Антону Павловичу Чехову, славному врачу-писателю, от нижегородского отдела Общества охранения народного здоровья».

«Нежной скорбной памяти вдохновенного учителя и друга. Московский Художественный театр в беспредельном горе».

«Дорогому, незабвенному Антону Павловичу Чехову. С великой скорбью Шаляпин».

«Горячо любимому, отзывчивому А. П. Чехову. Благодарный начинающий писатель».

«Антону Павловичу Чехову. Гордости родной литературы. «Одесские новости».

«Дорогому Антону Павловичу Чехову. От крестьян Серпуховского уезда».

* * *

Так кончился жизненный путь русского писателя Антона Павловича Чехова, любимого моего брата и друга.

XXIV. СПУСТЯ ПОЛВЕКА

В середине июля после похорон Антона Павловича вся наша осиротевшая семья приехала в Ялту. Как тяжело было входить в дом.

Через несколько дней после приезда собрались мы всей семьей в столовой: мать, Ольга Леонардовна, братья — Александр, Иван, Михаил — и я. Стали говорить о том, как быть и что делать дальше: оставаться ли нам с матерью в Ялте, переезжать ли в Москву, как поступить с ялтинским домом и т. д.

Я обратилась к Ольге Леонардовне:

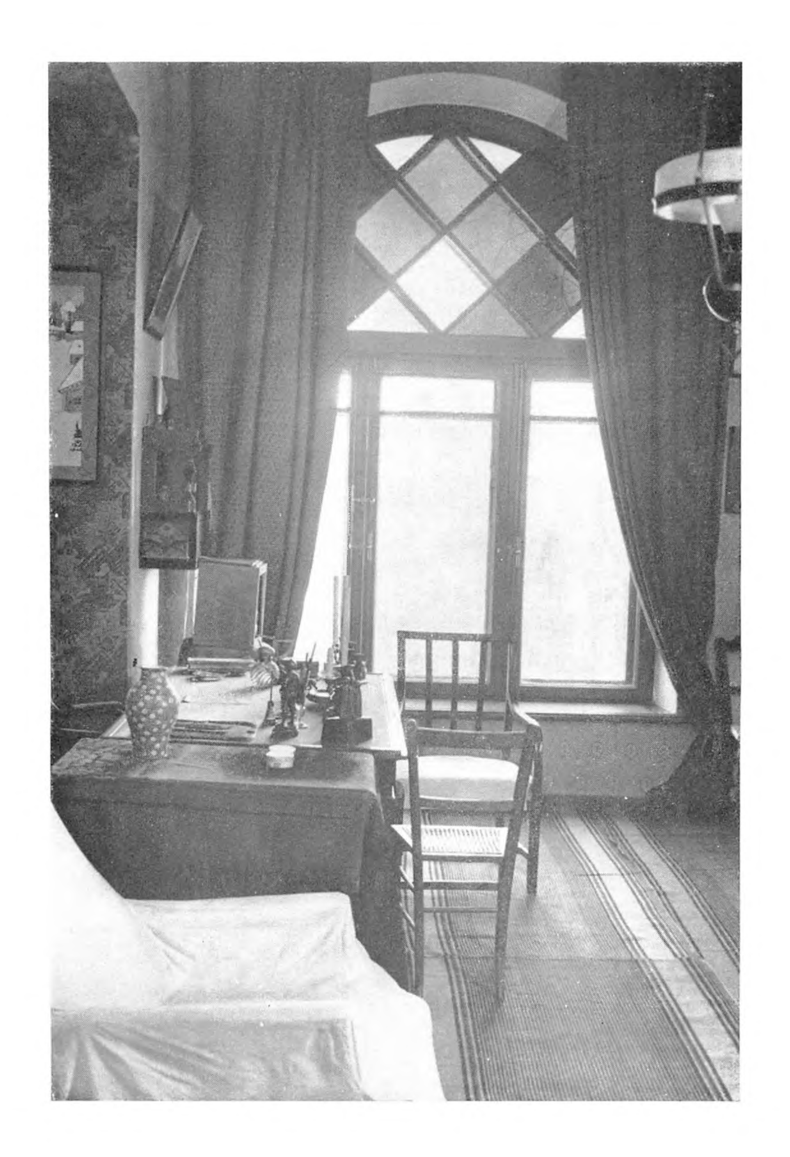
— Оля, а Антоша ничего тебе не оставлял, никаких распоряжений?

— Да, правда, Маша, есть какое-то письмо, которое он давно еще передал мне для тебя. Сейчас.

Она пошла, разыскала это письмо и отдала мне. Письмо оказалось завещательным распоряжением, которым брат назначал меня своей душеприказчицей. Письмо было написано еще 3 августа 1901 года, за три года до смерти. Вот это письмо:

«Марии Павловне Чеховой.

Милая Маша, завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану — пять тысяч и Михаилу — три тысячи, Алексею Долженко — одну тысячу и Елене Чеховой (Леле), если она не выйдет замуж, — одну тысячу рублей. После твоей смерти и смерти матери все, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение Таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана, смерти — Таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию. Я обещал крестьянам села Мелихово сто рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу



Кабинет А. П. Чехова в ялтинском доме.

Алексеевичу Харченко (Харьков, Москалевка, свой дом) платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение [1]. Помогай бедным. Береги мать.

Антон Чехов».

Я в точности выполнила все распоряжения брата.

С первых же дней после возвращения из Москвы я стала сохранять все комнаты в доме в таком виде, в каком они были при жизни Антона Павловича. Я решила оставить их в неприкосновенности и на все будущее время. Каждый предмет на письменном столе, фотографии на стенах, обстановка в спальне и столовой — все заботливо оберегалось мною; я сама вытирала пыль, производила уборку, следила, чтобы каждая вещь находилась там, где была при жизни брата. Все это я делала для того, чтобы всегда чувствовалось присутствие брата в доме. Мною руководило чувство глубокой любви к брату, желание сохранить для себя дом, как память о брате.

Шло время. Ко мне часто приходили знакомые и малознакомые люди и просили разрешения осмотреть комнаты Антона Павловича. Потом стали обращаться и совсем незнакомые приезжие врачи, учителя, студенты, артисты и т. д. Они просили показать им дом и рассказать что-нибудь о жизни брата. Особенную настойчивость в этом отношении проявляла учащаяся молодежь.

Постепенно я стала понимать, что народ хорошо знает произведения Антона Павловича, любит писателя, стремится узнать его биографию, и отсюда такой повышенный интерес к дому, где прошли последние годы его жизни. У меня стала появляться мысль, что все это, что я берегу для себя как свою реликвию, я должна сберечь для всего народа как его достояние.

Так родилась мысль — сделать дом Антона Павловича музеем. Мне трудно определить дату: с каких пор он стал официально Домом-музеем. Но я не ошибусь,

---

[1] Харченко Г. А. в 70-х годах служил мальчиком в лавке отца в Таганроге.

если скажу, что фактически — со дня смерти Антона Павловича, поскольку сохранять я его стала сразу же.

Нелегко было содержать Дом-музей на свои средства в дореволюционное время. Особенно много трудов и денег отнимал ремонт здания. У меня одно время являлось желание привлечь для сохранения дома ряд редакций газет и журналов. Я вела переговоры с «Русской мыслью», «Русским словом» и даже с Академией наук о том, чтобы они взяли себе в доме по комнате и устроили бы в них отдых своих сотрудников, причем кабинет и спальня должны были оставаться неприкосновенными. Но из этого дела так ничего и не вышло.

В то же время я занималась разборкой архива брата, публиковала в сборниках отдельные материалы и неизданные произведения. Затем занялась собранием и обработкой писем Антона Павловича для издания эпистолярного наследия писателя. В результате в 1912—1916 годах мною был издан известный шеститомник писем Антона Павловича. Это дало средства не только на содержание Дома-музея, но даже на постройку в Мисхоре недорогой дачки. Мисхор в ту пору был одним из самых живописных мест на южном берегу Крыма, и я очень любила его. Моя небольшая дачка была расположена над самым морем на высоком берегу. Кругом стоял чудесный сосновый лес. Сзади высилась отвесная громада Ай-Петри с четко рисовавшимися зубцами.

Когда-то, при постройке ялтинской дачи, я предлагала Антону Павловичу назвать ее «Чайкой», но брат воздержался от этого. И вот свою дачу в Мисхоре я назвала «Чайкой». По соседству со мной построила себе тоже небольшую дачку моя старая приятельница Александра Александровна Хотяинцева. Там же была дача художника Браиловского, и у нас составилась целая компания художников. Мы вместе проводили время, ездили на прогулки, писали этюды.

В Мисхоре на даче я жила обычно летом, там был свой пляж и прекрасное купанье. Когда в Ялте становилось жарко, я забирала мать и уезжала в Мисхор. Несмотря на то, что дачка была маленькой, у меня там иногда гостили Ольга Леонардовна, мои братья.

Тяжело мне пришлось в годы гражданской войны. Великая Октябрьская социалистическая революция

в Крыму завершилась значительно позднее, чем в центре России. В Крыму некоторое время хозяйничали различные белые правительства и интервенты. Крым был отрезан от Москвы. Поддержки и материальной помощи получить было неоткуда. У меня не стало средств не только на содержание музея, но и на мое существование с матерью, которая тогда уже была слабой и больной. Я вынуждена была взяться, как когда-то в детстве, за иглу; шила белье, платье и тем добывала деньги на жизнь.

С установлением в Крыму советской власти Дом-музей брата стал государственным культурно-просветительным учреждением, со своим штатом, а я назначена хранителем и директором музея.

В первые же годы существования молодого Советского государства я решила создать чеховский мемориальный уголок и в Москве. Дело в том, что в моей московской квартире тоже сохранились кое-какие предметы, вещи, обстановка, связанные с памятью об Антоне Павловиче и, в частности, о московском периоде его жизни. Кое-что было и у братьев Ивана и Михаила. Я повидалась с Анатолием Васильевичем Луначарским, который был тогда наркомом просвещения, и рассказала ему о своем желании. Он сразу же горячо поддержал меня, и мы уговорились в один из ближайших дней вместе осмотреть ряд помещений, пригодных для организации музея Чехова.

И вот помню, как в летний день мы ходили с Анатолием Васильевичем пешком по центру Москвы и осматривали помещения, которые у него были в записочке. В Москве в ту пору была какая-то эпидемия лузганья семечек. Грызли подсолнухи, бросая шелуху тут же на тротуары и мостовые, буквально все. И вот мы идем с ним по засыпанным шелухой улицам Москвы, оживленно обсуждаем план создания музея. Анатолий Васильевич был без шляпы, очень просто держался, и никто на улице не обращал на нас никакого внимания. Я же с большим интересом слушала Луначарского, который великолепно говорил о литературе, о Толстом, о Чехове и других писателях.

Я предлагала тогда Луначарскому организовать музей в бывшем доме Корнеева по Садовой Кудринской улице, и он отнесся к этому положительно. Но тогда

этого сделать не удалось, так как дом был заселен жильцами. Позднее Чеховский музей был создан при публичной библиотеке Румянцевского музея (Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина). В этот музей я передала все, что у меня сохранилось в Москве. Музей Чехова существовал несколько лет. Постепенно он стал пополняться мемориальными и литературными экспонатами других писателей, и в результате из Чеховского музея вырос общий литературный музей, существующий в Москве и поныне — Государственный литературный музей.

* * *

Когда-то Антон Павлович говорил И. А. Бунину, что его будут читать только лет семь, а потом забудут... Как глубоко ошибался он! Его произведения продолжали читать и через семь лет, и через пятнадцать, продолжают читать и через пятьдесят!

Антону Павловичу не суждено было дожить до тех дней, когда его назвали не только великим русским писателем, но писателем мировым, произведения которого не умирают и читаются во всем мире.

В 1954 году, когда отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Антона Павловича, мне посчастливилось быть свидетельницей торжественного признания его творчества народами всех стран. Это было самым волнующим событием в моей долгой жизни, посвященной брату.

А жизнь моя действительно долгая. Я много видела, много пережила. К слову сказать, я пережила царствование трех русских царей, три русских революции, три больших войны. Я родилась через два года после отмены крепостного права и застала еще явные его следы. Я дожила до великих перемен, совершенно изменивших лицо старой России.

* * *

Кто долго прожил, тот должен много и сделать. Не мне судить, много ли я сделала. Но на девяносто третьем году моей жизни я могу сказать: «Посвятив мою жизнь писателю Чехову, я выполнила то, что хотела. При жизни Антона Павловича я старалась помогать ему

всем, чем только можно, старалась, чтобы он мог спокойно работать. После его смерти я стремилась сохранить в народе память о нем. Я искренно радуюсь, когда вижу сейчас, через пятьдесят лет, как велика любовь народа к Антону Павловичу. Радуюсь и с чувством удовлетворения думаю, — есть и моя маленькая доля в том, что творения Антона Павловича Чехова, его жизнь и творчество стали близки и дороги нашему народу».

Ялта, 1956 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Мария Павловна Чехова
ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

*

Редактор К. Тюнькин   Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор М. Позднякова   Корректор Г. Сурис

*

Сдано в набор 19/III 1960 г.   Подписано к печати 27/V 1960 г.
Бумага 84×108$^{1}/_{32}$—8,5 печ. л. = 13,9 усл. печ. л., уч.-изд. л. 14,242+10 вклеек = =14,748 л. Заказ № 1266. Тираж 75 000 экз. Цена 6 р. 45 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

*

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

